

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ

**Я
ОСОБО
ОПАСНЫЙ
ПРЕСТУПНИК**

**ЧРЕЗДЫЧНО
ОПАСНО
ОПАСНО
ОПАСНО**

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ

Я ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК

ОДНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО



СП "ВСЯ МОСКВА"
Творческо-производственный центр "Полифакт"
Минск, 1990

Тимофеев Л. М.

Т 41 Я – особо опасный преступник. – М.: СП "Вся Москва". – 256 с.

ISBN 5-7110-0110-0119-1

В книгу включено "Уголовное дело" одного из последних советских политзаключенных писателя Льва Тимофеева, приговоренного в 1985 г. за свою литературную работу к одиннадцати годам лишения свободы. Также публикуются и сами произведения, инкриминированные автору. Подлинные документы чередуются с очерками лагерной жизни. Книга хорошо передает атмосферу безысходного абсурда, в которую попадает человек, арестованный КГБ.

В 1988 г. за повесть "Я – особо опасный преступник" и пьесу "Москва. Моление о чаше" Льву Михайловичу Тимофееву была присуждена парижская литературная премия им. Вл. Даля.

4702620104

ББК 84Р7-5

ISBN 5-7110-0119-1

© Л. М. Тимофеев, 1990

Почему мне удалось сделать эту книгу? Не знаю. Не понимаю. До сих пор никогда никто из осужденных за «антисоветскую агитацию и пропаганду» не имел возможности опубликовать свое «дело» так полно, как это дано мне. Кем дано? Не знаю.

Обычно тома подобных «уголовных дел» лежат где-то в секретных архивах Комитета государственной безопасности, и никогда никто из бывших политзаключенных не получал к ним доступа. И я-то не чаял когда-нибудь увидеть свое «дело» — думал, в лучшем случае, внуки прочтут — прочтут и поймут наше время и нас самих, — а скорее и вовсе будут эти документы заблаговременно уничтожены. И поэтому, когда вскоре после освобождения из лагеря я пришел в суд и написал заявление с просьбой ознакомить меня с моим «уголовным делом», я действовал совсем без простодушных надежд. Я совершенно сознательно ждал отказа. Мне важны были мотивы, по которым откажут. Я хотел начать «Дело об истребовании „Дела“». И вдруг: «Можно, приходите — читать будете здесь, в Мосгорсуде...» Это было едва ли не самое большое потрясение в жизни. Даже освобождение из лагеря меня не так удивило.

Что нужно увидеть за этим? Попытку соблюдения законности? Или просто где-то что-то в механизме сломалось, что-то заклинило, какая-то шестерня не туда заскочила? Время покажет... Но мне было дано, и я не имею права этим не воспользоваться...

ЧАСТЬ I

Секретно
экз. № 1

Герб СССР

Комитет Государственной безопасности СССР
Управление

16.03.1985 № 5/10-138

Начальнику следственного отдела
Комитета государственной безопасности СССР
генерал-лейтенанту юстиции т.Волкову А.Ф.

В отношении Тимофеева Л.М.

В 1980-1984 годах на Западе получили широкое распространение антисоветские сочинения Льва Тимофеева «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Они опубликованы в журналах «Грани», «Русское возрождение», «Время и мы» и неоднократно передавались радиовещательными станциями «Свобода», «Голос Америки».

В ходе розыскных мероприятий установлено, что автором указанных материалов является Тимофеев Лев Михайлович, 1936 года рождения, уроженец города Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, женат, ранее не судимый, с 1980 г. член профессионального комитета литераторов при издательстве «Советский писатель», проживает в Москве — *(следует адрес. — Л.Т.)*.

Причастность Тимофеева к изготовлению названных пасквилей подтверждается материалами выдачи литературы в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке АН СССР, где он значится как получатель документов, использованных при подготовке «Технологии черного рынка...», перечень которых опубликован в журнале «Грани» № 120 за 1981 год.

Направляя опубликованные за границей пасквиль Тимофеева Льва Михайловича и другие материалы, просим Вас решить вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела по части I статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

Приложение: по тексту в одном пакете.

Начальник Управления КГБ СССР
генерал-лейтенант

И.П.Абрамов

Штамп: Следственный отдел КГБ СССР
Вход. № 4/688, 18.03.85

Резолюции:

тов.Расторгуеву В.Н. Прошу возбудить уголовное дело по ст. 70 УК РСФСР, провести расследование. *Волков.*
тов.Губинскому А.Г. Для исполнения указания руководства Отдела. *Расторгуев.* 18.03.85.

ПРОТОКОЛ ЗАДЕРЖАНИЯ

Город Москва

19 марта 1985 года

...Задержание произведено ввиду наличия данных о том, что Тимофеев Л.М. на протяжении ряда лет занимается изготовлением и распространением произведений, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй СССР, т.е. на основании, указанном в пункте 3 статьи 122 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, и по тому мотиву, что, находясь на свободе, он может препятствовать установлению истины по делу либо скрыться от органов предварительного следствия. Тимофеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

Производство задержания окончено в 12 час. 55 мин...

Замечания задержанного: Мною написано заявление об отказе участвовать в следствии, которое прошу приобщить к настоящему протоколу.
19.03.85.

Тимофеев

Задержание произвел и протокол составил: начальник группы Следственного отдела КГБ СССР подполковник А.Губинский.

Подозреваемого Тимофеева Л.М. содержать в Следственном изоляторе КГБ СССР.

Начальник следственного отдела
Комитета государственной безопасности СССР
генерал-лейтенант юстиции

А.Ф.Волков

Начальнику группы
следственного отдела КГБ СССР
Губинскому Александру Григорьевичу
от Тимофеева Льва Михайловича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мне предъявлено обвинение в сочинении мною литературных произведений: повести-очерка «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», рассказа «Ловушка. Роман в четырех письмах», эссе «Последняя надежда выжить».

Поскольку я не считаю, что литературное творчество, сочинение литературных произведений может быть деянием уголовно-наказуемым, то решительно отказываюсь принимать участие в следствии в какой бы то ни было форме.

19.03.85

Подпись

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

Город Москва

20 марта 1985 г.

Прокурор отдела Прокуратуры Союза ССР старший советник юстиции Чистяков и начальник группы Следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский в служебном кабинете отдела с соблюдением требований ст.ст. 123, 150–152 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР допросили в качестве подозреваемого Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начат в 11 час. 35 мин.

Вопрос: Вам были разъяснены ваши права как подозреваемого. Вы отказались принимать участие в следствии в «какой бы то ни было форме». Поясните, в каких, предусмотренных законом, следственных действиях вы отказываетесь принимать участие и какими, предусмотрен-

ными законом, правами не намерены воспользоваться в процессе предварительного следствия?

Ответ: Я отказываюсь принимать участие во всех следственных действиях и оставляю за собой право жаловаться на действия лица, производящего дознание.

Вопрос: Когда вами была написана повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Как я уже указывал в заявлении от 19 марта с.г., сам факт литературного творчества не может быть объектом уголовного расследования, поэтому я отказываюсь участвовать в следствии.

Вопрос: Названная повесть-очерк была написана вами специально для передачи за границу и ее опубликования там или вы не ставили перед собой такой цели?

Ответ: Мне нечего добавить к своему заявлению от 19 марта с.г.

Вопрос: Как ваша повесть-очерк оказалась за границей и с вашего ли ведома (как автора) была опубликована в зарубежных антисоветских журналах «Грани» и «Русское возрождение»?

Ответ: Еще раз напоминаю о своем отказе участвовать в следствии.

Вопрос: К какому виду литературы вы относите написанную вами повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Это вопрос следствия, поэтому отвечать на вопрос отказываюсь.

Допрос производился с перерывом
с 13 часов 15 минут до 15 часов 20 минут
и окончен в 16 часов 20 минут.

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

Город Москва

26 марта 1985 г.

Начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский в своем служебном кабинете с соблюдением требований ст.ст. 123, 150-152 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР допросил в качестве подозреваемого: Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начат в 11 часов 05 минут...

Вопрос: При обыске 19 марта 1985 года у вас в квартире был изъят изданный на Западе антисоветский журнал

«Время и мы» № 77 за 1984 г. с частью опубликованного в нем вашего эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности». От кого вы получили этот журнал?

Ответ: Вопросы, которые мне предъявляются, носят характер уголовного расследования. Каждый вопрос вынуждает меня ссылаться на мое заявление от 19 марта 1985 года о неприменимости уголовного расследования к фактам литературного творчества. Поскольку к этому заявлению мне добавить нечего, я впредь отказываюсь в какой бы то ни было форме отвечать на вопросы уголовного следствия, ведущегося по поводу обвинения меня по статье 70 УК РСФСР.

Вопрос: Знакомили ли вы с содержанием этого антисоветского журнала кого-либо?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Давали ли вы читать кому-либо свою повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», рассказ «Ловушка. Роман в четырех письмах» и эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности»?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом
с 12 часов 40 минут до 14 часов 45 минут
и окончен в 17 часов.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

Город Москва

12 апреля 1985 г.

Начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский допросил в качестве обвиняемого: Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начат в 11 часов 45 минут...

Вопрос: Получали ли вы гонорары в 1980–1985 годах за публикацию каких-либо материалов? Что это были за материалы и где опубликованы?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Какой порядок уплаты взносов существовал в профкоме литераторов при издательстве «Советский писатель», членом которого вы являлись?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Предоставляли ли вы в профком литераторов при издательстве «Советский писатель» официальные до-

кументы, удостоверяющие суммы полученных вами гонораров?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Производилась ли названным профкомом проверка публикаций и сумм полученных вами гонораров?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В начале своего эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» вы пишете: «Мы живем в государстве, будущее которого туманно». Поясните, на чем основан этот ваш вывод.

— Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Далее вы пишете: «Куда мы движемся? Что будет с нами через три-пять лет? Ответы на эти вопросы сегодня не знает никто, и даже руководители страны не знают». А этот сделанный вами вывод на чем основан?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: «Темпы роста советской экономики падают год от года, и ожидается, что годовой национальный доход, который уже и теперь упал до 2%, будет и дальше сокращаться», — пишете вы в своем эссе. На основании каких данных и из каких источников полученных вы утверждаете это? *

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: У вас нет ответа на поставленный вопрос. Вы не в состоянии на него ответить?

Ответ: Моя позиция по отношению к уголовному следствию изложена в заявлении от 19 марта с.г.

Вопрос: В своем заявлении от 19 марта с.г. вы заявили, что не считаете литературное творчество уголовно-наказуемым деянием. В данном случае, речь идет о вашей работе, в которой вы клеветаете на внутреннюю политику Советского государства, заявляете, что «нас ждет застой и обнищание — в общегосударственном масштабе...» Кроме того, клеветнически утверждаете, что якобы в нашей стране «террор остается основным методом политического правления». Распространение же клеветнических измышлений, порочащих советский и общественный строй, путем изготовления (сочинения) литературы такого содержания является уголовно-наказуемым деянием. Понятно ли вам сделанное разъяснение? Намерены ли вы отвечать на поставленные вопросы?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Чем сейчас вы мотивируете свое нежелание отвечать на поставленные вопросы?

* Здесь и далее сохранен стиль подлинников.

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед
с 12 часов 45 минут до 14 часов 50 минут
и окончен в 16 часов 45 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Мне было спокойно в следственной тюрьме. Да и в лагере потом было спокойно.

В первые часы после ареста и в первые несколько дней я очень остро чувствовал свое новое положение. Жизнь резко изменилась. Но еще более резко изменилось восприятие жизни. Конечно, я заранее знал, что меня могут арестовать, и мы с женой обсуждали такую возможность, но одно дело — болезнь, хоть болезнь и смертельная, а все надеешься, — и другое дело — смерть. Впервые я понял, что значит *умереть* для прежней жизни. То есть слова-то эти я хорошо знал — за несколько лет до того я был крещен, и много раз читал и слышал эти слова, но умер только теперь в глухой, без окон, с пыльной решеткой вентиляционного отверстия камере, куда меня завели для предварительного обыска, медицинского осмотра и прочих процедур, предшествующих заключению в тюрьму.

Я умер и все лучше понимал это по мере того, как меня пытались допрашивать, по мере того, как меня обыскивали, отнимали металлические предметы: нательный крест, часы, авторучку, даже брюки мои отняли, найдя в них запрещенную металлическую застёжку, и выдали мне обесцвеченные многими стирками серые эсковские портки на веревочной завязке, — впрочем, оказавшиеся очень удобными, как пижама, — я их проносил все девять месяцев пребывания в Лефортове...

Я умер. Но уже и после смерти прежняя жизнь не отпускала меня, и во сне я держал на руках своих детей, ласкал жену — так постоянно, так осязаемо, что сознание подсказывало какие-то как бы реалистические обоснования: это меня на день отпустили домой, — и пробуждение в жизнь было такой же четкой реальностью, как и реальность сна: я как бы запросто переходил из пространства в пространство.

Конечно же, я тревожился за моих близких. Я знал, что им сейчас много хуже, чем мне, а вскоре и вовсе стал интуитивно ощущать тяжелую болезнь жены (как-то в камере мне приснилось много свежего, кровавого мяса, —

кажется, это была человечина, как в фильме А.Германа), потом же и прямо узнал о болезни: в коридоре суда и после, на свидании, увидел жену, утратившую разум, понял, что дети будут расти и без отца, и без матери.

И при всем при том мне было спокойно и в следственной тюрьме, и потом, в лагере. Я не знаю, как это объяснить, но я всегда знал, что все, что происходит со мной и с моими близкими, — все это страшное горе, — надо воспринимать как должное, как данное. И в этой данности, в этом должествовании есть благо. Думаю, что для христианского сознания горе, данное как благо, не кажется ни парадоксом, ни поэтическим приемом. Это — основа всему.

Но тут же я хорошо понимал и свою двойственность, свою слабость: моя душа, мое нравственное чувство — это было спокойно, но постоянно возмущено было мое социальное сознание — я постоянно осознавал бессмысленность, тупое отсутствие логики, животный автоматизм в действиях тех, кто меня арестовал, мучил идиотскими вопросами на следствии, устраивал собачью комедию суда — и потом сторожил, открывал и закрывал множество тяжелых замков, обыскивал по четыре раза на дню, запрещал есть или, наоборот, встать, вталкивал в камеру или выволакивал из камеры. Зачем все это? Ради чего? Неужели все только из-за того, что я позволил себе думать? Ведь никаких иных проступков я не совершил! Я только думал — и мысли свои записывал на бумагу.

И когда я понимал это, признаюсь, успокаивалось и мое социальное сознание; значит, я хорошо думал, значит, я правильно думал, если все эти мерзавцы так встревожены... Но тут же тревога, возмущение возникали вновь: ну, хорошо, но ведь не из мерзавцев же только состоит мир, — как же могут все эти люди, все эти писатели, артисты, деятели кино, просвещенцы и просветители, все эти блестящие писатели и говоруны — как же могут они говорить и писать, когда я вот здесь сижу за десятью замками, за пятью стенами, охраняемый двумя или тремя десятками мерзавцев, — и все только за то, что я *позволил себе думать!* Нелепость какая-то...

И вот теперь я никогда не взялся бы за эту книгу, если бы речь шла только о горе, пережитом мной и моими близкими, — это нам дано, и нельзя жаловаться, все надо принимать с благодарностью. Но социальная бессмысленность происшедшего не дает мне спокойно жить. Нельзя казнить человека только за то, что он *позволил себе думать* и записал свои мысли на бумагу.

Смешно даже говорить об этом — смешно и страшно...

Но в Лефортове страшно не было. В Лефортове скоро стало спокойно и привычно: в двери камеры открывался черный квадрат кормушки, появлялось комсомольское лицо молодого надзирателя, и он указывал ключом или просто пальцем:

- Фамилия?
- Тимофеев.
- Имя, отчество?
- Лев Михайлович.
- На вызов.

На вызов — это на допрос: по металлическим, но ковровой дорожкой застеленным мосткам тюрьмы, по коридорам следственного корпуса, где в окнах простое стекло и можно успеть на ходу увидеть часть сквера, прохожих, детей, играющих в классы, — и в глухой темный коридор, в кабинет следователя.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

Город Москва

16 апреля 1985 г.

(Подполковник Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 14 часов 40 минут.

Вопрос: В своем эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» вы пишете: «сегодня уверенно можно сказать, что осознание обществом своей оппозиции власти — важнейший социальный и духовный процесс современной России». На основании чего вы так уверенно говорите о якобы «осознании обществом своей оппозиции власти»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Считаете ли вы себя находящимся в «оппозиции к власти»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам в очередной раз разъясняется, что написанные вами сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, используются зарубежными центрами идеологической диверсии во враждебной пропаганде против Советского Союза. Намерены ли вы, используя свое право автора, обратиться в редакции журналов и радиостанций, использующих ваши

сочинения в указанных враждебных СССР целях, с тем, чтобы предотвратить в дальнейшем их публикации и использование в передачах и тем самым нанесение ущерба нашей стране?

Ответ: Ответ на этот вопрос, как и на всякий другой, возможен только после того, как органы КГБ прекратят преследовать меня в уголовном порядке как автора литературных произведений.

Вопрос: Назовите те литературные произведения, автором которых вы являетесь, и за которые, по вашему мнению, вы необоснованно «преследуетесь в уголовном порядке»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: О том, что ваши сочинения с клеветой на советский общественный и государственный строй используются зарубежными пропагандистскими центрами во враждебных СССР целях, свидетельствует передача радиовещательной станции «Голос Америки» от 8 сентября 1984 года. Вам оглашается выдержка из нее следующего содержания: «В трех последних номерах издающегося в Нью-Йорке журнала „Время и мы“, в выпусках с 75 до 77 опубликована последняя большая работа проживающего в Советском Союзе публициста Льва Тимофеева „Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности“. В сегодняшнем выпуске программы „Религия в нашей жизни“ мы познакомим вас с отрывками из эссе Тимофеева, в которых речь идет о духовной жизни современного советского общества. Другая замечательная работа Льва Тимофеева под названием „Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать“ была опубликована в 1980 году в ряде номеров издающегося в Соединенных Штатах квартального журнала „Русское возрождение“, а затем вышла отдельным изданием в Нью-Йорке в издательстве „Товарищество зарубежных писателей“. Между прочим, „Технология черного рынка“ Тимофеева передается в текущих выпусках сельскохозяйственной программы „Голоса Америки“. Эссе Тимофеева, опубликованное в журнале „Время и мы“, — это размышление о государстве и обществе в Советском Союзе. Главный тезис этой работы — советское общество постоянно сопротивляется навязанной ему мертвящей доктрине». Что вы можете сказать по поводу приведенной вам выдержки из передачи?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вы отказываетесь принимать меры к предотвращению ущерба интересам Советского Союза, причиня-

емого западными антисоветскими центрами с использованием ваших уже упоминавшихся выше сочинений?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Следует ли это понимать так, что вы умышленно в целях причинения ущерба изготовили названные сочинения и передали их на Запад для их использования антисоветскими центрами во враждебной пропаганде против Советского Союза?

Ответ: Нет ответа.

Допрос окончен в 17 часов 55 минут.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

Город Москва

18 апреля 1985 года

(Подполковник Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 11 часов 20 минут.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на трех листах белой стандартной бумаги, озаглавленный «Грузинские деньги и нищая Россия», начинающийся со слов: «Я — нищий... Вам, читатель, знакомо это ощущение гольной нищеты?» и заканчивающийся словами: «Взятки? — спросите у наших медсестер. Тайна». Данный текст изъят у вас в квартире при обыске 19 марта 1985 года. Кем исполнен этот текст?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Не являетесь ли вы автором предъявляемого вам текста?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В этом тексте говорится: «Мое положение в обществе всегда казалось мне достаточно высоким: я специальный корреспондент центрального журнала...». Далее: «И вот, дожив до сорока четырех лет и оглянувшись вокруг, я вижу, что я — нищий». Эти и другие изложенные в тексте данные дают основание полагать, что автором данного текста являетесь вы. Так ли это?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В том же тексте вы пишете: «Какая-то мистическая сила все более и более овладевает нашим обществом. Черный рынок, теневая экономика, темные связи. Тайна! Бесполезно искать разгадку этих тайн в выступлениях политических лидеров, в комментариях обозревателей, в публикациях экономистов и социологов

— кругом завеса, туман. Какие-то темные силы играют нашей судьбой — как в кошмаре мелькают свиные рыла телеобозревателей, копытца мелких партийных секретарей, хвосты и уши профессоров экономики...» и далее «Прочь! Понять-то нужно. И не только и даже не столько потому, что мне, нищему, хочется узнать, кто же мой век заел, сколько затем, чтобы увидеть воочию — что есть социализм?»

Уже в этих строках, судя по тексту, написанных вами в 1980 году, усматривается ваше негативное, если не сказать враждебное, отношение к существующему в нашей стране социалистическому строю. Для какого круга читателей предназначалась эта написанная вами статья под названием «Грузинские деньги и нищая Россия?»

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на десяти листах белой стандартной бумаги, исполненный красителем зеленого цвета, со вставками, исполненными красителем красного цвета. Текст начинается словами: «Наташа! А вот еще: на лекцию в санаторий...» и заканчивается словами: «Я не говорю о двух десятках барменов — миллионеры, как сказал бы кавказец Гаспар». Этот текст также изъят у вас в квартире при обыске. Кем исполнен этот текст?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Как этот текст, адресованный «Наташе», оказался у вас в квартире, не являетесь ли вы автором текста, и не адресован ли он вашей жене Экслер Наталье Евгеньевне?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В предъявленном вам тексте говорится: «Мы — страна слепоглухих. Лишь то, что доступно осязанию, составляет наши знания о мире. Мы и себя-то знаем наощупь». Далее: «Нужно написать методику сбора материалов. Нужно сказать, в каких условиях оказывается любой задумавшийся и ищущий». И там же: «Попробуйте отнять привилегии у партийной бюрократии — долго ли продержится система? Да ни единого дня! В правящей структуре никого не останется, все разбегутся по артелям, да в снабженцы, да за прилавок». Чем вы можете объяснить столь разительное сходство приведенных выдержек из двух рукописных текстов, предъявленных вам, с тем, что вами написано в статьях «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» и «Последняя надежда выжить»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на одном листе белой стандартной бумаги, исполненный красным красителем, начинающийся со слов: «Дефицит как принцип власти. Сухарики к пиву» и заканчивающийся словами: «при открытом рынке этих условий нет». Данный текст также изъят при обыске в вашей квартире. Кем он исполнен?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В тексте говорится: «Любая власть, для того, чтобы существовать, должна создать дефицит. Дефицит политических свобод. Дефицит выбора пути. Но для того, чтобы упрочиться, она должна этот дефицит расширить, сделать всеобъемлющим принципом. Только в условиях дефицита власть имеет возможность распределять по своему усмотрению. При открытом рынке таких условий нет». А как вы объясните совпадение этой выдержки с тем, что вам изложено в статье «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на 37 страницах белой стандартной бумаги, исполненный красителем синего и красного цвета. Текст начинается словами: «Ален Безансон. Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, военных и церковных властей. (1976 г. ВРХД. №№ 118, 119)» и заканчивается: «Какая все это глупость! Партия и государство живут в обществе и за счет общества и одновременно развращают его и ассимилируются им идеологически. А Безансон попался на удочку, против которой сам предостерегал — партия и государство на практике вовсе не то же самое, что принимает образ реальности газетных передовиц и парадных докладов. И Брежнев в разных аудиториях говорит иногда противоположные по своему смыслу вещи. И в „Соснах“ нет лозунгов». Этот текст также изъят у вас на квартире при обыске. Кем он исполнен и не написан ли вами?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В данном тексте записано: «И в „Соснах“ нет лозунгов». В вашей статье, опубликованной в антисоветском журнале «Грани» № 120 в 1981 г. «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» вы пишете (страница 104 журнала): «Но село-то Уборы — оно отнюдь не затерялось в просторах, но находится в получасе езды от столицы и между самыми привилегированными санаториями страны, между „Соснами“ и „Барвихой“»: а далее (страница 133 журнала): «Но нету лозунгов ни в строгих коридорах обкомов партии, ни в здании ЦК, ни в санаториях,

где отрешаются от повседневности высшие партийные чиновники».

Чем вы объясняете такое сходство в рукописи и написанной вами статье?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На второй странице этого рукописного текста записано: «Вообще предположение, что нет рынка, неверно. При этом исходят из внешней видимости советской системы. Рынок существует, но стесненный демагогической доктриной, он принимает форму черного рынка». Приведенная выдержка текста также совпадает с изложенным в вашей статье «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать». Не является ли предьявленный вам рукописный текст наброском тезисов к упомянутой статье?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На третьей странице той же рукописи говорится: «Да и партийная бюрократия, эти хозяева страны, лишь на словах прикрывали рыночные отношения — т.е. отношения по поводу обмена благами — они прикрывали эти отношения лишь затем, чтобы под идеологической завесой развернуть во всю ширь отношения *черного рынка*, то есть такие отношения, где можно спекулировать преимуществами, никакого отношения не имеющими к преимуществам экономическим: преимуществам власти, в первую очередь». А это совпадение со статьей «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» чем вы можете объяснить?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: В связи с тем, что столь явные совпадения дают основания считать вас автором рукописного текста, поясните, где, когда и от кого вы получили журнал «Вестник русского христианского движения» номера 118 и 119, издающийся в Париже, со статьей Безансона, и кому затем их передали?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: При том же обыске 19 марта с.г. в вашей квартире были изъяты ксерокопии журналов «Вестник русского христианского движения» номера 127 и 128. От кого получили вы ксерокопии этих журналов?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предьявляется рукописный текст на 19 листах белой стандартной бумаги, исполненный красителем черного цвета. Текст начинается со слов: «Ален Безансон. Краткий трактат по советологии для гражданских, военных и церковных властей. Вестник русского христианского движения. 1976, № 118, стр. 171–205» и заканчивается

словами: «Кстати, не из Польши ли ждать главной беды всей системе? Адрес не такой уж неожиданный». Кем исполнен этот текст, и не являетесь ли вы его автором?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед
с 12 часов 45 минут до 14 часов 40 минут
и окончен в 17 часов 40 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Заключенных Лефортовской тюрьмы в шесть утра будят надзиратели громким стуком в дверь или криком в раскрытую вдруг кормушку: «Подъем! Подъем! Кончай ночевать!..» Но еще раньше будит далекий звук первого трамвая и плотный непрерывный вороний крик.

Я никогда прежде не был в районе тюрьмы и теперь, освободившись, все никак не соберусь туда съездить. Но знаю и так — и говорили, и из коридоров следственного корпуса видно — рядом парк. Где-то недалеко есть еще и кладбище, на кладбище — церковь, и иногда во время прогулки оттуда слышен мягкий звон, — и эски, вышагивающие или бегающие, или делающие зарядку в своих тесных прогулочных двориках, останавливаются и прислушиваются, да и те, кто в судьбе своей отчаялся настолько, что даже на прогулке перестал двигаться и сидит на лавочке потерянно, — и эти поднимают голову на церковный звон, прислушиваются...

Но громче всего, заглушая все, звучит вороний крик.

Ворона — главная птица для заключенного. По ней можно движение времени чувствовать: замолчали вороны — значит, день к концу, скоро отбой, закричали вороны — значит, вот-вот по тюремному коридору застучат кормушки, и в твоей камере кормушка со стуком откинется, и закаркает в нее надзиратель: «Подъем! Подъем! Подъем! Подъем!»

Я вообще-то хотел говорить о том, как много птицы значат в мире заключенного, — о воробьях, которых мы зимой, в лютые пермские морозы, подкармливали в слепенькое окошечко рабочей камеры внутрилагерного карцера, о синице, которой на зоне доставалось последнее сало из редкой и скудной эковской посылки (посылка полагается только по прошествии половины срока, один раз в год, пять килограммов весом, если не лишит

начальство. Запрещены в посылке: масло, колбаса, кофе-какао. Сало — можно).

Я хотел говорить о птицах, но и здесь вот ворона, главная птица, лезет вперед, заглушает всех других. В Лефортове ворона — лефортовский соловей, а привезут вас в пермский лагерь, в Кучино, и там прежде всего ворону услышите — кучинский соловей, как будто иной гармонии зэку и от начальства не положено.

Но бывали дни, когда и ворона радовала, трогала душу — не криком, нет — но самим своим существованием, тем, что вот она, жизнь, живая плоть.

В лагере в апреле, в марте ли — не помню точно, — в апреле, должно быть, все вороны стали вить гнездо на высокой березе. Вить, пожалуй, тут не точное слово: на самой верхушке голой еще березы они *складывали* свое гнездо, и весь небольшой наш лагерь, пятьдесят особо опасных государственных преступников — от двадцатилетнего Финкельштерна, посаженного за то, что, служа в армии, закричал как-то по пьянке своему командиру, что удерет в Израиль (восемь лет строгого режима: три — тюрьмы и пять — лагеря, за намерение шпионажа в пользу иностранной державы), и до восьмидесятилетнего Бутлерса, латышского крестьянина, мобилизованного некогда немцами (десять лет лагерей через тридцать лет после изгнания немцев), — весь наш особо опасный лагерь три раза в сутки ходил в столовую, возле которой росла береза, задрав головы, и следил, как продвигается воронье строительство, и обменивался впечатлениями. Ни суда, ни следствия, ни многих лет за забором — только птицы на березе.

Все началось с трех толстых прутьев, положенных поперечно, — фундамент!

Потом пошли прутья более мелкие, но видно было, что не просто внаброс кладутся, а с толком, вскрепу — оба, и он, и она, были хорошие строители, и кто-то видел, как они, скача по забору, таскали с промзоны тонкий провод в зеленой пластиковой изоляции — обмотанное этим проводом прутье не развалить никакому урагану.

Как только гнездо было готово, они, подменяя друг друга, принялись насиживать яйца, не слетая с гнезда даже в самые жестокие дожди и ветры, даже и в позднюю, уже по первым листьям, метель, вызывая этим наше зэковское одобрение.

А вскоре береза зазеленела, гнездо скрылось из глаз, и что там с этой семьей было дальше — трудно сказать. Но в начале июня запрыгал по веткам соседних берез

любопытный вороненок — их ли вороненок или из соседнего перелеска залетел чужой, а их — через заборы в перелесок улетел — кто знает? Птицы здесь свободно летают, по ним охрана не стреляет...

Зимой же главной птицей становится сорока — она как-то теряется летом, а зимой, на снегу, ярко видна, и видно, какая это красивая птица, какое у нее перо с радужным переливом... Особенно эта сорочья живопись видна тогда, когда долго просидишь в карцере, и месяц или полтора ничего, кроме темно-серых шершавых бетонных стен, нет перед глазами, а выходишь — яркий снег, солнце, густая голубая тень от барака — и сорока на заборе, подвижная, веселая птица — и никакого ей нет дела до колючей проволоки, до охранника, скрючившегося от холода на своей вышке, — и сорочьи перья переливаются на солнце. Хорошо!

Герб СССР

**Всесоюзная Ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
Академия сельскохозяйственных наук
имени В.И.Ленина**

Центральная Научная Сельскохозяйственная библиотека

**Старшему следователю
следственного отдела КГБ СССР тов.Осину
Н.И.**

08.04.1985 № 22

На Ваш № 19-340 от 28.03.1985

Тимофеев Л.М. пользовался Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой ВАСХНИЛ в 1977 и 1978 гг., что установлено по регистрационной тетради.

В 1977 году имел читательский билет № 25425 в читальном зале и № 2769 на абонементе.

В 1978 году имел читательский билет № 6864 в читальном зале и № 3056 на абонементе.

За давностью лет читательский формуляр и контрольные листки не сохранились, поэтому определить, как часто пользовался Тимофеев Л.М. библиотекой, не представляется возможным.

По тетради регистрации читателей, пользующихся спец. фондом, установлено, что в 1977 году Тимофеев Л.М.

посетил читальный зал 2 раза: 2 июня 1977 года взял 12 книг; 3 июня 1977 года взял 6 книг.

За давностью времени (1977 год) отношение на Тимофеева Л.М. не сохранилось (срок отношений — 5 лет, требований читателей на литературу — 1 год), однако в тетради учета читателей спецфонда имеется запись за 1977 год п.п. № 45, 47 о том, что 2 июня Тимофеев Л. для получения книг предъявил отношение редакции журнала «Молодой коммунист».

Просмотром книжных формуляров выявлены книги, которыми Тимофеев Л.М. пользовался. Список литературы прилагается (на двух листах).

Директор ЦНСХБ

А. Яйкова

Замечание обвиняемого: Я не умею снять недоумение, которое возникнет у читателя, когда он сопоставит дату этого письма с датой самого первого документа дела, где говорится, что мое авторство уже тогда было вычислено с помощью материалов выдачи литературы в ЦНСХБ.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

11 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 14 часов 40 минут.

Вопрос: В процессе обыска 19 марта 1985 года у вас был обнаружен протокол Рязанского Государственного педагогического института о сдаче вами 15 июня 1963 года кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму с оценкой «отлично». Так оценен ваш ответ экзаменационной комиссией на вопрос «Исторический материализм как наука о законах развития общества». В эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» марксистско-ленинскую теорию вы называете «мертвящей доктриной» и утверждаете, что «марксистская философия в принципе отказывается видеть в наших жизнях, в нашем опыте сущность истории». Это свидетельствует о том, что вы при написании эссе допускали заведомую ложь. Поясните, с какой целью вы это делали?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: По сообщению редакции журнала «Молодой коммунист», в 1976 году вы были приняты кандидатом в члены КПСС. Это говорит о том, что, вступая в партию,

вы стояли на марксистских принципах, полностью разделяя Устав КПСС. Почему же спустя два года вы стали собирать материалы для своего пасквиля «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в котором возводите заведомую клевету на руководящую роль партии, ее внутреннюю политику?

· Ответ: Не последовало.

· Вопрос: В журнале «Молодой коммунист» № 4 за 1976 год опубликовано интервью с доктором экономических наук Левиным Б. М., в котором вы, как корреспондент, говорите: «В последние годы произошел колоссальный подъем уровня жизни советского человека, увеличилось разнообразие потребительских товаров и услуг, расширились возможности для нормального удовлетворения материальных потребностей наших современников». В своей же повести-очерке «Технология черного рынка...» вы заявляете: «Крупные же сельскохозяйственные предприятия (колхозы, совхозы) рассчитаны не на удовлетворение прямого спроса потребителей, но на товарное обеспечение обменной политики государства в интересах и для удобства партийной бюрократии — этой правящей структуры государства, охраняющей существующие порядки и себя вместе с ними». С какой целью вы в этом пасквили допустили заведомую ложь и оклеветали советский государственный и общественный строй СССР, внутреннюю политику Советского государства?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Как видно из текста очерка «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» и примечания к нему, опубликованного в антисоветском журнале «Грани» № 120, вы при написании этой работы использовали многочисленные источники. Вам предлагается дать показания по этому вопросу.

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В названном примечании вы указали, в частности, что приведенные материалы в очерке опубликованы в брошюре-справке «О продаже и ценах на колхозных рынках», которую можно найти «в спецхране Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки — ДСП № 3762». Из сообщения упомянутой библиотеки за № 22 от 8 апреля 1985 года следует, что в 1977–1978 годах вы пользовались книгами этой библиотеки, в их числе брошюрой-справкой, а также другими изданиями, которые направлены в распоряжение следствия. Данные обстоятельства являются подтверждением вашего авторства враждебного сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать».

янское искусство голодать». Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Подтверждением вашего авторства этого очерка является и изъятая во время обыска в вашей квартире литература, названная в примечании к очерку как использовавшиеся источники, в том числе: Г.В.Дьячков «Общественное и личное в колхозах», В.Н.Шубкин «Социологические опыты», И.В.Сталин «Вопросы ленинизма» и другие. Подтверждаете ли вы свое авторство названного сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Обстоятельством, указывающим на то, что вы пользовались литературой Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки при написании «Технологии черного рынка...», является и изъятая у вас при обыске фотокопия из брошюры «Современная сибирская деревня. Некоторые проблемы социального развития» со статьей Р.В.Рывкиной «Мнения руководителей сельского хозяйства о происшедших и будущих изменениях деревни» с регистрационным номером этой библиотеки «76-24349». Одноименная брошюра с тем же регистрационным номером поступила в распоряжение следствия из названной библиотеки. Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Не последовало.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В окна лефортовских камер вставлено не стекло, а непрозрачный, как бы покрытый морозным узором пластик — в солнечные дни в небольшой камере на троих довольно светло, и если камера на южную сторону, то заметно, как солнечное прямоугольное пятно перемещается по стене, — но прямых солнечных лучей нет, самого солнца нет.

Нет его и на прогулке — стены прогулочных дворики высоки, сами дворники маленькие, с ту же камеру размером, редко чуть больше, гулять же надзиратели стремятся вывести пораньше, начинают прогулки еще до завтрака, чтобы пораньше, к обеду, «прогулять» всю тюрьму и самим пораньше освободиться и сесть играть в домино во внутреннем тюремном дворике. (И будут играть до ночи, и сменятся, и придут другие, и тоже сядут играть, и при этом станут так стучать фишками, что не дадут спать

измученным обитателям тех камер, что выходят окнами во двор).

Понятно, что утром в тюремном дворике солнце освещает только-только верхушку трехметровой стены, да еще колючую проволоку, которой забрано все пространство над головой. Этот проволочный потолок в крупную колючую клетку — «небо в арифметику» — сооружение совершенно бессмысленное, поскольку на три метра все равно не подпрыгнешь, да и надзиратель ходит по мостику над головой, смотрит, — но действует психологически: одного раздражает, другого давит, третьего и вовсе подавляет. Вот этой-то паучьей сети над головой и достается все утреннее солнце, о котором внизу с тоской мечтает заключенный.

Меня арестовали в марте, и первые месяцы я вообще не видел солнца. Но в начале июня установились ясные дни, прогулки случались иногда и ближе к полудню, когда солнце уже заглядывало и вглубь прогулочного дворика, и можно было скинуть рубашу и майку, и тоскующее бледное тело прямо-таки ощутимо впитывало солнечное тепло и радиацию.

Прогулка — главное событие дня.

Через пару месяцев я научился скандалить, если вызов к следователю грозил сорвать прогулку, и, бывало, добивался, что меня водили гулять и одного, если к моему возвращению с допроса сокамерники уже погуляли.

В середине июня, в июле было и вовсе хорошо: мне была назначена судебно-психиатрическая экспертиза в Институте им.Сербского (в знаменитых «Серпах», куда обязательно возят всех политических и где выбирают, срок ли дать в лагерь или без срока — в спецпсихушку), а там прогулочные дворики побольше — с травкой, с цветочной клумбой, со скамеечками возле дачного столика, и прогулка чуть побольше тюремной — полтора часа. И хотя не каждый день выпускали на прогулку, а всего два раза в неделю, но общее количество поглощенного солнца было намного больше. Оголившись до пояса, а то и до трусов, все эти полтора часа эки оздоравлились: кто бегал по круговой дорожке, кто делал зарядку, а кто просто лежал на лавочке, загорал. Я даже начал если не темнеть, то розоветь за те шесть-семь солнечных прогулок, что выдались на мою долю за тридцать пять экспертизных дней.

Остаток лета — снова в Лефортове — я провел в одной камере с весьма привилегированным узником — с сильно проворовавшимся бывшим министром из Узбекистана, и его, а значит, и нас, его сокамерников, выводили гулять поближе к полудню, и тут я опять хватил немного солнца

— так что за лето я все же чуть загорел, и осенью в бане верхняя половина тела была чуть темнее нижней.

Говорят, солнечные лучи способствуют образованию в человеческом организме какого-то важного витамина, влияющего на целостность зубов и волос, на остроту зрения. Не знаю. Но моего тюремного загара, видно, было недостаточно: уже в декабре, когда я приехал в лагерь, у меня тут же выкрошились зубы — и один, и второй, и зрение ослабло так, что пришлось заказывать новые очки.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

13 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)
Допрос начат в 10 часов 15 минут.

Вопрос: В процессе сопоставительного осмотра очерка-повести «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» с текстами использованной вами литературы при ее написании установлено, что вы, дабы придать внешнюю правдивость своему клеветническому сочинению, заведомо занимались подтасовкой, фальсификацией и искажением смысла этой литературы, тенденциозно подбирали выдержки и цифры из нее, трактуя их в отрыве от основного смысла того или иного источника.

Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Так, на странице 51 очерка «Технология черного рынка...», помещенного в антисоветском журнале «Грани» № 120, вы, рассматривая вопрос об оплате труда колхозников, привели из работы Г.В.Дьячкова «Общественное и личное в колхозах» (издательство «Колос», Москва, 1968 год) следующую цитату: «В 1939 году около 16 тысяч колхозов не оплачивали труд в деньгах, 46 тысяч колхозов выдавали только по две копейки на трудодень, около 9 тысяч колхозов не выдавали зерна на трудодень», из чего сделали клеветнический вывод как о свидетельстве будто бы преднамеренной «грабительской» политики государства по отношению к крестьянам. В то время как Г.В.Дьячков говорит совершенно об ином — об объективных причинах такого положения с оплатой труда колхозников, подчеркивает, что в период становления колхозного строя это было вполне обосновано, так как во многих колхозах основным

источником дохода еще оставался колхозный двор, а производительность общественного труда оставалась низкой.

Вам предъявляется указанная книга Г.В.Дьячкова и ксерокопия изготовленного вами очерка «Технология черного рынка...» Поясните, с какой целью вы допустили приведенные клеветнические измышления на политику Советского государства по отношению к крестьянам?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На странице 71 вы цитируете И.В.Сталина: «Средняя выдача зерна в зерновых районах на один колхозный двор поднялась с 61 пуда в 1933 году до 144 пудов в 1937 году», указывая, что это является подтверждением тому, что будто бы «...с самого начала сплошной коллективизации, с первых дней колхозной системы „пролетарское государство“ оставило крестьян на произвол судьбы...»

Как видно из сборника «Вопросы ленинизма» И.В.Сталина (Госполитиздат, 1952 год, стр.626), эти цифры подтверждают обратное, то есть то, что продолжающийся подъем промышленности и сельского хозяйства в 30-х годах привел к новому росту материального обеспечения трудящихся. Эти цифры также являются подтверждением тому, что внутренняя политика Советского государства в указанный период времени была направлена на удовлетворение материальных потребностей тружеников села...

Вам предъявляется сборник «Вопросы ленинизма» и предлагается дать показания о цели допущенных вами извращений относительно политики Советского государства на селе.

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На странице 72 очерка «Технология черного рынка...» вы в подтверждение того же тезиса приводите цифры об оплате труда колхозников, заявляя: «...И еще в 1963 году в стране были тысячи колхозов, где крестьянин получал за свой труд в течение года 6–7 пудов зерна и 10–15 рублей деньгами». Как видно, эти статистические данные взяты из книги «Коллектив колхозников» (издательство «Мысль», Москва, 1970 год, стр.110), где они относятся всего к трем колхозам Орловской области и приведены в обоснование посылки авторов о том, что имеют место колебания в заработках колхозников в урожайные и неурожайные годы. 1963 год назван неурожайным, поэтому и цифры оплаты труда намного ниже, чем они были в предшествующие и последующие годы.

Таким образом, сделанный вами вывод в этой части не вытекает из использованного источника, то есть утвер-

ждать о тысячах колхозов по цифрам неурожайного года и относящимся всего к трем колхозам одной нечерноземной области противоречит объективному исследованию данного вопроса. К тому же говорить о 6–7 пудах зерна и 10–15 рублях деньгами как о сумме оплаты труда колхозников за год, без учета количества выработанных трудодней — дополнительное свидетельство необъективности и преднамеренного искажения действительности.

Вам предъявляется книга «Коллектив колхозников». Покажите, с какой целью вы сделали указанную подтасовку?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На страницах 107–109 очерка «Технология черного рынка...» вы используете выдержку из книги П.Шелеста «Одна сельская семья. Штрихи к социальному портрету сельского рабочего 70-х годов» (издательство «Советская Россия», Москва, 1972 год, стр.97) о расходах семьи Александровых на приобретение промтоваров (по автору, как свидетельство роста благосостояния в семье) и делаете клеветнический вывод о соответствии уровня жизни, уровня потребностей крестьянина в 70-х годах «...мелко-товарной, нищенской, докапиталистической форме хозяйствования, которая единственно возможна на приусадебных участках в условиях административных запретов на частную инициативу в широком масштабе, в условиях крепостнических земельных отношений, столь характерных для общества „развитого социализма“».

Вам предъявляется книга П.Шелеста. Покажите, разве это не является подтверждением вашего умышленного истолкования любых данных в ущерб их объективности, с целью возведения злобных клеветнических измышлений на существующий в СССР государственный и общественный строй?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: К тому же методу фальсификации вы прибегли и в случае использования книги В.И.Староверова «Социально-демографические проблемы деревни» (издательство «Наука», Москва, 1975 год, стр.125–130), в которой автор, анализируя один из мотивов миграции из села — «неудовлетворенность отношениями с руководством», однозначно указывает на то, что она является следствием, с одной стороны, «...становления и возмужания молодых людей, роста их самосознания и желания самоутверждения, приобретения авторитета, что вызывает повышенную реакцию индивида в отношении к нему со стороны коллектива и его руководителей, потребность в уважении», а с другой — «...со стороны коллектива и его лидеров имеется повы-

шенная требовательность к молодому человеку наиболее самостоятельной возрастной категории...» (стр. 129–130).

Вы же в очерке «Технология черного рынка...», пользуясь статистическими данными исследования В.И.Староверова, с целью возведения клеветнических измышлений о советской действительности, заведомо игнорируете указанные пояснения автора и делаете следующий категорический заведомо для вас ложный вывод: «Примерно пятеро из каждой сотни взрослых мигрантов из села бегут от гнева начальства» (стр.105 журнала «Грани» № 120), которых изображаете в качестве «могущественных наместников государственной власти», недоступных рядовому колхознику, заявляя: «...к председателю колхоза со своими нуждами не подступись — он тебя в упор не видит, ему некогда, его в райкоме ждут. А возвысь голос до протеста — он тебя размажет между ладоней...»

Вам предьявляется названная книга В.И.Староверова. Как вы можете пояснить свою фальсификацию?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На странице 128 очерка «Технология черного рынка...» вы приводите специально выдернутые из текста две выдержки работы Р.В.Рывкиной «Мнения руководителей сельского хозяйства о происшедших и будущих изменениях деревни», изданной в Новосибирске в 1975 году, а именно: «из 545 высказываний только 15 содержат общую оценку происшедших и ожидаемых изменений...» Затем у Рывкиной следует (вами специально пропущено): «(не изменилось — изменилось, существенно — несущественно, изменится через 10–15 лет — не изменится) остальные 530 представляют собой перечень тех сторон деревни, которые, по мнению руководителей, изменились или должны измениться через 10–15 лет, в том числе 307 высказываний относится к прошлым изменениям, 223 — к будущим. Малое число общих оценок изменений деревни позволяет сделать вывод, что руководители скорее склонны к анализу конкретных явлений сельской жизни, чем к обсуждению общих вопросов о масштабе социально-экономических изменений деревни, их глубины и значении». После этого Рывкина пишет: «Ответы руководителей затрагивают, по существу, все наиболее важные стороны жизни современной деревни». Почему же вы не привели полностью эти выдержки из работы Рывкиной в своей повести-очерке «Технология черного рынка...»?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Приведя эти две выдержки из текста работы Рывкиной, вы клеветнически заявляете: «Партийные и

хозяйственные руководители... даже сами не понимают, откуда берутся их привилегии, каким образом попадают продукты в их распределитель, как оплачиваются их должностные льготы. Они не знают и не понимают общества, которым руководят». Более того, ниже еще более беззастенчиво клеветаете, заявляя будто бы «безответственность, кажется, стала основной чертой хозяйственной политики правящего класса».

Дайте свои пояснения по существу этих сделанных вами клеветнических заявлений.

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Там же, на стр.128 своего пасквиля, опубликованного в антисоветском журнале «Грани» № 120 (и глава восьмая которого помещена в журнале НТС «Посев» № 12 за 1981 год), вы пишете: «9/10 из них (партийных и хозяйственных руководителей. — *Примечание следователя*) считают, например, что через несколько лет приусадебное хозяйство колхозников уменьшится в объеме или вовсе отомрет» и комментируете: «Но что же они тогда есть-то будут? Они над этим не задумываются — знают, что пока за ними власть, будут есть и досыта». Вместе с тем Рывкина в своем исследовании приводит мнения не вообще руководителей, как это делаете в целях дискредитации вы, а по опросу в 1971 году только 93-х «партийных, советских и хозяйственных руководителей, живущих и работающих в деревне», которые, как пишет Рывкина, «...на вопрос, какие изменения произойдут с личным подсобным хозяйством через 10–15 лет... высказали три точки зрения: 1 — останется таким же (12%), 2 — уменьшится и изменит свой облик (74%), 3 — отомрет (12%)». Далее автор приводит основные доводы руководителей в пользу каждого из этих мнений и на странице 101 пишет: «в целом первая и вторая точка зрения, прогнозирующие сохранение личного подсобного хозяйства в современном виде и (или) его уменьшение, имеют более серьезное обоснование, чем последняя. Вы же в своем пасквили игнорируете данный вывод Рывкиной и упор делаете на менее серьезно аргументированную последнюю точку зрения. Почему вы столь необъективно использовали материалы исследования Рывкиной?»

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Эти, приведенные вам, и другие факты фальсификации действительности свидетельствуют о необъективном, предвзятом использовании вами первоисточников для того, чтобы придать внешнюю правдивость возводимых вами заведомо ложных, клеветнических измышлений,

порочащих советский государственный и общественный строй, руководящую роль КПСС, ее внутреннюю политику. Дайте свои пояснения, с какой целью вы распространяли этот свой пасквиль «Технология черного рынка...», который столь охотно был напечатан в журналах «Посев», «Грани», зарубежной антисоветской организации НТС, ставящей задачу свержения Советской власти и изменения существующего у нас в стране строя, и использовался другими враждебными подрывными центрами Запада в ущерб СССР.

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед
с 12 часов 20 минут до 14 часов 45 минут
и окончен в 16 часов 30 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В Лефортове меня много бросали по камерам, и я посидел со многими сокамерниками, арестованными по уголовным статьям. Среди них были и министр, и бывший полковник милиции, и университетский доктор технических наук, и веселый азербайджанец-мошенник, и неудачливый унылый фарцовщик. Всех их роднило одно: хотя они постоянно ругали своих следователей, своих преследователей, все-таки они их уважали — и поменялись бы с ними местами с великим удовольствием (а некоторые и занимали подобные места прежде, до ареста). Поругивали они и государственные, и общественные порядки, но в целом эти проблемы их мало занимали. Значительно больше их тревожило собственное положение.

Их мучила совесть. Но это не были высокие мучения совести, когда человек в отчаянии сравнивает свою жизнь с идеалом, — нет, это были весьма частные всплески нравственного чувства, заставляющие всхлипывать и стонать: «Как я ошибся! Если бы время вернуть обратно!»

Узбекский министр хлопкообрабатывающей промышленности Вахаб Усманов, с которым я провел в камере два месяца (впоследствии, будучи уже в лагере, я узнал из газет, что он приговорен к расстрелу), в заключении совершенно опустился: то он целыми днями лежал, отвернувшись к стене, стонал, плакал, то мы, его сокамерники, должны были по его просьбе по нескольку раз в день пытаться угадать, какой приговор его ждет. То есть даже не какой приговор, а какой срок — о расстреле, понятно, и вспоминать нельзя было.

Мы придумали специальную игру: по счету «три!» на пальцах выбрасывали какое-нибудь число, и Вахаб, пересчитывая мои выпрямленные пальцы и пальцы нашего третьего сокамерника, или заряжался надеждой, если выходило не больше семи-восьми лет, или впадал в полное уныние и становился всерьез зол и раздражителен, если получалось больше десяти лет. Мы старались беречь его и по многу ему не *отпускали*.

Его настроение сильно зависело и от того, с какой интонацией и какой по чину следователь вел последний допрос. Когда где-то там, в недрах следственного корпуса, куда его уводили почти ежедневно, с ним разговаривал какой-нибудь генерал от юстиции, — скажем, начальник следственного отдела прокуратуры или его заместитель, — Вахаб возвращался в камеру веселый и обнадеженный: раз им занимается такой высокий чин, значит, ему придают большое значение, значит, еще и он «наверху», причислен к тому же разряду, что и сам генерал, с которым он, кажется, был знаком еще на воле, — и он надеялся, что ворон ворону глаз не выклюет...

Когда же шли обычные, рабочие допросы, которые вели разные там капитаны и майоры, когда приходилось сдавать припрятанные драгоценности, принимать на себя все новые эпизоды со взятками и хищениями, он падал духом, начинал часто вызывать тюремного фельдшера, просить сердечные капли.

Если ему казалось, что дела его идут совсем плохо, он вспоминал, что отец его — мусульманин, а дед был даже духовным лицом, — и начинал громко и гортанно молиться. Молитвенное настроение продолжалось до следующего визита генерала. Генерал, видимо, обнадеживал, и Вахаб возвращался повеселевший, свое молитвенное состояние вспоминал с улыбкой и об Аллахе говорил чуть не покровительственно, как о знакомом министре соседней республики.

Когда Вахаб был весел и разговорчив, то особенно охотно говорил о других высокопоставленных узбеках, которые были арестованы по обвинению в коррупции, и о которых он какими-то путями узнавал — через следателя или от своих подельников во время очных ставок, — что они тоже тут, в Лефортове. Так, он, радостно потирая руки, говаривал, что, всего скорее, расстреляют бывшего секретаря Бухарского обкома партии: «На нем пять миллионов!» — говорил Вахаб и растопыривал свою короткопалую пятерню. (Опять-таки впоследствии, от кого-то из его мелких подельников, с кем разговорился через

перегородку в «воронке», я узнал, что на самом Усманове было *десять* миллионов, — и представил себе две его растопыренные пятерни).

В камере у Вахаба было только два занятия: он или играл в шахматы — до десяти партий в день, или писал доносы, — говорят, он повязал вслед за собой человек четыреста. Доносил он на всех, кто когда-то ему давал или кому он давал. Все по его доносам оказались взяточниками и ворами — начиная от председателей колхозов, с которыми он имел дело, и кончая первыми секретарями ЦК партии Узбекистана — и умершим Рашидовым, и живым Усманходжаевым. (Не это ли последнее обстоятельство и решило судьбу Вахаба. Генерал появлялся всегда после особенно важных доносов.)

По-русски Усманов писал и говорил плохо, и писать доносы помогал ему с подозрительной готовностью наш третий сокамерник, некий «технический интеллигент со степенью», сидевший за фиктивные договора и взятки, каким-то образом завязанные с иностранцами. На прогулках этот «доброхот» и Усманов тихо переговаривались, отойдя от меня в дальний угол двора, — хотя в камере мы жили довольно дружно, и передачами поровну делились, и ларек заказывали в один общий котел, — но при всем при том считалось, что я — чужой. Они — хоть и воры, хоть и провинившиеся, хоть и уголовники (так они себя, сожалея, — «с кем не бывает!» — но все же сознавали) — советские люди, я же — отщепенец.

Я как-то было обиделся на их секреты, попытался протестовать, и тогда наш третий, «добровольный» усмановский помощник, спокойно объяснил мне, что, узнав содержание доносов, я могу нанести ущерб Советской власти. Я, признаюсь, оторопел. Как именно я нанесу ущерб, это он не вполне представлял себе, поскольку ехать-то мне предстояло в лагерь строгого режима, потом в ссылку, но... вдруг как-то смогу.

Даже здесь, в камере тюрьмы, они были советские. Проворовавшись, ожидая приговора, ругаясь со следователями — они были советские. А я — не советский. Чем же я-то нанесу ущерб? Тем, что буду *говорить*, тем, что раскрою некую советскую *тайну*. Их тайну. Ведь и они были руководителями страны — еще так недавно были.

— Зачем это тебе нужно? — спросил как-то не то Вахаб, не то «технар».

— Что именно?

— Заниматься писаниной... В тюрьме вот сидишь...

У них в сознании как бы была картинка с фокусом: повернешь — есть человек, еще повернешь — пустое пространство, исчез человек. Так вот в этом мире, где для них мир был полон благ, в этом картиночном мире, где они жили до ареста распорядителями благ, в этом мире было место и министру, и следователю, и уголовному преступнику, вору, и не было места мне — и только потому, что я мог раскрыть их некую *общую тайну*.

— Зачем это тебе нужно?

И я действительно не умел ответить на этот вопрос так, чтобы они меня поняли. И не знаю, отвечает ли на него эта моя книга. Это ведь как повернешь картинку...

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

гор. Москва

27 мая 1985 года

(Подполковник Губинский и капитан Круглов
— вдвоем допрашивают жену обвиняемого
Экслер Н.Е.)

Допрос начат в 10 часов 45 минут.
Допрос окончен в 16 часов 20 минут.

Вопрос: Вам предъявлен изъятый 19.03.85 г. при обыске рукописный текст, начинающийся со слов: «Дм.П.Кончаловский. „Пути России“...». Кому принадлежат данные записи и кем они исполнены?

Ответ: Эти записи исполнены мной и для меня лично, с какого издания — уже не помню, так как это писалось давно.

Вопрос: Вам предъявлен рукописный текст, начинающийся со слов: «Континент № 20. Игорь Ефимов-Московский. Политические выгоды нищеты» и заканчивающийся словами: «...имперской стратегии». Кому они принадлежат и кем исполнены?

Ответ: Записи на некоторых листах (л.л. 3, 5, 6, 8, 10, 12) исполнены мной и опять-таки для себя — так как я хотела подумать над написанным. Они оказались вместе с записями мужа, так как исполнены с одного источника. Писалось это не для использования Тимофеевым Л.М. в его работах, а для собственного осмысления.

Вопрос: Вам предъявлен рукописный текст, начинающийся со слов: «23 апреля. Наташа! Итак, путь...» и заканчивающийся словами: «Погуляю — и опять! Л.» Когда и кем исполнен данный текст?

Ответ: Данный текст представляет собой письмо Л. Тимофеева мне. Когда оно было написано и в связи с чем, я не помню.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «Наташа! А вот еще...» Когда, кем и в связи с чем исполнен данный текст?

Ответ: Предъявленный текст мне незнаком. Когда и в связи с чем он написан моим мужем, я не помню.

В целом первое из предъявленных мне писем написано Тимофеевым Л.М. в связи с его впечатлениями от поездки на Кавказ.

Вопрос: В ходе обыска в вашей квартире 19.03.85 г. были изъяты многочисленные конспекты работ и комментариев к ним. Кому они принадлежат и в связи с чем написаны?

Ответ: Эти записи принадлежат моему мужу Тимофееву Л.М. и написаны им, но в связи с чем, сказать не могу, не знаю.

Вопрос: Во время работы в редакции журнала «Молодой коммунист» в 1976 году Ваш муж был принят кандидатом в члены КПСС. В связи с чем ему было отказано в приеме в члены КПСС после окончания кандидатского стажа?

Ответ: Этот факт мне известен, но, как мне говорил Тимофеев Л.М., после какой-то докладной записки (я не помню, кто ее писал, и о чем конкретно она была) ему было отказано в приеме в члены КПСС*. Кроме того, повлияли его несложившиеся отношения по месту работы.

Вопрос: Что вам известно о написании Тимофеевым Л.М. работ «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить»?

Ответ: Кроме того, что названные работы написаны моим мужем — Тимофеевым Л.М. и писались им дома (он ни от кого не прятался), мне ничего не известно. Каким образом эти работы были переданы для публикации на Западе, я также не знаю.

Должна сказать, что основные идеи, которые были изложены Тимофеевым Л.М. в «Технологии черного рынка...», он изложил ранее в большом очерке (я не помню его названия), который он во время работы в редакции

* Замечание обвиняемого: Наташа не почувствовала провокационный характер вопроса: на самом деле мне не было отказано в приеме в КПСС по той одной причине, что я вообще не подавал заявления о приеме в партию после окончания кандидатского стажа — в то время я уже работал над «Технологией черного рынка...» и сама работа требовала от меня совсем иного общественного поведения.

журнала «Молодой коммунист» пытался официально опубликовать в каком-то журнале — то ли в «Новом мире», то ли в «Дружбе народов». Работу его приняли, но затем в публикации отказали. Тогда Тимофеев Л.М. сократил эту работу и сделал попытку опубликовать в другом журнале (не знаю, в каком), но там ее также не приняли. Затем он еще сократил ее до двух столбцов газетного текста и отнес в редакцию газеты «Комсомольская правда». Работу приняли, и муж был счастлив, что его идеи могут быть публично высказаны. Это он считал очень важным для общественной мысли в то время. Свою публикацию он считал нужной не для того, чтобы «приобрести на этом имя», а для общественной пользы. Однако через некоторое время и в этой публикации в газете ему было отказано. О том, что это делалось не «для популярности» автора, свидетельствует и размер предполагаемой газетной (по сути) заметки, на которой не сделаешь себе «имени», даже если бы у мужа и было такое желание. А иных целей, кроме как довести свои мысли до читателя, он никогда и не преследовал.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

29 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)
Допрос начат в 10 часов 15 минут.

Вопрос: Назовите лиц, у которых хранятся черновики или экземпляры ваших сочинений «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка. Роман в четырех письмах», «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности».

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: При обыске 19 марта 1985 года у вас в квартире были изъяты ксерокопии журнала «Вестник русского христианского движения» №№ 127 и 128, а также отдельные страницы из «Вестника русского христианского движения» № 132. Кому они принадлежат?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Кем изготовлены данные ксерокопии?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Вы получили сами журналы и с них снимали ксерокопии?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Вы регулярно получали названные журналы по мере их публикации на Западе?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Знакомили ли вы с содержанием названных журналов кого-либо?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: С какой целью вы хранили у себя на квартире ксерокопии журнала «Вестник русского христианского движения»?

Ответ: Не последовало.

Допрос производился с перерывом
с 12 часов 45 минут до 14 часов 35 минут
и окончен в 17 часов 35 минут.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

11 июня 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 14 часов 25 минут.

Вопрос: Вам предъявляется зарубежный антисоветский журнал «Время и мы» № 79 за 1984 год с помещенной на его страницах пьесой-диалогом Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше». Когда вами была написана эта «пьеса» и каким образом она оказалась на страницах названного зарубежного журнала?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В «пьесе» «Москва. Моление о чаше» описан диалог между двумя лицами — мужем и женой. Он в прошлом «известный советский журналист» и публицист, ранее писал стихи, оставил работу в редакции два года назад, за пять лет написал две книги, которые опубликовал под своим именем на Западе и в которых «исследовал» существующую в стране систему, жена у него не работает, имеет двух детей — девочек (одна школьница и носит крестик), в доме держат собаку, в личной библиотеке имеют словарь Брокгауза из 86 томов.

Вы также в прошлом были журналистом и публицистом, ранее писали стихи, в 1980 году уволились из редакции журнала «В мире книг», к этому времени написали и передали для публикации на Запад свой антисоветский пасквиль «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», а затем другое антисоветское «эссе»

— «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» под своим именем, в которых порочили советский государственный и общественный строй. Кроме того, у вас с женой (нигде не работающей) двое детей, из которых одна школьница и носит нательный крест, в доме вы держали собаку, а в личной библиотеке имели энциклопедический словарь под редакцией Брокгауза и Эфрона в 86 томах. Все это свидетельствует о том, что данная пьеса-диалог имеет автобиографический характер и ее автором являетесь вы. Подтверждаете ли вы это?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Что ваша «пьеса-диалог» имеет автобиографический характер, говорит и то обстоятельство, что ее герой, в написанной и опубликованной на Западе книге, говорит о старушке, которая молится на портрет основателя Советского государства. Вы в своем опубликованном антисоветском пасквиле «Технология черного рынка...» также описываете сцену, когда старушка (Ховрачева Аксинья Вгорьевна) молится на такой же портрет. Как иначе вы можете это объяснить?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Героиня пьесы-диалога, болезненная женщина, ушла из журнала, где хорошо писала, нигде не работает, хорошо лепит из глины. Ваша жена — Экслер Наталья Евгеньевна в настоящее время домохозяйка, ранее работала театроведом, писала статьи; как показала на допросе 22 мая свидетель Р-я (*следуют фамилия, инициалы*), лепные изделия вашей жены ей очень понравились. Кроме того, свидетель Б-а (*фамилия, инициалы*) показала, что ее дочери Ане было непонятно то, что Соня (ваша дочь) «носит крестик и верит в бога» (*орфография подлинника*). Все это еще раз доказывает то, что данная пьеса-диалог носит автобиографический характер и ее автором являетесь вы. Станете ли вы это отрицать?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В пьесе-диалоге Она говорит: «За каждое слово пророк отвечает сам, и ты готов отвечать... Вот только я забыла, пророку полагаются жена и дети? Жена и дети за что отвечают?.. Я высчитываю копейки, чтобы купить детям горсть ягод или поношенные ботиночки... Ты нами расплачиваешься... Ты не пророк, ты эгоист, мелкий, тщеславный... Ты встал в позу, ты уже придумал сообщение: „Как передают западные корреспонденты из Москвы, здесь арестован...“ Вокруг тебя сияние... Ты говоришь стихами... А как же я? А дети?»

На допросе 20 марта сего года свидетель К-в (здесь и впредь в подобных случаях — фамилия и инициалы. — Л.Т.) показал, что 17 марта 1985 года вы у себя дома включали транзисторный приемник и пытались слушать зарубежные радиостанции, ведущие передачи на Советский Союз.

Свидетель Н-я на допросе 6 июня с.г. показала: «После ареста Левы Наташа говорила, что она во время работы мужа над каким-то произведением неоднократно убеждала его прекратить работу над ним, предупредила, что это добром не кончится, однако он на ее слова не реагировал. ...Она плакала, умоляла его прекратить это опасное занятие, но все было безрезультатно. Наташа так мне говорила, что если бы Лева не передал эту книгу, то есть написанное им сочинение, за границу, то ему бы ничего не было, он нормально жил бы с семьей, а своей писаниной он добился только ареста».

Что вы можете сказать относительно приведенных вам показаний свидетелей, которые повторяют написанное вами в пьесе?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Из содержания написанной вами пьесы «Москва. Моление о чаше» видно, что вы сознавали преступный характер ваших действий, выразившихся в изготовлении и публикации за границей литературы, содержащей заведомо ложные, клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, к каким относятся данная пьеса-диалог, повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить». Подтверждаете ли вы это?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В данной пьесе вы, как и в других названных выше сочинениях, опубликованных на Западе, с враждебных позиций возводите злбную клевету на государственный и общественный строй в СССР, именуя его «нечеловеческой системой» (страница 18 журнала «Время и мы»), утверждая, что в нашей стране якобы действует «закон социализма: не украдешь — не проживешь» (стр.24), общество проникнуто ложью, со стороны государственных органов будто бы чинится беззаконие, допускаете оскорбления в адрес руководителей партии и правительства (стр.11). С какой целью вы распространили столь злбные клеветнические измышления и совершили эти противоправные преступные деяния?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Совершив указанные преступные деяния и боясь ответственности за содеянное, как это видно из содержания «пьесы-диалога», вы вынашивали намерения выехать за границу, рассчитывали обеспечить свое благополучие за счет денег, добытых преступным путем в виде гонораров за свои антисоветские пасквили, и вместе с тем намеревались продолжить антисоветскую деятельность, направленную в ущерб СССР. Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Нет ответа.

Допрос окончен в 16 часов 10 минут.

Начальнику группы следственного отдела КГБ
подполковнику Губинскому А.Г.

от подследственного Тимофеева Льва Мих.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вчера, 11 июня с.г., вы во время допроса грубо и неквалифицированно идентифицировали меня, автора пьесы «Москва. Моление о чаше», с героями этой пьесы. При этом вы приписали мне те самые нравственные изъяны, которыми я, как автор, наделил литературного героя. Каждому маломальски знакомому с основами литературоведения понятно, что при таких методах анализа, когда литературное произведение понимается как самооговор автора, Достоевский, как автор «Записок из Мертвого дома», и Толстой, как автор повести «Дьявол», должны быть обвинены в убийстве, так как оба эти произведения имеют автобиографические черты.

В связи с выявившейся таким образом некомпетентностью следствия настаиваю на проведении литературоведческой экспертизы, где среди прочего должен быть выяснен вопрос о принципиальной возможности в рамках уголовного дела идентифицировать личность автора и персонажа литературного произведения.

Прошу приобщить мое заявление к делу.

12 июня 1985 г.

Лев Тимофеев

(Заявление об экспертизе оставлено без ответа. — Л.Т.)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Москва

15 июня 1985 г.

(Капитан Круглов допрашивает Экслер Н.Е.)

Допрос начат в 14 часов 00 минут.

Допрос окончен в 16 часов 25 минут.

Вопрос: В журнале «Время и мы» № 79 за 1984 год опубликована «пьеса-диалог» Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше». Что вам известно об обстоятельствах ее написания, и насколько события, о которых упоминает в пьесе автор, соответствуют действительности?

Ответ: Автором «пьесы-диалога» «Москва. Моление о чаше» является мой муж, Тимофеев Лев Михайлович. В какое время он написал эту работу, я не помню, но работа писалась у нас дома. В этой работе, действительно, Тимофеев Л.М. использовал отдельные факты из своей и моей биографии. Однако в целом эта пьеса носит лишь автобиографические мотивы, и нельзя сказать, что она во всем соответствует тем событиям, которые происходили в действительности. Тем более это касается ряда эпизодов с упоминаемыми «третьими» лицами.

В связи с моим плохим самочувствием прошу допрос перенести на другое время.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Когда я при аресте уходил из дома, когда меня *уводили* из дома, я плохо знал, что нужно взять с собой. Жена положила в сумку мыло, зубную щетку, пару носков. Я посомневался, можно ли взять какие-нибудь книги, но кагебешник, распорядившийся арестом, сказал, что книги можно будет передать потом (и соврал, конечно). Но Евангелие я все же взял — удобное карманное издание, еще дореволюционное, с лиловым штампом «На память от Коломенского земства» — оно много лет со мной было и дома, и в командировках.

Это Евангелие было у меня отнято почти сразу же, часа через три-четыре после того, как меня привезли в Лефортовскую тюрьму. Сказали, что я смогу получить его через следователя — так это у них было рассчитано...

Тогда же, при первом обыске в тюрьме, у меня отобрали маленький серебряный нательный крестик. Или даже нет, крестик отобрали не во время самого обыска, а минут через

десять-пятнадцать, когда повели в баню. Обыск-то проводили младшие чины, прапорщики, которые по бороде моей, видимо, приняли меня за священника, и что-то, должно быть, дернулось в их душах, не посмели снять крест. В бане же, когда я уже стоял голый, налетел какой-то младший офицер с нарукавной повязкой ДПНСИ (дежурный помощник начальника следственного изолятора), обругал прапорщиков — крестик сняли, сказали, что они люди подчиненные, что существуют положения, по которым в камере запрещены металлические предметы, но что если будет ходатайство следователя... А следователь чего ради будет за меня ходатайствовать?

Так и остался я без крестика и без Евангелия... Но все-таки следователю я об этих изъятиях сказал и просил, нельзя ли получить обратно. В то время следователь еще, видно, надеялся установить со мной какие-то выгодные для него отношения — на каждом почти допросе он, как бы невзначай, заговаривал о людях, которые, оказавшись в моем положении, все же отделялись легким испугом, признавая свою вину и раскаиваясь, — или год-другой ссылки получали, или пару лет в психушке общего типа отсиживались — читай, пиши, получай свидания — и выходили на волю, и уезжали за границу... Вот ведь я арестован, идут допросы, а западные радиостанции продолжают передавать мои очерки и статьи. Так не хочу ли я воспользоваться авторским правом и хотя бы приостановить передачи?..

Так или иначе, он написал специальное письмо начальнику тюрьмы, в котором якобы ходатайствовал о разрешении мне иметь в камере крестик и Евангелие. Но увы... начальник тюрьмы дней через пять ответил отказом, сославшись на какие-то инструкции. Следователь как бы даже несколько огорчился... и тут же нашел выход из положения: поскольку Евангелие передано ему, он будет давать читать здесь, в кабинете...

Конечно, все это разыгрывалось, как комедия. Я должен был почувствовать искреннюю душевную расположенность следователя ко мне, его готовность помочь. Он надеялся на установление *человеческих* отношений. Он — человек, я — человек, мы — люди. Чего же не найти общий язык?

Но нет. Это все было совсем не так. Не то, что я его за человека не считал, — нет! Просто мир его был для меня *за чертой*. Это был *потусторонний мир*. Это как картинка с фокусом: посмотришь с одной стороны — есть человек, посмотришь с другой — нет никого. Пустая комната. Вот так вот в мире, где есть крест, Евангелие, молитвы, — нет

ни следователя, ни офицерских чинов, ни вонючих тюремных коридоров. И сама утрата (или обретение) и креста, и Евангелия не может быть связана с ним иначе как только механически — их руки забрали, по этому коридору унесли. Но суть утраты заключалась в том, что утрата мне *была назначена*. Точно так обретение Евангелия означало только то, что мне *дано обратиться* к Слову. И я обратился...

Я довольно много выписал — скажем, переписал всю Нагорную проповедь целиком и, вспомнив монашеский труд переписчиков, готов был и дальше писать и писать... Но к тому времени следователь совершенно потерял терпение, а может, и вовсе надежду установить контакт со мной, стал раздражителен, его напускная вежливость все чаще стала слетать с него, и в конце концов он сказал, что его начальство не разрешает ему более предоставлять мне Евангелие... А мне и ладно, я уже к тому времени много переписал.

Скоро же к этим листочкам переписанного Слова прибавились иные тексты, Словом вдохновленные, — я имею в виду статьи и письма В.А.Жуковского, каким-то чудом сохранившиеся в тюремной библиотеке, — и в частности, потрясающая по всей просветленности «Внутренняя жизнь христианина». И все это было *дано* мне в тюремной камере...

Все эти записи были со мной более полугодом — я их и сам читал, и давал читать сокамерникам, и некоторые переписывали их себе и уносили с собой на этапы, в лагеря, вместе с обычными для каждого зэка бумажками, на которых начерчен план будущего дома и расчет прибыли от пасеки или теплички: каждый зэк мечтает по освобождении заняться строительством и хозяйством... И успокоиться душой.

Провез я эти записи по этапу, читал их в Пермской пересыльной тюрьме и окончательно утратил только при поступлении в лагерь: там у меня забрали все мои записи «на проверку» и отобрали теперь уже не металлический, а даже кипарисовый крестик, который на этап мне передали друзья. И больше я не видел ни записей, ни крестика — через некоторое время молодой опер с сонными глазами идиота прочитал мне акт, что-де, записи и крест уничтожены. «А как уничтожили?» — спросил я его. — «Сожгли».

И я подумал, что это хорошо, что они так боятся и Слова, и Креста: видимо, чувствуют, что там, где Слово и Крест — их нету. Тоже ведь понимать надо, они ведь тоже борются за выживание — слепые, слепыми ведомые...

РСФСР

Министерство просвещения

**Рязанский городской отдел
народного образования**

**Ордена «Знак Почета»
школа № 2 им. Крупской**

14 июня 1985 года

СПРАВКА

Дана настоящая в том, что по имеющимся в средней школе № 2 г.Рязани архивным данным Солженицын А.И. был принят в школу с 25 августа 1957 г. (приказ Рязанского горона № 51 от 26/8-57 г.) учителем астрономии и проработал здесь до 25 декабря 1962 года.

Директор школы

Т.Варнавская

РСФСР

Министерство просвещения

**Рязанский городской отдел
народного образования**

**Ордена «Знак Почета»
школа № 2 им. Крупской**

14 июня 1985 года

СПРАВКА

Дана настоящая в том, что по имеющимся архивным данным в средней школе № 2 г. Рязани в 1956/1957 учебном году в 9-В классе обучалась Экслер Наталья Евгеньевна, 1940 года рождения, проживавшая по адресу: г.Рязань, ул. Каляева, д.43, кв.1.

По окончании 9 класса переведена в 10 класс.

Директор школы

Т.Варнавская

Уважаемый Александр Исаевич!

Очень давно, в 1958 году, я училась в Рязани, в 10-м классе, во 2-й средней школе. В нашем классе Вы преподавали астрономию.

Я помню, как Вы в первый раз вошли в наш класс в сопровождении директора школы...

Потом меня спрашивали, какой Вы?

Я рассказывала, как Вы впервые вошли в наш класс... Малость моего рассказа смущала слушателей: за ним ничего нет — учитель и плохая ученица. Спрашивали, что рассказывали Вы нам о лагере и что читали нам из своих произведений (?!) Раздражала слушателей моя тупость — мне говорили: «Как вы могли плохо учиться у такого человека? Как можно было не понять, не почувствовать, у кого учишься?» Видимо, если бы я была отличницей по астрономии, то это бы хоть как-то уравнивало ожидания.

Смущало и несоответствие судьбы: ведь дано же это было знакомство — ну и что? Отзвука как бы не было. Я и сама думала: зачем же это было, если нет отзвука? Для чего было?

И вот как аукнулось.

Мой муж, Тимофеев Лев Михайлович, написал большой очерк о жизни русской деревни и пытался его опубликовать. Очерк вроде бы нравился, но его не брали, не взяли в одном толстом журнале, в другом. Лева показал очерк в тонком журнале, там тоже понравился, сказали сократить. Лева сократил. Не взяли. Показал в газете — там собирались сделать большую публикацию на два номера. Не пошло. Сказали сократить. Сокращал, сокращал. Осталось тезисов два столбца. Это все тянулось долго невозможно. Каждое сокращение через лавины муки. Я возмутилась, увидев, что в результате у него осталось, но он сказал, что я ничего не понимаю, что важно опубликовать хоть два столбца, а потом, зацепившись за них, пройдет весь очерк, что два столбца — это очень важно, хоть ему еще не все ясно в самой проблеме.

Столбцы набрали, но уже из номера сняли, а Лева объяснили, что «наверху» кто-то сказал, что если «это» напечатать, тогда за что же редакция получает зарплату?

Лева работал в журнале «Молодой коммунист». И вот в этот момент появилась идея, что ему надо вступить в

партию — он долго работал в журнале, и вроде бы неудобно уже было работать и не быть самому коммунистом — это была сторонняя идея, но он все больше и больше принимал ее — это как-то связывалось с его очерком — тогда напечатают, и вообще больше возможностей что-то делать.

Его приняли в кандидаты. Кто-то из знакомых перестал звонить и ходить, кто-то сочувствовал, как больному, кто-то утешал — куда денешься? Кто-то одобрял — теперь больше возможностей что-то делать; были и официальные идиотские «разговоры по душам», «партийно-искренний» тон, как с посвященным, — и Лева искренне удивлялся, что такие вообще могут быть.

А очерк все его мучил, и какие-то проблемы, затронутые в очерке, но не решенные еще, не продуманные, все возвращали его к нему. И он замучил меня экономическими разговорами. И даже купил мне учебник политэкономии, чтобы я хоть что-то смыслила.

Ему казалось, что идеи эти носятся в воздухе, что где-то кем-то они уже высказаны, он сомневался, «не изобрел ли он велосипед».

И вот только-только его приняли в кандидаты, только стали утихать разговоры об этом, споры, полное неприятие или недоумение одних, уверенность других... К нам вдруг зашла соседка по дому — она захлопнула свою дверь, ей некуда было деваться, и она попросилась посидеть у нас.

Мы недавно жили в этой квартире, никого в доме еще не знали, ни с кем не были знакомы, но эта милая соседка как-то на улице подошла к нам — ей понравилась моя маленькая Сонька, вернее, не сама Соня, а ее имя — оказалось, что у нашей соседки ее младшая любимая сестра Соня была неизлечимо больна... Потом у нас в семье отсчет времени так и значился: «Когда Гюзель захлопнула дверь».

Тогда все и аукнулось.

Поговорили о чем-то, я звала ее заходить к нам еще, но она сказала грустно, что они с мужем буквально на днях уезжают совсем... Тогда многие уезжали, и мне всегда это было больно. Гюзель сказала, что уезжать они не хотят, но вынуждены, но почему вынуждены, она говорить не хотела, разговор прекратила и заторопилась уходить. Я не отставала: «Почему вынуждены?» Она сердито спросила, хоть слышала ли я, что Солженицына выслали? Но продолжать не стала и сказала, чтобы отделаться: «Я вам потом расскажу». Когда? Если через неделю они уедут? И

почти вдогонку я ей сказала, что я у Вас училась. И тут все повернулось.

У нее лицо стало другим, и она сказала, что ее муж — Андрей Амальрик.

Я слышала о нем. Один знакомый рассказывал о гнусном фильме об Амальрике. Что там было? «Да все скрытой камерой, видно плохо, все смазано, тускло, но гнусно ужасно». И после этого фильма, а его показывали в каком-то институте, мой знакомый очень хотел прочесть, что же написал Амальрик, что за ним охотились со скрытой камерой.

Почему я тут же стала просить Гюзель познакомить Леву с Андреем? Почему я решила, что это необходимо для Левы? Не знаю. Знала — необходимо. Она отговаривалась занятостью, сборами, отъездом. Потом пообещала зайти вечером и ушла... Когда пришел Лева и я рассказала ему неожиданную новость, он страшно испугался. Сказал, что никуда не пойдет и ни с кем знакомиться не будет, что это провокация. Все подстроено. «Это не может быть, — говорил он каким-то угасшим голосом, — как ты не понимаешь, что это элементарная провокация». — «Для чего?» Я редела, и было очень стыдно, я видела, что он действительно не пойдет, не сдвинется, так и будет сидеть и повторять, что это провокация. И свет в комнате был какой-то тусклый, и струганные доски лежали на полу — Лева собирался строить стеллаж в пустой пока квартире, и тоска такая была...

Почему я знала, что надо идти? Почему он так испугался?

Заглянула заплаканная Гюзель.

Лева сказал мне: «Только на десять минут». И мы пошли. Мы пробыли долго.

Это была их тайная квартира — они ее наняли по случаю у каких-то незнакомых людей и приезжали сюда, только убедившись, что нет слежки. Здесь они были уверены, что к ним не нагрянут «с визитом», не поставят скрытую камеру.

Андрей никак не мог понять, почему Гюзель сказала мне, кто они такие. Почему? После их-то жизни, после такого опыта, после всего? Как она могла сказать совершенно незнакомым людям? Ей сильно попало.

Но ведь она и не мне сказала, она просто откликнулась на Ваше имя.

Ни Амальрику, ни потом, когда перед их отъездом мы познакомились у них с Юрием Орловым, — ни ему идеи Левы не показались так уж интересны. Или идеи эти были еще не продуманы до их теперешней ясности. Но дело было не в одобрении. Здесь оказался просто важен факт знакомства, факт общения — понимания того, что вот ведь есть люди, которые позволяют себе жить и думать свободно, независимо, — вот они, с ними можно поговорить, до них можно дотронуться. Но самое главное было то, что Амальрик подарил нам «Архипелаг ГУЛаг». Так уж вовремя случился этот подарок, который и совсем освободил Леву.

Вот так все аукнулось.

И Лева начал работать над «Технологией черного рынка». Теперь он додумал все до конца. Проблема была ясна, ясен механизм «черного рынка», ясен механизм советской экономики. Но его еще долго мучило сомнение, не изобрел ли он велосипед, казалось тогда, что идеи эти должны носиться в воздухе и когда-то где-то должны быть уже высказаны. Но кому бы он ни показывал свою работу, об этом, главном, не говорили, предлагали свои какие-то идеи, которые казались им важнее, и советы давали от этих своих идей и словно не замечали проблемы самой «Технологии...»

Муж очень нервничал. «Неужели непонятно? Не ясно?» А советы все шли и шли — от каждого свои — наболевшие, но никакого отношения к работе не имеющие. Он уже отчаялся получить адекватный отзыв... И вдруг он от кого-то узнал о Вашем очень добром, очень взволнованном отзыве о «Технологии черного рынка» — кому-то в частном письме пришел отзыв — это был самый счастливый день.

Для меня это было неожиданно, но после «Технологии», только закончив работу, Лева принял таинство крещения.

Так вот все аукнулось... И спасибо, что было мне дано быть на тех уроках астрономии, чтобы я просто помнила Вас и могла сказать, что помню.

Вот и все. Получилось так длинно, а я просто хотела сказать Вам, что помню Вас и что имя Ваше очень много значит в моей жизни.

С уважением,
Наталья Экслер.

Примечание обвиняемого

Это письмо было написано женой задолго до моего ареста, но не было отправлено за отсутствием реальной возможности для этого. По счастью, оно не было обнаружено во время обыска, а то заняло бы свое место среди вещественных доказательств и несколько бы расширило тематику допросов — моих и жёны. Но поскольку эта книга имеет характер уголовного дела, которое я сам возбуждаю перед судом общественного мнения, письмо это становится важным документом, и его необходимо приобщить к другим материалам дела.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель Генерального прокурора СССР
Государственный советник юстиции I класса

Н.А.Баженов

12.08.1985 года № 46/85

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по уголовному делу № 53

по обвинению Тимофеева Льва Михайловича
в совершении преступления,
предусмотренного частью I статьи 70
Уголовного кодекса РСФСР

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом Комитета госбезопасности СССР 18 марта 1985 года, а 21 марта в отношении Тимофеева применена мера пресечения в виде заключения под стражу. (Том I л.д. 1-2, 15-16.)

Предварительным расследованием установлено, что Тимофеев на протяжении 1977-1984 годов в целях подрыва и ослабления Советской власти проводил антисоветскую агитацию путем изготовления в гор.Москве клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй, произведений, которые направлял за границу для использования антисоветскими подрывными центрами в проведении враждебной пропаганды против СССР.

Конкретно преступная деятельность обвиняемого выразилась в следующем.

В 1977-1980 годах Тимофеев написал в целях распространения антисоветское произведение под названием «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в котором заведомо ложно утверждал, будто «советская система — диктатура страха», якобы осуществляющая «политику крепостного закабаления крестьянства» и «эксплуатацию трудящегося человека». Данный пасквиль, содержащий приведенные и иные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, переправил за границу, где в 1980-1981 годах он был опубликован в реакционном журнале «Русское возрождение» №№ 11, 12, 13 и 14 и в издающихся зарубежной антисоветской организацией НТС журналах «Посев» № 12 и «Грани» № 120, а также неоднократно

передавался на СССР радиостанцией «Голос Америки». (Том 2 л.д.148–282, том 3 л.д.65–71.)

В тот же период времени и в тех же преступных целях написал другое клеветническое сочинение «Ловушка. Роман в четырех письмах», в котором советский государственный и общественный строй заведомо ложно характеризовал «разлагающимся обществом», а социалистическую экономику как «море хозяйственной нищеты», заявлял о том, что в основе нашего социалистического государства лежит якобы «ложь». Этот антисоветский пасквиль переслал на Запад, где в 1981 году он был опубликован в журнале «Грани» № 122. (Том 3 л.д.1–12.)

В 1982–1983 годах в целях подрыва и ослабления советской власти изготовил для распространения клеветническое произведение, озаглавленное «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности». В этом сочинении вновь возвел заведомо ложные измышления, порочащие государственный и общественный строй в СССР, именуя его «пленным» обществом, в котором основной формой правления будто «остаётся террор», утверждал, что «коммунистическому аппарату» якобы необходимо «нагнетание военной опасности», которое приведет к войне, а советскую национальную политику характеризовал как «колониальную». Этот пасквиль послал за рубеж, где он был опубликован в журнале «Грани» № 122. (Том 3 л.д.13–49.)

Тогда же в целях распространения изготовил очередное клеветническое сочинение под названием «Москва. Моление о чаше». В нем, как и в других, опубликованных на Западе, с враждебных позиций оклеветал советский государственный и общественный строй, называя его «нечеловеческой системой» и утверждая, будто общество в СССР проникнуто ложью и беззаконием. Названное произведение обвиняемого в 1984 году было напечатано в зарубежном журнале «Время и мы» № 79. (Том 3 л.д.101–122.)

Свое авторство клеветнических сочинений «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка. Роман в четырех письмах», «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» и «Москва. Моление о чаше» Тимофеев на следствии подтвердил, однако заявил, что не считает уголовно наказуемым деянием сочинение этих произведений. (Том 1 л.д.12, 90–96, 116–123, 128–132, том 6 [видеозапись допроса].)

Помимо этого, в инкриминируемых деяниях он изображается:

- показаниями свидетеля Н.Е.Экслер о том, что автором названных сочинений является ее муж — Тимофеев Л.М. и написаны они были им в г.Москве. (Том 1 л.д.255–259, том 2 л.д.36–41.)
- показаниями свидетеля Н-й, знавшей со слов своей дочери Экслер Н.Е. о написании Тимофеевым книги, «содержание которой является преступным» и передаче ее за границу вопреки просьбам дочери «прекратить работу над ней... прекратить это опасное занятие». (Том 2 л.д.222–225.)
- показаниями свидетеля Г-ва, которому 19 марта с.г. Экслер Н.Е. рассказала, что Тимофеев «опубликовал за рубежом работу», упоминала при этом «пьесу» и то, что одну «из этих работ передавали по радиостанции „Голос Америки“». (Том 2 л.д.153–157.)

Из протокола допроса свидетеля Г-ва: Показания, изобличающие обвиняемого. «...На следующий день я заехал к Наташе... Наташа сообщила, что вчера у них в квартире был обыск, что Льва арестовали. Рассказала, что Лев опубликовал за рубежом какую-то экономическую работу. Потом шла речь о какой-то пьесе. Но я не понял, была ли опубликована пьеса. Я не помню, упомянула ли она название работ. Но из разговора я понял, что какую-то из этих работ передавали по радиостанции „Голос Америки“.

Из ситуации было понятно, какой характер носят эти работы, поэтому расспрашивать более подробно о том, что они из себя представляют, я считал неуместным. Могу лишь отметить, что состояние Наташи было угнетенное. Она была буквально убита происшедшим. Все время принимала какие-то таблетки...»

- показаниями свидетеля Л-й о том, что Тимофеев, со слов Экслер, «свои работы печатал за границей». (Том 1 л.д.206–210.)

Из протокола допроса свидетеля Л-й: Показания, изобличающие обвиняемого. «...Уже после ареста Льва Михайловича от Натальи Евгеньевны я узнала, что якобы какие-то свои работы он печатал за границей. Более подробно на эту тему мы с ней не разговаривали, и откуда ей стало известно об этом, я не могу сказать».

- показаниями свидетеля Ж-ва, что в сочинении «Ловушка» Тимофеев использовал некоторые фактические данные, относящиеся к развитию колхоза «Красный каучук» Шацкого района Рязанской области, а в описании образа героя повествования — отдельные моменты биографии свидетеля, однако интерпретировал эти данные в ложном, порочащем советскую действительность свете. Ж-в на допросе заявил: «Я возмущен тем, что факт из моей биографии Л.М.Тимофеев использовал при написании явно клеветнического пасквиля „Ловушка“ и опублико-

вал его в зарубежном антисоветском издании. Я никак не ожидал от Тимофеева, что он таким непорядочным образом может использовать наши беседы с ним». (Том 1 л. д. 158–165.)

Из протокола допроса свидетеля И-ва: Показания, изобличающие обвиняемого. «... Таким образом, в образе В.Хренова Тимофеев, на мой взгляд, изобразил Ж-ва, однако многие факты искажил. Так, например, случаев самосожжения партийных или советских работников, аналогичных описанным Тимофеевым, мне не известно...»

- показаниями свидетеля И-ва И.К., подтвердившего изложенные Ж-вым обстоятельства. (Том 1 л. д. 168–173, том 7 л. д. 144.)
- показаниями свидетелей: М-ва, П-ва, К-ва, П-на А. и П-на Н., пояснивших, что описанные Тимофеевым в сочинении «Технология черного рынка...» отдельные фактические обстоятельства, связанные с пребыванием автора в «селе Гати» Рязанской области, в действительности имели место в с. Желанное Шацкого района названной области, где Тимофеев с начала семидесятых годов периодически останавливался на отдых. (Том 1 л. д. 202, 203, 213–214, 232–246, л. д. 253–254.)
- показаниями свидетелей М-ва — директора совхоза «Выша», куда входит с. Желанное; И-ва — председателя колхоза «Красный каучук»; Т-на — председателя колхоза «Путь Ленина» Рязанской области о том, что автор «Технологии черного рынка...» и «Ловушки» Л.Тимофеев в этих своих сочинениях с враждебных позиций опорочил действительное положение советского сельского труженика и оклеветал политику партии и правительства в области сельского хозяйства. (Том 1 л. д. 168–173, 215–221, том 2 л. д. 24–27.)

Из протокола допроса свидетеля М-ва: Показания, изобличающие обвиняемого: «Ознакомившись с зачитанными мне выдержками из работы Тимофеева Л.М., я хочу заявить, что возмущен содержанием этого пасквиля. Для человека, писавшего это, как мне кажется, вообще нет ничего святого. Он совершенно не знает жизни крестьян, подтасовывает факты, пытаясь представить их быт и труд в „черном свете“, не замечая ничего хорошего в сельской жизни, клеветает на действительное положение сельского труженика. Таким своим сочинением он не только не оказывает помощи крестьянам, „раскрывая им глаза“ (как он, возможно, думает) на их положение, но и оскорбляет их, порочит перед всем миром, лицемерно выступая под личиной их заступника».

Из протокола допроса свидетеля Т-на: Показания, изобличающие обвиняемого: «...На заданные мне вопросы хочу также пояснить, что в нашем колхозе доярки по фамилии Тюкина никогда не было, да и

заработки у доярок, по крайней мере, после 1965 года, никогда не были ниже 150 рублей. В настоящее время средний заработок-доярок в колхозе составляет от 250 до 350 рублей в месяц. Поскольку я проживаю в этих местах практически всю жизнь, то хочу сказать, что ни механизатора Гаврилы Ивановича, ни других лиц с такой фамилией в нашем колхозе не было. В нашем колхозе на приусадебном участке выращивают в основном картофель. Огурцы, насколько мне известно, выращивают жители поселка Усады, расположенного примерно в 20 км от села Желанное, и в поселках Польное и Ялтуново, расположенных примерно в 15 км от Желанного».

Из протокола допроса свидетеля И-ва: Показания, изобличающие обвиняемого: «В целом после прочтения „Ловушки“ создается впечатление о некомпетентности человека, писавшего этот пасквиль на жизнь тружеников нашего сельского хозяйства. Он клеветает на наш строй, демократические устои хозяйства, которые были заложены еще в 1929 году. На протяжении этих лет колхоз имел подъем в развитии хозяйства и спады производства, но никогда уровень ведения хозяйства и производственные показатели не зависели от системы производственных отношений, существующих в советском обществе... Поставленные Тимофеевым в работе вопросы о демократизации в сельском хозяйстве и партийном руководстве сельскохозяйственным производством надуманны и не имеют под собой реальной почвы, поэтому недостойные, на мой взгляд, публикации Тимофеева заслуживают всяческого осуждения... Самого Тимофеева я никогда не видал и ничего о нем не знаю».

приобщенными к делу вещественными доказательствами:

- текстами сочинений Л.Тимофеева: «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» из журналов «Посев» № 12, «Грани» № 120 и «Русское возрождение» №№ 11, 12, 13 и 14, «Ловушка. Роман в четырех письмах» из журнала «Грани» № 122, «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» из журнала «Время и мы» №№ 75, 76 и 77, «Москва. Моление о чаше» из журнала «Время и мы» № 79. (Том 2 л. д. 148–282, том 3 л. д. 1–49, 65–71, 101–122, 189, 195.)
- зарубежным антисоветским журналом «Время и мы» № 77 за 1984 год с опубликованными в нем главами из клеветнического пасквиля Тимофеева «Последняя надежда выжить...», изъятым в квартире последнего при обыске 19 марта с. г. (Том 2 л. д. 55–64, том 3 л. д. 189–190, том 6.)
- рукописными и машинописными текстами, изъятыми при том же обыске у Тимофеева, представляющими собой комментированные конспекты монографий и статей по

социальным и экономическим вопросам, а также письмами, черновиками и набросками статей общественно-публицистической тематики, имеющими смысловое и дословное совпадение с текстами инкриминируемых ему сочинений. (Том 3 л. д. 189–195, том 4 л. д. 110–279, том 5 л. д. 1–68, том 6 [записная книжка].)

- фотокопией изъятого при обыске 19 марта с. г. в квартире обвиняемого текста «А.Безансон. Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, военных и церковных властей» из зарубежного антисоветского журнала «Вестник РХД» № 118, выдержку из которого, начинающуюся со слов: «До прихода к власти...» и заканчивающуюся: «...потерлась, обтрепалась, источилась», Тимофеев дословно привел в своем клеветническом пасквиле «Последняя надежда выжить...» (Том 2 л. д. 56–65, 88–89, том 3 л. д. 31, 189, том 6 [фотокопия].)
- изъятими при обыске в квартире Тимофеева книгами Ж.Симон де Сисмонди «Новые начала политэкономии», Дьячков Г.В. «Общественное и личное в колхозах», Цыпин Б.Л. «Рабочая сила и ее особенности в период развитого социалистического общества», Колбановский В.Н. «Коллектив колхозников. Социально-психологические исследования», Шубкин В.Н. «Социологические опыты» и Греков Б.Д. «Крестьяне на Руси», отдельные цитаты и выдержки из которых Тимофеев привел в своем пасквиле «Технология черного рынка...» (Том 2 л. д. 56–62, 84–88, 93, 206–208, том 5 л. д. 69–81.)
- сообщением Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ о том, что в 1977–1978 годах Тимофеев пользовался из ее фондов книгами: Бедный М.С. «Продолжительность жизни в городах и селах», Вилимавичус А.С. «Личное подсобное хозяйство при социализме: его место, роль и тенденции развития», Левыкин И.Т. «Теоретические и методологические проблемы социальной психологии», Шмелев Т.И. «Личное подсобное хозяйство и его связи с общественным производством», «Современная сибирская деревня», ч. ч. I и II, Сидоров М.И. «Возмещение необходимых затрат и формирование фонда воспроизводства рабочей силы в колхозах», Староверов В.И. «Социально-демографические проблемы деревни». Эти книги, как и принадлежащие ему перечисленные выше, Тимофеев указал в качестве источников, использованных при работе над антисоветским произведением «Технология черного рынка...» (Том 7 л. д. 68–72.)

- читательским билетом Тимофеева № 6864-4/к, изъятым при обыске у него в квартире 19 марта с. г., дающим право пользования указанной библиотекой ВАСХНИЛ с 1978 по 1982 год. (Том 2 л. д. 56-62, 123, том 5 л. д. 80.)
- протоколами осмотров от 15 мая и 3 июня 1985 года произведений Тимофеева «Технология черного рынка...», «Ловушка...», «Последняя надежда выжить...» и «Москва. Моление о чаше», из которых усматривается, что они содержат клеветнические измышления, порочащие советский общественный и государственный строй, а изъятые при обыске рукописные и машинописные материалы — смысловые и дословные совпадения с текстами перечисленных сочинений. (Том 2 л. д. 65-142, том 3 л. д. 98-100.)
- заключением эксперта № 415 от 19 июня 1985 года о том, что изъятые у обвиняемого при обыске 19 марта с. г. и имеющие смысловые и дословные совпадения с текстами инкриминируемых ему клеветнических сочинений рукописи и вписанные от руки в машинописных документах вставки исполнены Тимофеевым, а сами машинописные документы отпечатаны на принадлежащей ему машинке «Эрика» № 4486599. (Том 3 л. д. 133-144.)
- заключением автороведческой экспертизы № 414 от 17 июля 1985 года, установившей, что по совокупности ораторско-публицистического, художественного, разговорно-обиходного и письменного признаков стиля речи автором «Технологии черного рынка...», «Ловушки...», «Последней надежды выжить...», «Москва. Моление о чаше», а также изъятых по делу рукописных и машинописных документов, имеющих смысловые и дословные совпадения с названными сочинениями, является Тимофеев Лев Михайлович. (Том 3 л. д. 162-188.)
- вещественным доказательством — пишущей машинкой «Эрика» № 4486599, принадлежащей Тимофееву. (Том 2 л. д. 56-62, 123, том 3 л. д. 189, 194.)
- справками в/ч 71330 о том, что зарубежными радиостанциями «Голос Америки» и «Радио Свобода» систематически в 1984 и 1985 годах передавались сочинения Л.Тимофеева «Технология черного рынка...» и «Последняя надежда выжить...» (Том 7 л. д. 3, 29-30.)
- выписками из передач радиовещательных станций «Голос Америки» от 8 сентября и 9 октября 1984 г., 29 января, 7, 9 и 17 мая 1985 г. и «Радио Свобода» от 2 сентября 1984 г., в которых приведены части текстов сочинений

Л. Тимофеева «Технология черного рынка...» и «Последняя надежда выжить...» с враждебными комментариями этих радиостанций. (Том 7 л. д. 5–27, 35–36, 41–53.) — справками в/ч 1414 о том, что журналы «Посев» и «Грани» являются печатными органами зарубежной антисоветской организации «Народно-Трудовой Союз» (НТС), журналы «Русское возрождение», «Время и мы» — антисоветскими, клеветническими изданиями, а радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» передают в эфир сообщения антисоветской направленности в целях дискредитации внутренней и внешней политики Советского государства. (Том 7 л. д. 60–65.)

В процессе предварительного следствия обвиняемый Тимофеев Лев Михайлович по существу предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью I статьи 70 УК РСФСР, виновным себя не признал, пояснив, что не считает свои действия уголовно наказуемыми. (Том 1 л. д. 128–132.)

Утверждение Тимофеева об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. I ст. 70 УК РСФСР, несостоятельно и полностью опровергается совокупностью собранных следствием и приведенных выше доказательств. Он обладает достаточным жизненным опытом, имеет высшее экономическое образование, около двадцати лет пребывал в рядах Союза журналистов СССР, до 1980 года работал литературным сотрудником в редакциях журналов «Молодой коммунист» и «В мире книг», публиковался в периодической печати. Поэтому, начав заниматься антисоветской агитацией, Тимофеев явно сознавал, что его действия направлены именно на подрыв и ослабление советской власти, дискредитацию государственного и общественного строя в нашей стране. Более того, он знал, что написанные им и переданные за границу антисоветские, клеветнические произведения используются зарубежными подрывными пропагандистскими центрами в проведении идеологических диверсий против СССР.

Побудительными причинами этой преступной деятельности Тимофеева, как установлено следствием, явились его враждебные советской власти идеи и взгляды, сформировавшиеся в результате регулярного ознакомления с литературой антисоветского, клеветнического содержания, изданной за границей и нелегально распространяемой в СССР.

На основании изложенного обвиняется:

Тимофеев Лев Михайлович, 8 сентября 1936 года рождения, уроженец гор. Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, с высшим образованием, с марта 1980 г. официально нигде не работающий, бывший член профкома литераторов при издательстве «Советский писатель», ранее не судимый, женатый, имеющий на иждивении двух детей 1973 и 1980 гг. рождения, проживающий по адресу: гор. Москва (далее следует адрес), в том, что на протяжении 1977–1984 годов в целях подрыва и ослабления советской власти проводил антисоветскую агитацию путем изготовления в гор. Москве клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй произведений, которые направлял за границу для использования антисоветскими подрывными центрами в проведении враждебной пропаганды против СССР.

Так, в 1977–1980 гг. Тимофеев написал в целях распространения антисоветское произведение «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в котором заведомо ложно утверждал, будто «советская система — диктатура страха», якобы осуществляющая «политику крепостного закабаления крестьянства» и «эксплуатацию трудящегося человека». Данный пасквиль, содержащий приведенные и иные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, переправил за границу, где он был в 1980–1981 годах опубликован в реакционном журнале «Русское возрождение» №№ 11, 12, 13 и 14 и в издающихся зарубежной антисоветской организацией НТС журналах «Посев» № 12 и «Грани» № 120, а также неоднократно передавался на СССР радиостанцией «Голос Америки».

В тот же период времени и в тех же преступных целях написал другое клеветническое сочинение «Ловушка. Роман в четырех письмах», в котором советский государственный и общественный строй заведомо ложно характеризовал «разлагающимся обществом», а социалистическую экономику как «море хозяйственной нищеты», заявляя о том, что в основе нашего социалистического государства лежит якобы «ложь». Этот антисоветский пасквиль переслал на Запад, где он в 1981 г. был опубликован в журнале «Грани» № 122.

В 1982–1983 годах в целях подрыва и ослабления советской власти изготовил для распространения клеветническое произведение, озаглавленное «Последняя надежда выжить. Размышления о 'советской действительности'». В этом сочинении вновь возвел заведомо ложные измышления, порочащие государственный и общественный

строй в СССР, именуя его «пленным» обществом, в котором основной формой правления будто бы «остаётся террор», утверждал, что якобы «коммунистическому аппарату» необходимо «нагнетание военной опасности», которое приведет к войне, а национальную политику характеризовал как «колониальную». Этот пасквиль переслал за рубеж, где он был опубликован в антисоветском журнале «Время и мы» № 75, 76 и 77 за 1983—1984 годы. Кроме того, его содержание транслировалось на СССР враждебной радиостанцией «Радио Свобода».

Тогда же в целях распространения написал очередное клеветническое сочинение под названием «Москва. Моление о чаше». В нем, как и в других, опубликованных на Западе, с враждебных позиций оклеветал советский государственный и общественный строй, называя его «нечеловеческой системой» и утверждая, будто общество в СССР проникнуто ложью и беззаконием. Названное произведение обвиняемого в 1984 году было напечатано в зарубежном журнале «Время и мы» № 79,

то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

В соответствии со статьей 207 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР настоящее уголовное дело подлежит направлению в Прокуратуру Союза ССР.

Обвинительное заключение составлено 9 августа 1985 года в гор. Москве.

Начальник группы
следственного отдела КГБ СССР
подполковник

А.Г.Губинский

Согласны:

Старший помощник начальника
следственного отдела КГБ СССР
полковник юстиции

В.Н.Расторгуев

Зам.начальника следственного отдела
Комитета госбезопасности СССР
генерал-лейтенант юстиции

А.Ф.Волков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 сентября 1985 года Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего Миронова Л.К., народных заседателей Калининой В.И. и Король В. Г., с участием прокурора Дюковлева В.В., адвоката Власовой К.В. при секретаре Цыганковой Т.К., рассматривая в открытом судебном заседании дело по обвинению Тимофеева Л.М. по ст. 70 ч.1 УК РСФСР, установила:

подсудимый Тимофеев Л.М. в судебном заседании нарушил распорядок работы судебного заседания, не подчинился распоряжениям председательствующего, на замечания не реагировал, требовал удаления его из зала, утверждал, что суд не компетентен рассматривать его дело.

Выслушав мнение адвоката и заключение прокурора, полагающего удалить Тимофеева Л.М. из зала судебного заседания, суд считает, что Тимофеев подлежит удалению из зала судебного заседания, так как он нарушает порядок, несмотря на неоднократные предупреждения председательствующего.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 263 УПК РСФСР, суд определил: удалить Тимофеева Л.М. из зала судебного заседания, судебное разбирательство продолжить в его отсутствие.

Председательствующий	<i>подпись</i>
Народные заседатели	<i>подписи</i>

АКТ судебно-психиатрической экспертизы в суде

Я, нижеподписавшийся, 18 сентября 1985 года участвовал в судебном заседании Московского городского суда по делу Тимофеева Л.М., 1936 года рождения, обвиняемого по ст. 70 ч.1 УК РСФСР. Экспертиза в суде назначена согласно определению судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 18 сентября 1985 года в связи с сомнением в психической полноценности испытуемого...

После того, как Тимофеев Л.М. был введен в зал судебного заседания, на обращение к нему суда, не вставая, заявил, чтобы его удалили из зала судебного заседания.

При беседе с ним узнал врача Института Сербского, поинтересовался, почему был вызван к нему психиатр.

Сознание его не нарушено, он полностью ориентирован в окружающей обстановке. Жалоб на здоровье не высказывает, себя считает в настоящее время психически здоровым. Сказал, что он ознакомился с актом экспертизы института и считает, что вынесенное в отношении него судебно-психиатрическое заключение вполне объективно.

По поводу предъявленного ему обвинения виновным себя не считает, иронизирует по этому поводу. О своем поведении в зале судебных заседаний демонстративно заявляет, что его не должны судить за его «литературные произведения», что в период следствия его ходатайство о проведении экспертизы его трудам якобы не проводилось, и суд, по его словам, «не должен был принимать дело к производству». Свое поведение в суде называет «сознатель-но-отрицательным».

Мышление его последовательное. Психических расстройств (бреда, галлюцинаций) не отмечается. В настоящее время каких-либо признаков болезненного расстройства психической деятельности у Тимофеева Л.М. не отмечается. Поведение его в суде следует рассматривать как нарочито-демонстративное.

В связи с поставленными судом вопросами даю следующие ответы:

1) Тимофеев Л.М., как не обнаруживающий в настоящее время каких-либо болезненных расстройств психики, может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими.

2) По своему психическому состоянию Тимофеев Л.М. может участвовать в судебном заседании.

Судебно-психиатрический эксперт
Института им. В.П.Сербского к.м.н.

Фокин А.А.

ИЗ ПРОТОКОЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ДЕЛУ № 46/85

18 сентября 1985 г.

...Председательствующий объявляет состав суда, а также сообщает, кто является обвинителем, защитником, секретарем, разъясняет подсудимому и другим участникам процесса их право заявить отвод всему составу суда, кому-либо из судей, прокурору, адвокату, секретарю.

Подсудимый Тимофеев:

— Я хочу сделать заявление. Мое дело сфабриковано. Данный суд не правомочен разбирать мое дело. Я рассматриваю это как террор, как расправу надо мной.

Мое дело подсудно суду общественного мнения.

Я требую удалить меня из зала суда. Я не хочу и не буду повиноваться суду.

Председательствующий:

делает замечание Тимофееву о нарушении порядка в зале судебного заседания.

Подсудимый Тимофеев перебивает председательствующего и не дает возможности разъяснить права; предупрежден.

Председатель делает второе замечание подсудимому Тимофееву, который перебивает, лишает возможности выполнять требование УПК РСФСР о разъяснении ему прав.

Подсудимый отказывается встать, кричит, стучит паке- том о скамейку.

Председательствующий делает третье замечание подсудимому Тимофееву, нарушающему порядок в зале судебного заседания, и предупреждает об удалении из зала.

Подсудимый Тимофеев:

— Я требую удалить меня из зала судебного заседания.

Продолжает кричать...

Судебная коллегия удаляется на совещание для вынесения определения.

Определение вынесено и оглашено.

Подсудимый Тимофеев удален из зала судебного заседания...

ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики

г. Москва

19 сентября 1985 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего Миронова Л.К., народных заседателей Калининой В.И. и Короля В.Г. при секретаре Цыганковой Т.К. с участием прокурора Дюковлева В.В. и защитника Власовой К.В. рассмотрела в открытом судебном заседании дело по обвинению Тимофеева Льва Михайловича, родившегося 8 сентября 1936 года в г. Ленинграде, русского, беспартийного, с высшим образо-

ванием, женатого, имеет двоих детей 1973 и 1980 гг. рождения, не работающего, ранее не судимого, проживающего в Москве (*далее следует адрес*)... в преступлении, предусмотренном ст.70 ч.1 УК РСФСР.

Изучив материалы судебного следствия, заслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, суд установил:

На протяжении 1977–1984 годов Тимофеев в целях подрыва и ослабления советской власти проводил антисоветскую агитацию путем изготовления в Москве клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй письменных материалов, которые направлял за границу для использования антисоветскими подрывными центрами в проведении враждебной пропаганды против СССР...*

В судебном заседании Тимофеев допрошен не был, т.к. неоднократно нарушал порядок во время судебного заседания, не подчинялся распоряжениям председательствующего, на неоднократные замечания и предупреждения не реагировал, продолжал нарушать порядок и был удален из зала суда. Суд считает, что предъявленное обвинение нашло полное подтверждение в судебном следствии, а Тимофеев виновен в совершенном преступлении.

Оценивая содержание материалов, изготовленных Тимофеевым, учитывая определенную направленность действий Тимофеева на публикацию материалов за рубежом в антисоветских журналах и использование этих материалов для враждебной против СССР пропаганды, следует признать, что Тимофеев преследовал цель подрыва и ослабления советской власти. Совокупность изложенных доказательств дает основание сделать вывод о полной доказанности совершенного Тимофеевым преступления и правильности квалификации его действий по ч.1 ст.70 УК РСФСР.

При назначении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность Тимофеева и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие ответственность.

Тимофеев ранее не судим, на иждивении имеет двоих детей, до 1980 года занимался общественно-полезным трудом. Вместе с этим суд учитывает повышенную общественную опасность совершенного им тяжкого преступления и считает необходимым назначить наказание, связанное с лишением свободы и ссылкой.

* Здесь мы сокращаем ту часть текста, которая фактически повторяет резюмирующую часть обвинительного заключения.

В стадии предварительного следствия Тимофеев обследовался стационарной судебно-психиатрической экспертной комиссией, которая пришла к категорическому заключению о его вменяемости в отношении совершенного преступления. В акте экспертизы, оглашенном в судебном заседании, подробно изложены доводы и убедительно мотивирован вывод. В судебном заседании эксперт врач-психиатр обследовал Тимофеева с учетом его поведения и данных истории болезни и дал заключение о том, что Тимофеев отдает отчет своим действиям, может ими руководить, по своему психическому состоянию может участвовать в судебном заседании. Свой вывод эксперт подробно мотивировал и представил заключение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 301-303 и 312 УПК РСФСР, суд
приговорил:

Тимофеева Льва Михайловича признать виновным в преступлении, предусмотренном ст.70 ч.1 УК РСФСР, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со ссылкой на пять лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Срок отбытия наказания исчислять с зачетом предварительного заключения с 19 марта 1985 года.

Меру пресечения оставить заключение под стражу.

Вещественное доказательство — пишущую машинку «Эрика» № 4486599 как орудие преступления конфисковать.

Взыскать с Тимофеева Льва Михайловича в доход государства судебные издержки в сумме 10 рублей (десять).

Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховный суд РСФСР в течение семи суток со дня его провозглашения, а для осужденного Тимофеева-Л.М. в тот же срок, но со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий

подпись

Народные заседатели

подписи

Любимая, нет ничего — есть Ты.
Иного в этом мире не осталось.
Какая бы судьба не ожидалась,
Любимая, нет ничего — есть Ты.
Молитвой поднимусь до высоты
Твоей.

Невидимым пребуду.
Ты не поймешь, ты удивишься чуду,
А это я — из тьмы, из ниоткуда
Молитвой поднимусь до высоты
Твоей.

21 марта 1985 года
Лефортовская тюрьма

Когда сплетенные рогами бычьи морды
(а если точным быть — коровы и быка)
мне в грудь мучительно и тупо упирались
и было стеснено мое дыхание
и я уже терял надежду выжить
и мягко, влажно был притиснут к стенке
и сам не то мычал, не то стонал...
открылось вдруг широкое пространство
быков не стало
и меня не стало...

Соком черного хлеба отравлен, на нары запрятан,
Без свиданий, без писем — обовшивел в тоске.
На словах все известно: блаженство гонимых за
правду...

Ни блаженства, ни правды — надзиратель
в тюремном глазке,
Бычьей мордой своей упирается в грудь мне Россия —
не рогами — ноздрями, губами, слюнявой щекой
Я притиснут к стене на потеху печальным разиням...
Кто я, Господи? Прах или соли вселенской щепоть?

В этой жизни моей голос Твой как бы вовсе
не слышен.
Я не то чтобы сплю, но еще не проснулся вполне.
Не вполне еще понял, что счастья не будет, что свыше
Это долгое горе как благо даровано мне.

Ничего, я готов проиграть эти мелкие войны.
Если все же вплетешь меня, Боже, в свой дивный узор,
Навести меня в срок, дай понять Твою вышнюю волю,
Посмотри на меня хоть в тюремный глазок.

*Декабрь 1985 года
Пермская пересыльная тюрьма*

ЧАСТЬ II

Вне гармонических звучаний
жесток и жёсток этот мир...
Из жести кружка, миска, чайник,
вагон, собака, конвоир.

Стук металлической посуды
и грохот кованых дверей...
XX век — палач, паскуда,
по горло музыки твоей.

Кровь на губах. Твои ноктюрны
для жести водосточных труб
звучат по пересыльным тюрьмам:
на жести спят, из жести пьют...

И снова двор тюрьмы, машина,
конвой, шипящий жесткий свет.
Где та железная пружина,
что в жизни держит этот бред?

Да наяву ли это с нами?
Откуда слышится хорал?
Кто там кровавыми губами
тюремный снег поцеловал?

Кого уводят? Чьи объятья?
Глаза слезятся на ветру...
На металлическом распятыи
Христос приварен ко кресту.

*Декабрь 1985 года
Пермская пересыльная тюрьма*

21 декабря 1985 года. Письмо из зоны.

Натанька родненькая! Миленькие мои девочки! Вот я на месте, и вот мой адрес, если его у вас еще нет: 618263, Пермская обл., Чусовской р-н, п/о Копально, пос. Кучино в/с 389/36. Теперь жду не дождусь ваших писем. Пишите все-все о себе, письма длинные-длинные, подробные-подробные. Чем больше подробностей, даже мелочей, тем лучше: и как каждый день у каждой из вас проходит, и во что Катька играет, и что Сонька рисует, и какие уроки задают в школе, и где в гостях были, и с кем дружите и как дружите, и как бабушка поживает, и как мамочка. Пишите все как есть — и хорошее, и плохое. И плохое тоже обязательно — чтобы и я поплакал вместе с вами. Обязательно обо всем пишите... Всякий, кто захочет мне написать, доставит мне огромную радость...

Ну что же о себе? Я сбрил бороду, и под ней оказалась некрасивая, ну просто отвратительная физиономия — надменное лицо эпохи упадка Рима... Но вообще-то я в порядке — в соответствии с обстоятельствами. Обе сонькины передачи в Лефортово были хороши и очень кстати — мне было тепло на этапе, и я был сыт. И еще с гордостью и умилением думал, какая у меня самостоятельная девочка... Только вот беспокоюсь, Соняша, как бы тебя в другую сторону не занесло: не обижай Катьку, не обижай бабушку, не обижай мамочку. Чем быть обидчицей, лучше не быть самостоятельной. Для тебя это сейчас самый опасный грех — почувствовать себя выше других. Прости, что я назидаяю, но сам за тебя боюсь...

Ладно. Вот теперь мои новые просьбы: сразу по получении письма нужно выслать мне бандероль (вес до 1 кг), в которой будет электробритва и одна пара шерстяного белья. Пара — это рубашка и кальсоны, но кальсоны вообще-то у меня есть в достатке. Было бы хорошо получить две нижние рубашки, но, кажется, они по отдельности не продаются. Ладно, как получится, так и хорошо. Но именно *нижнее* белье — другого ничего не надо. Если останется место по весу до 1 кг, то можно положить сухофрукты, но любых не надо, а получше — курагу, что ли...

Перевели ли вы тогда мне в Москве деньги? Если перевели — хорошо, я их и сюда получу. Если нет, то, пожалуйста, переведите сюда рублей 30–40. Думаю, что это последние траты, со мной связанные, впредь постараюсь сам зарабатывать.

Теперь о свидании. Видимо, оно возможно будет уже к концу января. Но не знаю, право... Видеть вас мне

огромное счастье: я все живу тем нашим свиданием в Лефортове, все вспоминаю, как Катька двигалась. что Соняша говорила, что Натанька — и всех вместе меж двух ладоней глажу — и то ведь всего-то полтора—два часа, а здесь целых три дня вместе... Но подумать о вашем путешествии — двое суток в одну сторону поездом, да еще автобусом час, как не более, — а если мороз сильный? А если с автобусами перебои? — думать о такой вашей поездке мне как-то страшно. Может быть, отложить до лета? Но, с другой стороны, что там будет летом? Кто как себя чувствовать будет? Бери, пока дают... Не знаю. Напиши мне, Натанька, как ты к этому относишься, что думаешь и сообразишься только со своим состоянием. (Да есть ли теплое, в чем ехать? Тебе-то можно было бы в моем полушубке — думаю, в этих местах его непрезентабельность не будет зазорной?) Пока не получу твоего письма, заявки на свидание делать не буду. Пиши.

Целую вас, милые мои, и жду писем. От Наташи, от Сони (почаще), от Кати (уже пора), от бабушки Лены (хоть одно большое — ее взгляд на детей), от бабушки Вали.

С Новым Годом вас. Кто-то будет Дедом Морозом?
И с Рождеством Христовым. Господь с вами.

Лева.

10 февраля 1986 года. Письмо из зоны.

Здравствуй, моя большая маленькая девочка! Три письма я написал отсюда мамочке, а четвертое вот — тебе. Как ты там? Ни от мамочки, ни от тебя нет ни письмишка. Что же я без ваших писем? Так, ничего, кусок тоски. Живу все воспоминаниями о нашем лефортовском свидании, и все возвращает их сознание, все возвращает. И еще во сне вас вижу. И молдую за вас...

Оттого что нет писем, нет ощущения, что вы меня слышите, поэтому и желание поговорить в письме — желание это как бы уходит в песок... Как там моя Катенушка? Читает? Пишет? Песенки сочиняет? Здоровы ли вы все? Что мамочка? Что бабушка?.. Что твоя «художка»? Знаешь, я постоянно в сознании проделываю этот путь с тобой в «художку» — и теперь понимаю, что это были, может быть, самые счастливые часы в моей жизни — когда ты там рисовала, а я ходил вокруг, ездил по своим делам — а сознанием с тобой рядом был... Что в

школе? Думаю, какие бы отметки тебе ни ставила историчка-начальница, историю надо знать на «отлично» — тем более, чем более несправедлива будет к тебе учительница. Ты просто должна стать специалистом-историком... Очень мне в жизни не хватает твоих картинок — напиши хоть словами в письме, что и как рисуешь, в какой технике, какие сюжеты? С кем дружишь и как? Где бываешь? Что матушка Анита? Что Мишка? Пиши мне, родная, почаще и поподробнее. Хорошо бы каждую неделю: встала в воскресенье утром — и отчет за неделю...

Не знаю, успеет ли мое письмо к Наташенькиному дню рождения — если успеет, поздравь за меня и сделай от моего имени подарок — картинку, как мы с тобой в зоопарке гуляем (или другую какую-нибудь).

Целую вас, родные мои! Живу вами и молюсь за вас постоянно. Пишите.

Лева.

Я уже писал, что жду бандероль (электробритва, пара теплого тонкого белья, изюм, курага) и перевод (30–50 руб.) телеграфом.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Я и раньше не испытывал и теперь не испытываю ненависти ко всем этим тюремным и лагерным чинам, ко всем этим прапорщикам, лейтенантам, майорам, которые меня обыскивали, конвоировали, стерегли, загоняли в камеру или в цех, закладывали гремящие засовы и замыкали тяжелые двери. Мучили тем, что лишали необходимой теплой одежды или не давали спать, лишали писем и не давали увидеться с детьми и с женой, стремились оскорбить мелкими запретами... Нет, я никогда не испытывал ненависти к ним. Но сейчас, когда я вынужден говорить о них, я ощущаю глухое омерзение...

Я видел, как они убивают людей... Убить сразу они теперь боятся. И поэтому потихоньку, постепенно подталкивают человека к смерти... Но об этом как-нибудь после.

Они живут по ту сторону забора. Из зоны видны крыши их домов. Слышны голоса их детей и жен, а иногда громкие и нетрезвые голоса их самих, гармошка, или Пугачева, или даже тяжелый рок... Осенью из-за забора доносятся запахи уксуса и пряностей — места здесь лесные, хвойные, мшистые — видать, тут много рыжиков и белых, и заза-

борные запахи нам, экам, дают знать, что там наступила пора солить и мариновать грибы на зиму.

Зимой звуки жизни по ту сторону становятся глуше, как бы утопают в сугробах — разве что долго и громко буксует застрявший где-то грузовик, и прислушиваясь, гадает ээк, не нашего ли брата, заключенного, вез воронок и вот теперь застрял, и коченеет теперь человек в промерзшей клетке — и за час, за два задубеет совсем, пока выволокут машину трактором и погонят дальше.

Если встать на кучу шлака, которая к марту поднимается возле котельной на промзоне, то можно увидеть детей, катающихся на санках и на лыжах, женщин с детскими колясками... Но долго на куче шлака стоять нельзя. Могут заподозрить, что ты изучаешь местность за забором, готовишься к побегу. Несостоявшемуся «шпиону» Диме Д-му (восемь лет строгого режима, из них три — тюрьмы — якобы за попытку шпионажа в пользу неопределенной иностранной державы: служа в армии, фотографировал любительским аппаратом в расположении части, вину свою признал и получил *всего* восемь лет, ниже нижнего срока, предусмотренного соответствующей статьей) — так вот, Диме даже приписали попытку побега за то, что залез он на кучу шлака, от которой до ближайшего забора-то добрых метров семьдесят, — залез и смотрел оттуда на волю, смотрел, оторваться не мог... Диму вообще в то время сильно *прессовали* за то, что он подпал под влияние одного известного христианского активиста, стал молиться перед сном и перед едой. А молитва и крестное знамение доводят ментов до полного бешенства. Но это другое.

Попытку побега Диме приписали зря. Бежать тут некуда, да и невозможно, да и никто никогда не пытался. Нет, не побега нашего боятся менты — боятся, что хоть бы *взгляд* за забор убежит, а с ним и душа хоть чуть освободится.

Это так положено: держать в плену не только тело, но и взгляд. Здесь не хватает горизонта: взгляд все время упирается в высокий трехметровый забор из кривых грубо побеленных досок — справа беленый забор, слева забор, сзади, спереди — кругом забор. По верху забора еще путанка проволоки под высоким напряжением. За забором видны верхушки ближайших перелесков, и в первое время по приезде в лагерь после тюрьмы и на эти-то чахлые елки да березки глядишь — не наглядишься. Кажется, в этих перелесках жизни куда больше, чем в крышах посёлка, где, должно быть, единственное двухэтажное здание — казарма роты охраны, — оттуда целый день раздаются

марши, строевые команды и учебная стрельба... Если Дима побежит, они его поймают.

И только в одном месте за забором — там, куда летом садится солнце, на северо-западе, — виден далекий холм, покрытый редким вырубленным лесом. Туда-то по вечерам и ходит погулять тоскующий взгляд зэка — и больше некуда, кругом все побеленый забор — и сегодня, и завтра, и на пять, и на десять лет — все один и тот же забор. Кругом забор. Куда не посмотришь — забор. Перед забором — запретная зона, «запретка», ряд колючей проволоки, за которой, еще и до забора не дойдешь, — смерть твоя: по зэку, вышедшему за запретку, охрана стреляет без предупреждения.

Я — советский политзаключенный. Когда меня вызывает начальство, то, входя в кабинет, я обязан представиться: «Осужденный такой-то... статья такая-то... срок такой-то...» Срок у меня — шесть лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки... Шесть лет забора.

По углам зоны, высоко на сваях над забором, торчат четыре будки — в них круглосуточно, каждые два часа меняясь (а в морозные дни и чаще), дежурят автоматчики. Оружие у них новое, вороненое, хорошо чищенное и смазанное, — оно выглядит живым и современным на фоне мертвенной побелки забора и возле тусклых, каких-то потусторонних лиц автоматчиков. Оружие — барин, а эти — его холопы... Большинство из них — должно быть, восемь из десяти — из Средней Азии или с Северного Кавказа, или из Тувы, из Бурятии. Одевают их плохо — видимо, чтобы не уснули на вышках, — и поэтому в морозы они постоянно пляшут, громко стуча сапогами по дощатому полу вышек — так громко, что мешают спать в карцере — он расположен под одной из вышек... Так и живем мы под стук сапог да под строевые песни из-за забора.

Но еще и кроме забора меня охраняют. Я под надзором. Ежедневно меня четыре или пять раз обыскивают, обшаривают карманы брюк и бушлата, залезают за голенища сапог, заставляют снять шапку, заглядывают под подушку в спальной секции, под матрас, даже полотенце на спинке кровати перетряхивают.

Обыскивают надзиратели-прапорщики — вдвоем, втроем — офицер рядом стоит, смотрит, а в спальной секции и сам лезет в мою тумбочку, роется в письмах — полученных и написанных для отправки, — лезет рукой глубоко в вату матраса... Глаза тусклые, сонные или красные с похмелья...

Идешь на работу — обыск, на обед — обыск, с обеда — обыск, с работы — обыск. Приходишь с работы в секцию

и узнаешь, что без тебя и тут шмонали, и вся тумбочка перерыта, книги, тетради — все на койку выброшено, заправленная было постель разворочена...

Сюда на зону из тюрьмы меня привезли поздней ночью, и хотя приехал я сюда после девятимесячного содержания в камере, после этапа и пересыльной тюрьмы — и всюду были постоянные обыски, изъятия, запреты — и здесь меня тщательно, догола раздели, обыскали, отняли, *отмели* еще какие-то остатки домашних вещей. Здесь ничего с воли не положено. Входишь в зону голый. Одежду, обувь, шапку — здесь дадут, здешнее, форменное... И спустя много месяцев, перед тем, как объявить мне об освобождении, меня снова завели в дежурку внутрилагерной тюрьмы, раздели догола и снова обыскали, только теперь *отмели* то, что у меня в лагере запаслось дорогого мне — записи, письма, книги прочитанные с пометками на полях.

Иногда, когда заглядываешь назад во времени, кажется, что-и держали-то здесь только для того, чтобы постоянно обшаривать, ощупывать, оглаживать, — словно для этого мы и нужны им были, чтобы постоянно быть у них под рукой для удовлетворения этой их омерзительной потребности — ощупать, залезть к тебе под мотню... Я все время ощущал себя в плену у мерзавцев. Зачем я им нужен был? Что они искали? Почему они держали меня за этим забором с автоматчиками, с собаками, с обшаривающими мерзавцами? Неужели только за то, что я позволил себе думать и писать?.. Меня арестовали дома, в Москве, утром 19 марта 1985 года. Дети и жена спали. Я ходил гулять с собакой, по пути зашел в магазин. У меня гостил мой давний знакомый, и я купил довольно много всего к завтраку — и с полной сумкой в одной руке, с поводком, натянутым собакой, в другой — я и вошел в подъезд. Тут-то они меня и ждали.

Собственно, в тот момент, когда я вошел в подъезд, здесь никого не было, но едва за мной закрылась дверь, тут же изо всех темных углов, из ниши под лестницей, от лифта — отовсюду вдруг появились люди, и на площадке, наверху того пролета лестницы, по которому мне предстояло подняться к лифту, стоял их начальник. Я был внизу с покупками и с дворнягой Тютей и смотрел на него вверх. Мне предстояло подняться к его ногам... Я пошел к почтовым ящикам и стал доставать газету, достал, плохо соображая, но все же просмотрел...

«Здравствуйте, а мы к вам...» Тут только я сделал вид, что его увидел. Но это была, конечно, слабая игра. Их было человек пятнадцать. Группа задержания. Я был особо

опасный государственный преступник... И они вошли, втиснулись в два лифта. И потом вошли, втиснулись, черным потоком влились в двери квартиры, в судьбу моей семьи. Младшая дочь, четырехлетняя Катя, обрадовалась: сколько гостей сразу!

Нет, у меня нет к ним ненависти — только омерзение.

22 февраля 1987 года. Письмо в зону.

Папа! Я пишу тебе самое плохое: мама больна. Может быть, ты еще в Москве на свиданиях это заметил. Мама больна, и позавчера ее тетя Катя и дядя Витя отвезли в психоневрологический диспансер. У мамы расстроены нервы. Она в диспансере пробудет два месяца. Сегодня у нее была бабушка. Вчера приехала матушка Анита, и мы с ней завтра пойдем в церковь. Вчера, сегодня, завтра...

Мама написала для меня письмо. Просила приехать, но нельзя, детей не пускают.

Мы с бабушкой, все в порядке. Катя сейчас играет с соседским Левоу у нас.

Папа! Бандероль мы отправить не могли, так как мама спрятала письма и не давала мне прочитать. И я ничего не знала...

Теперь школа. Все в порядке. Сегодня мальчишек поздравляли с днем Советской Армии. Игры были одинаковые, их девочки всем купили. Игры для дошкольного и младшего школьного возраста. Это шестиклассникам! С уроками все в порядке.

Художка. Все нормально. Сейчас рисуем композицию на космическую тему, на конкурс в Австрию (международный). Я делаю смешную «Планету летающей посуды», где инопланетяне летают в посуде: в кастрюлях, в утятницах, в сковородах и в ложках.

Все в порядке.

Катя здорова, поет мало. Писать, читать не собирается. У нее шатаются два нижних зуба — первые!

Папа, ты волнуешься, что письма не дошли. Но они идут долго, свое первое письмо я написала через неделю после получения твоего первого.

Матушка Анита отправила тебе письмо и открытку. На всякий случай повторяю главное: могу ли я сама с кем-нибудь приехать на свидание в весенние каникулы, хочешь ли ты, чтобы это было личное свидание, тогда уточни число. Сразу же перечисли, что можно и нужно

везти с собой — так, чтобы после свидания тебе передать. Если личное, что специально ты хочешь из еды?

Катенька уже спит.

Мы тебя целуем.

Соня.

(Приписка в том же письме взрослым почерком):

Левушка, еще раз не волнуйся за Наташу, сейчас уже гораздо лучше, хуже было все это время без помощи. И для детей, и для тебя сейчас так лучше, ты уж поверь. Очень много тебе писала, надеюсь, получишь. К сожалению, потом такого «урожая» не жди, без меня одна Сонечка так не раскачается — придется довольствоваться малым. Береги себя. Это главное. Не знаю, можно ли тебе давать телеграммы, но попробую. Дело в том, что хочется запросить относительно бандероли... Привет тебе от бабушки, она очень много помогает все это время.

Целую.

Анита.

5 марта 1986 года. Письмо из зоны.

Родные мои, любимые! Получил, видимо, все ваши письма... То, что Наташу положили в больницу, внесло ясность в мои представления о вашей жизни, до сего дня мучительно неопределенные. Что же делать, все надо принимать, как есть. Милая наша матушка Анита, спаси тебя Господь с твоей добротой. Пиши мне не обязательно заказные — пока вот получаю. Конверты и бумагу не присылай — все есть... Разговор о свидании не актуален, вернемся к нему несколько позже...

Если еще не отослали бандероль, то нужда в теплых вещах отпала, по крайней мере, до следующей бандероли (через 6 месяцев). Не горюйте, не так уж это и важно. Я ничуть не мерз, все есть и без того...

Что же еще? Сонюшка, письма твои хороши, но только тогда, когда ты не просто пишешь: «в художке в порядке», «в школе нормально»... Теперь, когда мамочка в больнице, пиши особенно подробно и часто — но уж раз в неделю — обязательно! Приветы не передаю персонально, но само собой разумеется, тем, кто вам помогает, мой поклон и признательность — и родным, и соседям, и друзьям.

Целую вас, родные мои.

Пишите, пишите и пишите.

Лева.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Последнюю ночь в лефортовской тюрьме я провел в камере смертников, и это была лучшая ночь с момента ареста. Хотя день накануне был ужасен.

Утром того дня меня взяли на этап. В двери открылся квадрат кормушки: «Фамилия?» — «Тимофеев». — «С вещами». А какие вещи? Только то, в чем полгода назад из дома при аресте ушел и что тогда с собой унес,— зубная щетка, мыло, пара белья. Нужна была шапка, сапоги нужны, шарф теплый, белье бы шерстяное... Что-то забыли меня родные мои, забыли передачи приносить.

Дело, конечно, не только в шерстяном белье. Передача — это любовь. Передача — это привет от любящих тебя, от тех, кто помнит о тебе. Без передачи в тюрьме одиноко, — я уж не говорю, что холодно и голодно, но главное — одиноко... Все против тебя. Весь мир против. А ты оказался один. Не то, чтобы страшно — обидно. Кажется, не заслужил этого обидного одиночества... Но кто знает, что там у них дома. Может, им еще хуже, чем мне. Да наверняка даже хуже... И этот страх, что им хуже, — куда горше, чем чувство одиночества.

Ничего, принимать надо все как есть, привыкать надо. Поехали.

Но поехали неудачно... Целый день в воронке провозили по московским тюрьмам, собирая этап, набивая в тот воронок кричащую, матерящую, беспрерывно курящую уголовную толпу.

Но собрали этап напрасно. Когда приехали куда-то на зады Курского вокзала, оказалось, что сегодня отправки не будет — и поехали по тем же тюрьмам разгружать живой груз.

Был уже поздний вечер, когда меня завели в камеру — не в ту, в какой я пробыл последние дни перед отъездом вместе еще с двумя горемыками, но в пустую камеру-одиночку, о каких эки поговаривали, что в них содержат смертников перед казнью.

И вот тут-то, — Господи, радость какая! — мне принесли передачу. Лысый прапорщик Володя (все эки знают, как зовут этого ангела судьбы) не в кормушку подал обычную здесь пластмассовую корзинку, но широко открыл дверь и вошел в камеру, и вывалил все из корзинки на койку — все, о чем мечталось! И что поесть в дороге, и что теплое надеть, и во что воды набрать — все, что нужно, и все с любовью собранное. Вывалил на койку и почему-то

сам присел тут же на голый матрас, словно хотел что-то сказать мне, но не решился.

— Кто принес? — спросил я с надеждой, думая, может, жена, — о ее тяжелой болезни я еще не знал наверняка, но догадывался.

— Девочка лет двенадцати, — сказал прапорщик.

— Дочка старшая, — сказал я.

— Я и подумал, что дочка — на тебя похожа, — он помолчал, глядя, как я разбираю, раскладываю вещи.

— А моя бы в тюрьму с передачей не пошла, — вдруг сказал он и поднялся. — Хорошая у тебя дочка.

Он ушел, негромко захлопнув дверь камеры и повернув в ней ключ снаружи, — мой тюремщик. И я подумал о нем с любовью.

На следующее утро меня снова взяли «с вещами». И больше я в Лефортово не возвращался.

19 марта 1986 года. Письмо в зону.

Дорогой Лев Михайлович!

Пишу тебе, наконец, узнав недавно адрес. Должен кое-что сообщить. Может, ты это знаешь, а скорее — нет.

Дело в том, что Наташа очень сильно больна, причем — давно. Сейчас она уже три недели в психбольнице, будет там еще месяц. Дело идет на поправку, она начала набирать вес, врачи надеются, что все будет в порядке. Попав в больницу, она снова стала общительной, радуется встречам, любит вспоминать Озеро. Мы навещаем ее регулярно, она много и охотно ест, разговорчива. Нормальна во всем, кроме двух «пунктов». Об этом подробнее.

В этот столь неприятный для нас год мы общались с ней вплоть до лета, поддерживали ее, как могли. А потом она исчезла. Не звонила, не открывала дверь. Мы думали, она уехала. Увидели ее только раз, в сентябре, она была очень холодна, замкнута. Потом опять был большой перерыв. Соня и Катя приезжали в гости довольно часто, но она сама от общения уклонялась. И так было до начала марта.

Теперь о болезни. Сначала, не в силах жить с тем горем, которое на нее свалилось, Наташа вытеснила из себя сам факт твоего преступления закона, и она вообразила, что все это большая игра, в которую втянуты буквально все, эти все морочат ей голову, а на самом деле у тебя все хорошо, ты где-то счастлив со своими друзьями и

родственниками. Отсюда настороженность ко всем, самоизоляция, мрачное одиночество, нарастание вражды к тебе.

В таком состоянии она была на суде и после. Ты с ней во время свидания в Лефортове виделся уже с *больной*. Ничего не знаю о вашем свидании, но вышеизложенное прими за факт. Наверное, свидание было не таким, каким должно было быть.

В конце декабря она пыталась вскрыть себе вены, но все к счастью обошлось. Дети в это время были под Вологдой у матушки Аниты, а Наташа, очнувшись, под Новый Год бросилась туда, хотя вначале собиралась приехать к нам. Уехала налегке, но, Бог хранит, добралась благополучно, даже не заболела. Кинулась она туда под воздействием галлюцинаций: видела девочек мертвыми, струсилa. Девочки, естественно, были в порядке, она вернулась и — пошел новый этап болезни.

Вытеснив тебя и то, что с тобой произошло, из своего сознания, она должна была найти себе другую поддержку. И нашла. Появилась мысль, что жив ее отец и его надо найти. С этой идеей она приставала к Елене Николаевне, с которой возобновила отношения, ранее прерванные. И вот в конце февраля она стала проявлять свою ненормальность уже перед посторонними: приставала к какому-то старику в вашем доме, уверяя, что он — ее отец.

Елена Николаевна и до этого считала, что ее надо лечить. А тут, при помощи соседей, ночью, ее отвезли в психиатрическую больницу (обычную, у метро «Калужская»). Там мы ее и увидели в первый раз с сентября, слабую, худую, постаревшую, но какую-то успокоенную. Словия у нее хорошие: чистота, врачи внимательны. Поговаривают о назначении ей пенсии на год. Она была общительна при нашем свидании, но насчет тебя и папы несла чепуху. Путалась в противоречиях и не могла из них выбраться.

Через неделю, 8 марта, она была уже много лучше, но оба «пунктика» были при ней. Хочет лечиться, стала лучше относиться к врачам. Ждет встречи с детьми, собирается «прибраться в доме», то есть все привести в порядок (до этого была разруха).

Девочки с бабушкой Еленой Николаевной. Она (бабушка) от ответственности и внутренней энергии даже помолодела. Хозяйничает, суетится. Представляешь? Но настоящий глава дома — Соня. (Лева, в своем воспитании ты был совершенно прав). Она очень повзрослела, командует в доме ответственно и разумно. Ходит на занятия в художественную школу, хорошо учится, не болеет (не

время). Катя стала совсем большой красивой девочкой — общительна и кокетлива. Пока дома есть все. Не беспокойся.

Зная твои письма, Лева... О свидании с Наташей и детьми ты пока не думай! Ей нужно поправиться. Не думай... Наверное, она скоро выздоровеет, за детьми мы непременно присмотрим. Да и за ней тоже.

Елена Николаевна написала письмо на Съезд с просьбой о послаблении тебе. Результатов пока нет.

Главное, береги себя, не делай новых глупостей!!!
Целую! И целуем!!!

(подпись неразборчива)

Конец марта 1986 года. Письмо из зоны.

Родные мои, любимые девочки! Как вы там? Натанька, солнышко мое, ты-то как там? Все время думаю о тебе. Что же ты, родная моя? Как же это душа твоя так затуманилась и от меня отдалилась? Возможно ли? Ведь я давно уже на многое в этом мире смотрю твоими глазами, а уж о себе самом — точно в твоих понятиях думаю. Ты — жизнь моя. Видно, все-таки как-то душа твоя замерзла и плохо меня ощущает, если такое отдаление, отделение было возможно. Но я, родная моя, уверен, еще потеплеет у тебя. И молюсь, и верю, что так будет... Может, напишешь? Не надо много — хоть 2-3 строчки...

Получил я от вас и еще письма, и бандероль, и деньги. Хорошо! Больше всего меня порадовала катькина песенка — хожу и пою себе: «Жили были два кота, съели каши два горшка», — и вроде бы все у меня прекрасно, пока пою. Жаль только, песенка короткая, быстро кончается. А поэтому, если хотите, чтобы мне жилось лучше, шлите еще и еще катькиных песенок...

Милая наша матушка Анита, спасибо и за письмо, и за бандероль, и за деньги — да только ли за это! Бандероль замечательная... Спасибо, что заботишься о детях...

Что же о себе? Живу. Здоров. Теперь, после бандероли, в пределах обстоятельств никаких материальных нужд нету. Все нормально. Голова постепенно возвращается к мысли о XVIII веке, о Радищеве, о Пушкине. Начал читать об этом... Но душа занята только вами, родные мои. Что там бабушка Лена? Я очень хорошо понимаю и чувствую, что весь дом на ней, и сил, видимо, не остается... Поклон ей низкий.

Лева.

Конец марта 1986 года. Письмо в зону.

Милый мой, дорогой Левушка! Такой я себя перед тобой чувствую виноватой — и в том, что раньше мало писала, и в том, что плохо старалась для Наташи, раз мои старания так мало дали... И в том, что не все смогла предвидеть, а то бы раньше проявила больше энергии и по отношению к наташиной болезни, и в заботах о тебе, а то ведь и бандероль вышла, по-моему, «типичное не то». Но никак раньше было не вырваться, то я болела, то Мишка. Мы ведь с тобой тут даже про свои дела забыли — хорошо Таня есть. Хотя, конечно, я туда уже дважды успела съездить. Должна сказать, что и среди бурятов есть неплохие люди. (Сын матушки Аниты — Юлиан Эдельштейн, преподаватель иврита, в это время отбывал трехлетний срок заключения в лагере под Улан-Удэ. — Л.Т.)

Если в ответе Соне ты подтвердишь, что все получено, я тебе скоро еще напишу. А пока что о главном. Наконец вот решились Наташу положить в больницу. Мы все знали, что это надо было сделать давно, с самого начала, но сперва боялись за тебя, а потом надеялись на лекаря-время... В результате мы ничего не добились, а только запустили болезнь, а из-за этого и о тебе почти ничего не знали, ведь даже ни слова о твоей просьбе относительно бандероли не могли добиться.

За Наташу не беспокойся, дома для нее было значительно опаснее. А теперь здесь бабушка, соседи помогают, да и я ведь не забуду, только разорваться не могу... Наташа уже звонит домой, и голос намного спокойнее... Трудно сейчас что-либо предвидеть, но я не очень думаю, что она и после больницы захочет к тебе приехать — разве что чудо.

Конечно, одну с детьми мы ее все равно не отпустим и тогда. Но пока что мы с тобой будем договариваться о свидании с Соней. Либо со мной, либо с кем-нибудь посOLIDнее, но весной можно Соне к тебе приехать...

Милый ты мой, думаем — и о тебе, и о всех твоих, что можем — делаем (ведь Наташа почти месяц была зимой с нами в деревне и в городе, и за весь год она так хорошо не выглядела... но что же поделаешь, если она у тебя такая нестойкая). К сожалению, видно, чтобы чем-то помочь внутренне другим, надо и самим большего стоить...

В общем, ты больше думай о себе, надо тебе выдюжить. Девочки твои в порядке, ни разу, можно сказать, не болели, одеты, обуты, накормлены. Стали совсем большими, взростают прямо на глазах. А вот насчет писать — Катю

ты сам не научил, а Соне все некогда. Но и она завтра-послезавтра собирается тебе писать... Поздно, мы все ложимся, Кате я уже почитала Биссета, и вот она расписалась на письме. Обнимаем.

Анита.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В лагере надо жить. Надо выжить.

Как бы ни было у тебя на душе, надо утром выйти на улицу и сделать зарядку. Надо обтереться холодной водой. Надо улыбнуться товарищам и сказать им: «Доброе утро!» Надо отойти в сторонку и прочитать молитву.

Надо жить. Надо выжить...

В лагере не было голодно. Но пища была грубая, тяжелая, однообразная — каши да каши да капуста. Свежего, витаминного — ничего. И поэтому с первой весной, с первой травкой начиналась охота за витаминами. Лучше всего в ход шла крапива — ее на зоне было довольно много по подзаборным окраинам... Но тоже ведь все становится проблемой.

Чтобы нарвать крапивы, нужно время — хоть пять минут. А когда? Если ты на промзоне в цехе за станком работаешь, то в рабочее время не уйдешь, менты заметят, составят акт о нарушении — либо ларька лишат, либо очередного свидания, либо наберут три-четыре акта и в карцер посадят... Так когда же за крапивой? Если начался перерыв на обед — все. Построились и пошли... Значит, все-таки надо как-то исхитриться, чтобы в рабочее время незаметно, когда мент отлучился, рискуя, выскочить да в дальний угол промзоны смотаться, да нарвать свежих верхушечных листьев — в носовой платок завернуть да в карман спрятать, а лучше в тот же платок да в сапог, чтобы на шмоне по выходе с промзоны не отобрали — в сапоги все же не каждый раз залезают.

Если все это удалось, если горстка крапивных листьев в платке — тут тоже свои заботы начинаются: при съеме на обед вставай в строй первым — надо успеть пораньше до барака добежать и за те пять минут, что до звонка на обед остаются, успеть кипятком из титана крапиву ошпарить, обжигаясь, тут же ее порезать, в кружку сложить, — тут и сигнал на обед. Но крапива уже готова — ароматная, крепкая зелень — хочешь, в суп клади, а хочешь, со вторым, где каша да два-три крошечных кусочка мяса, как две-три строгалинки от бефстроганов...

Ели мы и цветы одуванчиков. Просто срывали головки и жевали. Они сладкие и нежные.

Пытался я как-то сделать салат — из подорожника, мать-и-мачехи, листьев одуванчика и крапивы. Было не то, чтобы очень вкусно, трава есть трава — но зато зелено и свежо... Но больше я такой салат не делал, потому что оказался он очень сильным биостимулятором. А в лагере тоже не всякую энергию стимулировать надо.

Ближе к осени удавалось иногда набрать горсть рябины — хотя то, что на ветках, раньше нас птицы оклевывали. Нам же доставалось уже то, что на земле, в траву осыпалось. Ничего, горсть наберешь, помоешь — сладость!

Были в зоне и грибы. В одном месте промзоны рядовки какие-то, в другом, недалеко от столовой, можно было молодых навозников набрать, в третьем, возле ментовской дежурки, луговых опят. Но грибов, понятно, было совсем немного — за лето раза три удавалось нам небольшую кастрюльку потушить — мы их тушили с луком и заливали разведенными в кипятке плавленными сырками, когда они случались в лагерном ларьке...

Вообще-то рассказывать обо всем об этом немного неловко — нам со всякой крапивой и грибами сильно повезло — на других зонах ничего этого нет: голая земля, асфальт. У нас же зона была небольшая, но довольно зеленая — десятка, наверное, три или четыре деревьев, много травы, которую осенью мы, ээки, косили после основной работы на производстве — в порядке работ «по благоустройству территории». Куда шло сено — неизвестно, куда-то его за зону увозили.

Но была в зоне и своя живность: на отдельной территории, за особым забором — небольшой свинарник голов на пятьдесят. Хозяйничал тут литовец Генрих Яшкунас — человек, фанатично преданный, всякой живой твари (он был «истинный» марксист, уже многолетний ээк — и не по первому сроку! — сидевший за то, что обличал правящих марксистов как «неистинных»). Преданность Яшкунаса делу (не марксизму, а свинарнику) постоянно создавала какую-то напряженную атмосферу вокруг свинофермы. Дело в том, что обычному ээку на свиней решительно наплевать — хоть они все передохни, — тем более, что мясо шло за зону на ментовское потребление. И бывало, у работающего Яшкунаса с ленивыми помощниками доходило чуть не до драки...

Работа на свинарнике, со стороны-то глядя, и мне нравилась, и когда пошел слух, что Яшкунаса увозят, — его срок уже к концу шел, — я начал интригу через

тогдашнего очередного яшкунасова помощника — чтобы он сказал по начальству, что вот-де есть человек, который не прочь... Но интрига была грубо пресечена: уполномоченный КГБ, мордатый мужик с тонким бабьим голосом и бабьей же задницей — фактический безоговорочный начальник зоны, перед которым и майор-начальник вытягивался и честь отдавал, а прапорщики и вовсе деревенели, — вот этот вот самый уполномоченный, без которого ничья судьба в лагере не решалась, сказал тому моему ходатаю, что меня на ферму пускать нельзя. «Этот писатель, — сказал он, не скрывая своего презрения, — выйдет из зоны и начнет мемуары писать». Как же они там с этой фермы воровали, если он боялся и через много лет (да еще выживу ли!) каких-то разоблачений.

Все-таки слово — великая сила! Вон как в страх-то вгоняет. Но и страдать за него приходится — не попал я на ферму, куда и шел только потому, что там, за тем же заборчиком, еще и тепличка была, да и вообще было это место чуть подальше от ментовского глаза, а значит, летом можно было бы и грядку свою вскопать и посадить что-нибудь, — у человека, державшего тепличку, и семена были... Ничего, заел я эту свою беду горстью рябины, да и забыл про нее. Тем более, что скоро меня и раз посадили в карцер, и другой, и третий, а еще раньше и длительного, трехдневного свидания с семьей лишили — и пошли *пресовать* по всем здешним правилам, а там и вовсе на четыре месяца упрятали в ПКТ (помещение камерного типа — читай: внутрilaгерьная тюрьма) — и вышел я зимой оттуда «тонкий, звонкий и прозрачный», и сил уже не было на свинарнике работать, хоть бы и поставили...

Но нет, все равно надо было каждое утро вставать на зарядку. Обтираться холодной водой. Улыбаться товарищам. И ждать весны, чтобы сорвать первый пучок крапивы.

В лагере надо жить. Надо выжить.

2 апреля 1986 года. Письмо из зоны.

Сонюшка родная, девочки мои любимые — и маленькие, и старенькие. Письма ваши — не знаю, все ли, — но получаю регулярно. Меня они и огорчают, и радуют. По письмам чувствую, что хоть и тяжело вам приходится, но ничего, тянете. Так ли? Как там бабушка Лена справляется — дай ей Бог силы и здоровья! Единственное, чего не хватает в твоих письмах, Соняша, — подробностей о Наташе. Как она там? Что говорят врачи? Впрочем, в

последней открытке есть обещание написать побольше. Подожду... Но я все получаю письма — и от тебя, Соняша, и от матушки Аниты, и даже вот от Леши получил письмо (получил и, читая, почувствовал, что становлюсь слаб на слезы, — если не заплакал от радости, то был близок к тому...) — так вот, от вас получаю, а вам о себе — ничего... Ну что же, родненькие мои девочки, попробую вот о себе побольше.

Что же я? Я совершенно здоров... Когда я впервые обрил бороду, то показался себе очень старым и противным — может быть, потому, что борода — это «грим» значительной, вернее, значимой старости, а тут значительность сошла с бородой и мыльной пеной, а старость осталась, и было непривычно. Но ничего, теперь я к этой физиономии в зеркале привык — вполне в соответствии с возрастом и положением. Даже и не такой уж старческой кажется. А когда матушка Анита прислала такую замечательную электробритву, и я гладко и без раздражения выбрит — то и вовсе спокойно гляжусь в зеркало... Я сыт. Питаюсь не хуже, чем в подмосковном пансионате «Чайка» (хуже, чем там, я вообще никогда и нигде не питался!) . Одет достаточно тепло, а после матушкиной бандероли — уж тем более не замерзну. Да и наступила весна... К слову, климат здесь прекрасный, здоровый. И воздух чистый, уральский...

И уж тем более вы не должны тревожиться за мое душевное здоровье. Словом, я здоров вполне. Жизнь должным образом упорядочилась. Ежедневно я стараюсь часа по два заниматься. Читаю по-английски. Можно даже сказать, занимаюсь английским серьезно — и после стольких лет перерыва занимаюсь с неожиданным удовольствием — видимо, мои занятия русским языком дали и новый вкус к английскому. Вообще за последний год я очень много читал — от Гомера до Леви-Стросса... Последнее, что прочитал, — в сборнике английских пьес (на английском), который, к сожалению, был у меня на руках всего несколько дней, с удовольствием прочитал семейную драму того Шеффера, который написал и нашумевшую пьесу о Моцарте — ту, что так не понравилась мне у Товстоногова. Но все же, прочитав, подумал: вам бы, милые, их проблемы семейные! Сейчас наслаждаюсь Шервудом Андерсоном (на английском же) — вот безоговорочно прекрасный писатель, но до Чехова, понятно, сильно не тянет...

Книги я здесь могу получать только через книжные магазины — наложенным платежом. Правда, здесь возможности довольно широкие, в принципе, можно получить книги из любого магазина страны — скажем, я недавно

получил толковый английский словарь Хорнби (не большой, к сожалению, как я запрашивал, а учебный — но для моих нынешних нужд пока и этот хорош). Но понятно, не все доступно. Вот очень бы нужен недавно вышедший томик Романа Якобсона (кажется, в «Прогрессе»), но понимаю, что дефицит, и не знаю даже, какой магазин мог бы выслать. Но вместе с тем, скажем, «Контексты» или «Проблемы структурной лингвистики» и многие другие хорошие книги сюда поступают регулярно. Словом, книги есть, а значит, и есть, что делать, а потому я исподволь начинаю подбираться к пушкинской теме...

Пишите, пожалуйста, нет ли пропуска в ряду моих писем (они пронумерованы все), и возьмитесь нумеровать свои. Целую вас, любимые мои! Обо многом, Соняша, хочется еще сказать тебе, но это уже в следующем письме.

Л.

5 мая 1986 года. Письмо из зоны.

Девочки мои любимые! Вот горькое известие: мне было объявлено, что я лишен длительного свидания — то есть, того самого, о котором так мечтал и на которое ждал вас всех. Не то, чтобы этого нельзя было предвидеть... но все равно горько. Так что ехать вам не надо. Понимаю, что вас это тоже огорчит, но что же делать, если за все, что происходит в моей жизни, огорчениями и горем приходится вам расплачиваться. Что же делать... Как ни трудно, а будем учиться все принимать с благодарностью — даже и само горе... Что же писать... Живу. Работаю. Зимой работал кочегаром, сейчас вот ремонтирую те печи, которые топил зимой. Впрочем, пришлось на несколько дней затопить снова, так как после десяти дней совершенно летней (до +25°) погоды задул северный ветер, выпал и лежит снег... Ладно, что-то не пишется мне сегодня... Как ты там, Натанька, горюшко мое? Соңяшины письма весьма информативны, спасибо, родная, — последнее было о посещении Наташи в больнице...

Катечка любименькая, читаю я с огромным удовольствием и то, что ты мне пишешь, и следующе свое письмо я напишу тебе, а пока вот: *ПАПА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ КАТЮ.*

Целую вас, родные мои.

Лева.

28 мая 1986 года. Письмо в зону.

Левонька, миленький, родненький!

Вернувшись из больницы, я увидела совершенно измученную, землистого цвета бабушку, совершенно издерганную Соньку и Катьку, которая затаенно, постепенно, не сразу поверила, что я — это я — ее мама. На другой день она старалась привести в дом всех своих подружек — показать, что у нее есть мама. Если кого-то нельзя было привести, она стояла под окном и кричала: «Мама!» — я выглядывала в окно, и этого ей было достаточно.

С Сонькой была просто катастрофа: после твоего ареста у нее немедленно пропал цвет в работах, было все грязно и тускло, работала еле-еле. Потом пропала линия. Я не знала, что делать, не знала, надолго ли это. И не знала, чем помочь ей. Да и не могла я раньше ей помочь ничем. Сейчас уже все сдвинулось. Делаю ей хвойные ванны. Она поспокойнее. Возвращаются и цвет, и линия. И ее все это радует. Она уже чувствует каждую удачную свою работу, и это ей в радость и спокойствие, и в удовольствие, но все же приходится заставлять.

Не знаю, что писать тебе. Даже сердце болит от невозможности написать все-все. Да и физически после больницы писать очень трудно. Похожу по квартире и опять пишу строчечку.

Письма твои получила все. Идут они примерно две недели.

Посылаю тебе каткины песенки. Она все поет и пританцовывает. И научилась кататься на велосипеде. Научилась очень быстро и была счастлива. Вчера был ее день рождения.

Начала писать 26-го мая, а сегодня уже 27-е. Отправляю, не дописав про день рождения, а то прособираюсь. Уже хорошо, что писать начала, а то после таблеток больничных писать очень трудно.

Целую, миленький.

Наташа.

Уже 28-е — иду опускать тебе письмо и поведу Катьку в поликлинику — оформлю ей медкарту для школы — пойдет в подготовительный класс, а то ей дома скучно.

Писать тебе — так странно, я будто бы и не расставалась с тобой — ты рядом и все знаешь и без писем.

Целую.

28 мая 1986 года. Письмо в зону.

Дорогой Лева,

с огорчением узнал, что твои девочки к тебе не едут. Жаль, потому что ты бы порадовался за них и успокоился — как порадовались и успокоились мы, когда приехали поздравить Катюшку с днем рождения. Праздник удался на славу — было много детей, и торт со свечками и масса всяких шипучих лимонадов, и, главное, обстановка праздника — улыбающаяся Наташа, красавица Соня в вышитой белой блузке и красной юбке — невеста из гоголевской сказки! Елена Николаевна на кухне в боевой готовности. В доме чисто и светло, книги и рисунки Соняши на стенах... Пишу тебе не для того, чтобы «отчитаться», а чтобы ты почувствовал изменившуюся атмосферу дома, связанную, в первую очередь, с улучшением Наташиного состояния. Впрочем, она, надеюсь, тебе сама напишет. Забыл сказать, что Алешка с восторгом и завистью изучал Сонины дипломы и медаль из Японии. Ты знаешь о них? — За конкурс рисунков!

Письма твои читал...

Держись, Лева. Желаю тебе мужества и сил. И здоровья — это тоже важно. (Насколько это может от тебя зависеть, говоря твоими словами, «по обстоятельствам».) Все тебя помнят и присоединяются к моим пожеланиям. Домашние тебе кланяются.

Жму руку.

Алексей.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Вот они выхватили тебя днем с работы, наскоро приговорили — минутная формальность — и, захватив в жиллом бараке твою кружку и ложку, вдвоем, втроем обступили, повели, потащили.

И все встречные знают, куда тебя ведут. Спрашивают: «Сколько дали?» — «Тринадцать». Тринадцать суток ШИЗО (штрафного изолятора), карцера.

Это в зоне еще особая зона. За нашими заборами еще особо забором выгорожена. Совсем глухо отгорожена от мира. И домишко слепой — на окнах деревянные бельма повешены.

Темная камера. Стены — грубо застывший наляпанный бетон, бетонная «шуба». Холодно. Сыро. Стены сырые, с потолка капает, и на полу вдоль наружной стены собирается

лужа... Голые нары — и те днем подняты к стене, закрыты на замок. Днем — от подъема до отбоя — сидеть можно только на бетонной тумбе с деревянным кружком-сиденьем и облокотиться можно только на бетонный холодный стол — но надолго не облокотишься, от холода начинают ныть суставы.

Тут всякая мелочь становится значима... Мне вот, к примеру, везло. Из четырех длительных карцерных сроков три я провел в камере, где одни нары (а всего их в камере четверо) — так вот, одни нары из четырех были недавно отремонтированы, и их почему-то упустили покрасить. А красят — жесткой нитрокраской, поверхность становится гладкой, стеклянной, холодной. А ведь ни матрастика, ни хотя бы бушлатика — под себя подстелить — ничего этого у тебя нету, только тоненькая хлопчатобумажная одежонка на тебе — ложись на голые нары и спи. Да хорошо ли уснешь на этом холодном стекле... Но те некрашенные нары были иные — струганое сухое *теплое* дерево, и если удавалось еще пронести хотя бы половину газеты из рабочей камеры или из бани — это и вовсе была удача, — газетой можно укрыться, газету можно к ногам под носки запихать.

Газета, да и любая бумага — спасенье в карцере. Хорошо тем, кто получает много писем. Газеты-то в карцер не доставляют, а вот письма обязаны приносить по мере их поступления. И вот мне как-то за двенадцать или тринадцать дней карцерного сиденья пришло семь писем от родных и друзей. К концу этого срока я ложился спать, позасунув развернутые письма под майку, и было мне тепло и спокойно. Любимые грели меня.

Но сама возможность иметь в камере хотя бы клочок бумаги зависит и от того, насколько тебя *прессуют*. Захотят, и письма задержат до конца карцерного срока, или вовсе будут конфисковывать все подряд, что тебе с воли приходиться будет, или и без конфискации станут выкидывать, тебе ничего и не объясняя даже. Когда-то, наконец, случится, придет письмо — родные пишут: шлем, шлем письма, — а нет, не получал ничего месяцами.

Если *сильно прессуют*, то в ШИЗО и из камеры не дадут клочка бумаги пронести, будут каждый раз на шмоне догола раздевать, каждый шовчик трусов прощупают. Не только что газеты у тебя не будет — и для параша-то, для санитарных нужд станут бумагу давать размером с почтовую марку — пойдя, управься...

И наоборот, если велено им отпустить пресс или только начали прессовать и еще не сильно закрутили, то шмонать будут не очень жестоко, можно и газету притырить, и еще

коротких проволочек из цеха натащить, чтобы на ночь ими приторочить куртку к брюкам — и получится такой комбинезон, спальный мешок — пусть из тонкой бумажной ткани, но в него уже можно с головой залезть и надышать немного — все легче.

Здесь в карцере, как нигде, ощущаешь ничтожество своей телесной оболочки. Я слышал, как в соседней камере в голос плакал старый закарпатский крестьянин Иван Новак (мальчишкой он был мобилизован немцами: теперь десять лет строгого режима — старику). В карцере ему было нестерпимо холодно. Он плакал. Менты смеялись в коридоре, заглядывая в глазок его камеры...

Плоть здесь ничтожна... Время, проведенное в карцере, — это время чистого духовного опыта. Нигде и никогда не бывает так светла молитва, как здесь. Нигде и никогда не чувствуешь так близость Света, к которому и обращена молитва... Никогда и нигде не дается тебе такая ясность мышления и миропонимания.

Здесь являются высокие слова. Вся бетонная поверхность стола, покрашенная все той же стекловидной краской, исцарапана надписями — по-грузински, по-литовски, на иврите. Что там — жалобы, стоны? Да нет, вряд ли. Вот по-русски: «И будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня... Претерпевший же до конца спасется».

И еще:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.

Поэтический дух Ахматовой посетил кого-то в камере... Вообще-то старик Новак оказался в ШИЗО по какой-то, не помню уже, случайности. Стариков, сидящих «за войну», начальство не прессует. С них что взять, они материал послушный. Их здесь держат просто из принципа «ничто не забыто, никто не забыт» — они и на воле никому не помешали бы. Многие из них в момент ареста были на руководящих должностях, были в партии — нормальные советские люди. Иное дело — «семидесятая статья», политические — эти не когда-то, сегодня активны. Эти себя не виноватыми — правыми считают. Эти и после суда при своих взглядах. Вот этих-то и таскают по карцерам, обламывают. И чем крепче человек стоит, тем больше над ним звереют...

Я никогда не мог понять, что им от меня надо?

Кто я такой? Почему оказался в лагере? Почему теперь в карцере?

Я — писатель. Я — думал и писал. Мне казалось, что я кое-что понял в жизни страны, в жизни общества. Я сказал об этом вслух. Я могу понять, что мои идеи не каждому близки. Но ведь это только идеи! Они подкреплены доказательствами. Они опубликованы, их прочитали и услышали по радио тысячи читателей и слушателей — их теперь нельзя убить в карцере. Их можно только опровергнуть другими идеями.

Но нет, мои идеи здешнее начальство не интересовали. Никто из них, кажется, и не знал, за что я сижу. Им сказали только, что я — особо опасный преступник. Они знали только, что я не раскаиваюсь, что я упорствую в своих *преступных взглядах на жизнь*.

«Вы не хотите стать советским человеком», — заявил мне какой-то майор, начальник лагеря. Это был приговор. И кому там важно, что именно я доказывал в своих книгах. Известно, что я закоренелый преступник — все! Меня начали прессовать.

Самое страшное — не карцер. Ну, померзнешь немного — ничего... Они знали, что именно для меня самое страшное; они лишили меня длительного свидания с женой и детьми (это за год трое-то суток, максимум, — длительное! — да и тех политическим не дают — сутки, двое от силы). Я ждал этого свидания. Жена была больна. Мне казалось, что я смогу повлиять на ход ее болезни...

Уже через много дней после замполит зоны — маленький прыщавый старлей с университетским значком на груди — спокойно сказал мне, что свидания меня лишили именно потому, что я *его больше всего хотел*. Я онемел от этой откровенности. А он засмеялся, как смеялись надзиратели, когда Новак плакал от холода. Он смотрел на меня открыто и прямо. Ему нечего было скрывать. Это были принципы лагерной педагогики, спущенные сверху. Он их выполнял.

Я не испытывал ненависти к нему — только тоску и омерзение...

Мне с женой и детьми дали короткое свидание — три часа разговора через пыльное стекло. Я даже младшую дочь не смог взять на руки. Даже дотронуться до них не мог — только до пыльного стекла перед ними...

А потом пошли карцеры, карцеры. Из меня пытались сделать «советского человека». Выпустить меня отсюда способным думать и говорить по-прежнему — они не могли. Не имели права. Это была бы их недоработка... Машина

крутилась, и сопротивляться ей или искать компромиссов было моим личным делом. Только моим личным делом. Решительно никого не интересовало, останусь ли я жив. И это было только мое личное дело.

Однажды в карцере я тоже выцарапал стихи на бетонной поверхности стола:

Заблудилась душа моя в звездах,
Закричал я во сне и проснулся,
Поздно жизнь мне менять, но не поздно
Лба холодным трехперстьем коснуться.

Обратиться очами к Востоку,
Вспомнить восемь стихов от Матфея
И предаться слезам и восторгу,
Перед словом Господним немея.

Конец июня 1986 года. Письмо в зону.

Милый Левонька!

Мы тогда остались и ночевали рядом с тобой; уехали утром. И для детей, и для меня это было очень важно. Катька сказала: «Бедный папочка — живет за забором». Сонька окрепла и поуспокоилась. Говорят о тебе с радостью — печаль и тоску высказать еще не умеют — все отзовется потом.

Ездили по гостям, к друзьям на дачи...

Никто не представляет себе тебя бритым, а нам ты очень-очень понравился. Все вспоминаем, какой ты.

Миленкий, напиши поподробнее, что приготовить для бандероли. О шерстяном белье я поняла, постараюсь. Что еще? Приготовила рукавицы теплые и носки — нужны?

Сонька сказала после нашего свидания: «Вы оба так светились, что мы с Катькой были не нужны», — обиделась. Говорит: «Я вас такими не видела». Миленкий, родненький, жаль-то как, что она раньше нас не видела такими, но как хорошо, что все же увидела и отметила и запомнит.

Я все живу радостью нашего свидания. Все вижу тебя. Нашла блоковский «Сиенский собор» и все повторяю. А Жуковского у друзей нет. Пospрашиваю еще. Сегодня Троица. Наш праздник. Я знаю — ты с нами сегодня. И очень это чувствую. Так светло.

Оля по молодости своей сказала, что будешь ты старый через пять лет. Разве старый? Дожить бы.

Сонька стала писать маслом. Купила ей краски и холсты. Очень ей понравилось. Акварелью тоже работает. Было вяловато и сухо, но должна освободиться.

Сегодня уже 23-е — Духов день, и сегодня получили письмо от тебя. Не сердись, милый, что не пишем. Соня не пишет — я для этого есть, а для меня странно еще писать — ты с нами постоянно, надо привыкнуть писать.

Целуем, родненький.

Наташа.

Ах, пингвин, пингвин, пингвин.

Бело пузо, черный спин.

Это катькина песенка — ей матушка подарила пингвина. Целуем.

Конец июня 1986 года. Письмо из зоны.

Девочки мои любимые, Натанька! После свидания я только на следующий день немного успокоился, и тогда вдруг стало горько — именно вдруг. Какой-то короткой, острой конвульсией — но прошло, а осталась — и до сих пор — радость, что вы были, что я вас видел, что вы такие красивые, умные — и, конечно же, радость, что ты, любимая моя, смотришь здоровой. Надеюсь, подробности вашего обратного пути уже идут ко мне в письмах?.. На этой же неделе получил я и письма — твое, от матушки Аниты два, от Леши, соняшины открытки — и всюду катькины письма и песенки — все получил, прочитал по пять раз и хожу счастливый, пою катькину песенку:

Что бы мне такое сделать

Из изделия вчера?

Что бы мне такое сделать

Из изделия сегодня?

А правда, что бы? Сегодня выходной, идет дождь. День большой-большой, и много сделать можно. Я вот отчитал свой ежедневный час по-английски (в будни вечером, а в воскресенье — утром) — и что бы еще сделать из изделия сегодня? Все чаще возвращается сознание к «Онегину»... Скажи, пока ты болела, я и думать не мог, что сумею писать о Пушкине. Так, брезжило что-то в душе, как тоска. Но вот ты здорова — и сознание мое как бы освобождается от спазма... Что мне сейчас важно? Самое интересное и важное сейчас — подумать о композиции, о композиционных принципах, о структуре романа...

Ладно, миленькие мои. Вот я начал с утра это литературоведческое письмо, а теперь уже к вечеру — устал так долго писать с непривычки. Что же еще? Тут, конечно, приходит в голову много побочных мыслей — и о композиции соняшинных картинок, и об особенностях композиции лепных игрушек — частично это обсуждал Лессинг в «Лаоконе». Когда-нибудь поговорим...

Как там, Соняша, твои труды?..

Всем приветы и поклоны.

Целую вас, родные мои.

Лева.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В слепом домишке лагерного «штрафного изолятора» — тюрьмы внутрилагерной — всего шесть камер. Шесть камер, крошечная баня на одного человека (а запихивают сюда и по трое) и еще просторная дежурка для надзирателей. Здесь, вдалеке от строгих глаз начальства (у них ведь тоже свои проблемы), надзиратели любят собираться ночью, посидеть, попить чайку, потравить анекдоты — все это с громким ржанием, от которого вздрагивает и просыпается забывшийся в карцере трясущийся от холода зэк.

На шесть камер — три камеры для карцера, две — для ПКТ (помещение камерного типа — строжайший тюремный режим, строже обычной тюрьмы) да еще рабочая камера — небольшой цех. Назначено ли зэку полгода ПКТ или неделя-другая в карцере — он обязан работать. И на работу выводят в эту самую рабочую камеру. ПКТ, как правило, выводят в первую смену, карцер — во вторую.

Когда сидишь в карцере, то возможность выйти в рабочую камеру — благо. Тут можно даже найти пару сигарет — есть такие укромные места, о которых не то чтобы менты не знали, но в которые им добираться каждый раз лень — они ведь тоже люди с советской психологией и, создав видимость работы, больше того пальцем не двинут — то-то и зэку благо, а то бы вовсе невпродых было.

Сигареты оставляют ребята, сидящие в ПКТ, — им и курить разрешается, они и газеты в камеру получают. В тюрьме закон: чем строже режим у человека, тем больше ему внимания от товарищей. А уж строже карцера режима не бывает. Карцеру — само уважение.

Когда в декабре 1985 года я только еще приехал на зону и здесь, в «штрафном изоляторе» проходил десятидневный караятин, то первое человеческое слово я услышал

из дырки отхожего места: «Здравствуйте!» — прошептало мне оттуда. Я поздоровался и представился. «Вы прибыли на 36-ю, политическую зону, — тихо, но с напором шептало в ответ. — Я — Алексей Смирнов, москвич, сижу по 70-й статье за издание „Хроники текущих событий“. Сейчас нахожусь в соседней с вами камере — в карцере, уже больше месяца безвыходно. Последний раз добавили десять суток срока за то, что одна пуговица на куртке была расстегнута. Издеваются... Но не во мне дело. Чем вы можете помочь товарищам, сидящим в ПКТ? Там писатель Борис Черных. У него больная печень. Передачку можно оставить в прогулочном дворике в снегу...»

Он ничего не просил для себя. Он говорил о сидящих в ПКТ — Борисе Черных (пять лет лагерей и три ссылки за создание «Вампиловского педагогического товарищества» в Иркутске), о ленинградском историке и поэте Ростиславе Евдокимове (шесть лет лагерей и четыре ссылки за издание бюллетеня, пропагандирующего независимые профсоюзы). Он ничего не просил для себя, хотя уже сороковой день сидел в камере, где одна стена была покрыта густым ином. Уже потом он мне рассказывал, что ему было не так уж плохо, потому что удалось хлебным клеем склеить одеяло из трех газетных листов — из газет, которые Черных и Евдокимов оставили ему в рабочей камере.

Сидел он в камере не один, а с молодым парнем из Киева, с Сергеем К-о (десять лет лагерей за одно свидание с американским военным атташе. Американец малость не расчихал и решил, что парня можно завербовать «явочным порядком», — и послал ему до востребования в городишко, где Сергей тогда временно жил, письмо, написанное тайнописью, — с инструкциями. Письмо так и пролежало невостребованным — да и парню и в голову не пришло бы, что он завербован — пока не вскрыли письмо «заинтересованные лица». Тайнопись проявили — К-о получил десять лет). Так вот, Сергей, с которым я, в свою очередь, тоже в карцере сживал, очень хвалил Смирнова за находчивость: и при газетах всегда были, и курево было, и даже пару раз чайком побаловались — дали знать на зону, и с деталями в цех было прислано... «С ним хорошо сидеть», — говорил Сергей, и это высшая похвала для зэка. А может быть, и вообще высшая похвала для человека в этой жизни.

Хорошо было сидеть с Борисом Ивановичем Черным. Мы сидели с ним несколько месяцев в ПКТ уже через год после моего приезда в зону и его первого «пэкэтэшного» срока. На Новый год — 1987-й — мы себе не только чаю заварили, но даже торт сделали (крошка ларечного печенья,

маргарин, пыль какао с сахаром, ссыпавшаяся с дешевых карамелей, яблочное повидло. Чай же нам — пару хороших заварок! — опять-таки в укромном месте рабочей камеры оставил азербайджанец Алиев, бывший в то время на карантине после возвращения из Чистопольской тюрьмы (к сожалению, я так и не успел с ним хорошо познакомиться: вскоре после того, как я вышел из ПКТ на зону, посадили его). Ему же этот чай тоже достался в порядке эковской взаимовыручки — кто-то на этапе сунул: человек, возвращающийся из *крытой*, — самое уважаемое лицо в пестром этапном потоке — и в камере, и в «столыпине». Ему через весь вагон и чайку передадут — если не заваривать, то хоть пожевать, — и курева, и вообще, если нужда в чем-то есть — ну, скажем, тапочки нужны — найдут, подберут поудобнее и *подгонят*.

Вообще на нашей политической зоне никто не голодал еще и потому, что хорошо была поставлена взаимовыручка. И если менты упорно прессовали кого-то и упорно, месяц за месяцем, лишали ларька и посылки, то так же упорно, месяц за месяцем, все остальные со своих ларечных покупок отделяли должную часть — и жил человек не нуждаясь. Душой этой взаимовыручки был католический священник о.Альфонсас Сваринскас — многолетний зэк, тянувший уже свой третий срок (на этот раз за издание журнала «Комитет в защиту верующих» — семь лет лагерей и пять лет ссылки). Он внимательно следил, чтобы у каждого из нас была пачка маргарина, банка повидла, флакон подсолнечного масла, горсть дешевых конфет... В рамках предложенных обстоятельств никто не сидел одиноко, сложа руки и понуриив голову — хоть и были все люди разных мировоззрений. Наша правота, наше сопротивление было еще и в том, что мы стремились выжить не каждый по отдельности, но все вместе. И в этом один поддерживал другого. И если была хоть малейшая возможность, никого не оставляли в одиночестве.

И когда кто-то погибал, в этом не было вины его лагерных товарищей. Туда, за край, уходили люди, удержать которых у нас просто не было возможности...

Может быть, мне и здесь повезло. Говорят, на других зонах было иначе. Говорят, политэки были разъединены, а иногда и вовсе вражда разъедала зону... Не знаю. По отношению к нравственному климату 36-й политической зоны в те времена, когда я здесь сидел, в моих словах нет ни тени идеализации. Все так было, как я говорю.

Повторяю, за край уходили только те люди, удержать которых у нас не было возможности.

Начальнику Главного управления
исправительно-трудовых учреждений
МВД СССР

от Экслер Натальи Евгеньевны (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, жена Тимофеева Льва Михайловича, находящегося в заключении в лагере 389/36, не имею никаких известий о нём с 9 сентября с.г. На телеграмму, посланную в лагерную медсанчасть, я не получила ответа.

Прошу помочь мне узнать, что с моим мужем.

Когда я раньше спрашивала начальника лагеря, почему не приходят письма, то он отвечал, что последнее письмо отправлено такого-то числа. Но когда отправлено последнее из дошедших писем, я и сама знаю. Меня тревожит, почему так долго нет писем. Они не доходят? Или мой муж не может писать?

Если не доходят, то почему?

По последнему письму за 9 сентября я поняла, что два не дошедших до этого письма (за август и сентябрь) были посвящены рассуждениям чисто литературным (мой муж — литератор и был занят изучением творчества Пушкина до ареста). Имеет ли право заключенный делиться в письмах семье своими размышлениями о литературе? Если цензорам что-то непонятно в этих размышлениях, то причина ли это для конфискации писем?

Прошу Вашего содействия. Прошу разобраться, по каким причинам были задержаны письма (заказные). Может быть, с ними ознакомятся более грамотные цензоры, которым будут доступны размышления о Пушкине, которые способны понимать, что это действительно размышления о литературе, о законах творчества, что за ними нет никаких намеков и второго смысла.

И мне, и нашим детям очень важно знать, имеет ли мой муж хоть малую возможность продолжать свои занятия литературой и посвящать нас в свои литературные интересы.

Это о конфискованных письмах. Но я тревожусь, что мой муж вообще лишен возможности писать письма и подвергается в лагере притеснениям. И не только отсутствие писем это подтверждает.

По произволу лагерного начальства нас лишили положенного в этом году личного свидания. Начальник лагеря Долматов сказал, что он не помнит, за что именно лишен свидания мой муж, и отказался говорить на эту тему.

Опер. Журавков заявил мне, что мой муж грубит, не выполняет норму и нарушает режим. И все оказалось ложью. На общем свидании мой муж рассказал, что до того, как он подал заявление о личном свидании, у него не было ни одного замечания, но сразу после заявления начались мелкие придирки (вышел вне строя — замечание, раньше почему-то не замечали, надел не тот лагерный бушлат — замечание — раньше ходил так же, но не обращали внимания). Разве это не показывает бесчеловечное стремление лагерного начальства под любым предлогом не дать свидания и этим унижить, оскорбить надеющегося узника... И в этом вопросе я еще раз прошу Вашей помощи и контроля. Я прошу положенного личного свидания.

Почему по произволу лагерного начальства наши дети лишаются возможности хоть три дня в году побыть вместе с отцом? А не только три часа смотреть на него через стекло.

И еще. Насколько мне известно, при каждом лагере существует помещение гостиничного типа, где могут останавливаться родные, приехавшие на свидание. Я попросила поместить меня с детьми в такую комнату. Начальник лагеря отказал. И только после моего обещания ночевать с детьми на улице нас поместили в нежилую, грязную, промозглую комнату. При этом опер. Журавков заявил, что если бы не дети, то меня-то они уж точно оставили на улице. Если мы родные человека, осужденного за свои убеждения, то дает ли это право на бесчеловечное обращение с нами? У них служба, но и служить можно с достоинством, не опускаясь до лжи и хамства. Если эти люди не отказывают себе в удовольствии поиздеваться над женщиной с детьми, то какие же у них возможности для жестоких издевательств над людьми, которые находятся под их неограниченной властью?

Может быть, все-таки в Ваших силах помочь нам всем?

13 ноября 1986 года

Подпись.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Когда после суда меня привезли в лагерь, Михаил Денисович Фурасов был уже очень болен, и все понимали, что болен он безнадежно: он горстями ел снег, чтобы хоть как-то избавиться от вкуса мочи, который он постоянно ощущал во рту, — почки уже вовсе отказывались работать.

Это был очень тихий, очень вежливый человек. Интеллигент, кандидат технических наук... Ээки, которые любят обмениваться для чтения своими приговорами и знают все о судебных делах каждого, установили специальный приз — пачку чая — тому, кто скажет, за что сидит Фурасов. Это была тайна. Его дела никто не знал. Была у него статья 70 (в ее украинской версии), но говорить о подробностях он не хотел: «Я давно признал свою вину. Теперь надо выжить и выйти отсюда».

Выжить в лагере люди пытаются по-разному. Можно в «седьмом кабинете», в кабинете уполномоченного КГБ, этого хозяина зоны, распорядителя наших судеб — можно в этом кабинете дать понять, что ты готов к долгим содержательным беседам. Это, конечно, за зону не выведет, но освободит от мелких придирок, и бандерольку в срок получишь, а придет время — и посылку, да и свидания — не лишат, как строптивых лишают, а дадут длительное, «личное», на положенные трое суток, да еще могут и дополнительное, льготное разрешить — опять трое суток с семьей... Да и работу дадут полегче, а то и вовсе художником или даже нарядчиком поставят...

Нет, Михаил Денисович хоть и был до робости тихим ээком, но — никакими льготами не пользовался. Напротив, трудно сказать, за что, но его спокойно и верно *убивали* на глазах у всей зоны. И ни для кого это не было тайной, и только сам Фурасов как бы не хотел этого видеть и сердился, когда ему предлагали организовать коллективную поддержку — писать в его пользу или объявить голодовку. Он боялся озлобить ментов. Он боялся их злобы.

И действительно, менты, кажется, и не злились на него...

Когда-то, года за полтора до меня, он приехал на зону здоровым человеком. Делал зарядку, бегал по утрам по небольшой лужайке возле медсанчасти, обтирался холодной водой. Но зимой простудился — то ли выгнали его в ботинках мокрый снег убирать, то ли заставили шлак на холодном ветру грузить, и его, распарившегося от работы, и прохватило — как именно простудился, он и сам не помнил. Простуда дала осложнение на почки. Врач посмотрел, дал какие-то таблетки, но от работы не освободил, хоть от таблеток лучше и не стало.

Прошло месяцев пять, если не больше, прежде чем его повезли в больницу или, как здесь говорят, «на больничку». Там — когда иного завсегда «седьмого кабинета» держат в больнице и по месяцу, и по полтора, отпуск ему устраивают, отдых — Фурасова продержали две недели,

лечить не лечили, но анализы сделали. Врач просмотрел анализы, сказал: «Теперь мы знаем, что с вами», — но опять — как-то странно — лечить не стали, а отправили назад, в зону.

Вот и все. Лечение закончилось, не начавшись. Давали, как и прежде, какие-то таблетки, но толку от них не было. Казалось, что лагерное начальство, а из-за их спин и врач, со спокойным любопытством смотрят, как развивается болезнь и как движется человек к краю. Двигается и движется, и они его туда подталкивают и подталкивают полегоньку...

Фурасов работал не то чтобы на трудной, но на достаточно нудной операции: за маленьким станочком нарезал он метчиком еле видимую резьбу в крошечном латунном контакте — зона делала детали для электроутюгов, которые собирали где-то на другой зоне.

В цехе гуляли сквозняки. Фурасов сидел целый день, сторбившись за своим станочком, укрывши больные почки бушлатом. Из-за станка не встань, не отдохни — сразу замечание, а то и наказание — или ларька лишают, или заставят вне очереди снег на жилой зоне убирать после работы.

Уставал Денисыч сильно, к концу рабочего дня опухали ноги, но даже и в свободное время хоть бы прилечь на койку — нельзя, запрещено. Вечерами в бараке за большим столом, где люди читали или играли в шахматы, он сидел рядом с нами, положив голову на руки и тяжело забываясь. Так он ждал отбоя, после которого можно было, наконец, лечь по-настоящему.

Но ночью Фурасов спать не мог. Он постоянно просыпался. Мучили почки, мучила мигрень, мучил отвратительный застоявшийся вкус во рту — хотелось полоскать рот чистой водой, хотелось пить чистый растопленный снег — и он вставал, бродил по бараку, заходили дежурные менты (и по ночам нет покоя!) — громко топая, светя фонариком на лица спящих, — и Фурасов выслушивал их змеиные, свистящим шепотом замечания.

Болезнь развила в нем обостренное «чувство пользы». Весной он первый находил на зоне пучок свежей крапивы и, ошпарив кипятком, съедал его. В ларьке из наших жалких эковских восьми рублей, положенных на все про все (хотя ему, кажется, регулярно разрешали потратить еще пятерку — «производственные» за выполнение нормы и за безупречное поведение — словно знали, что это не остановит его движения к краю) — из этих жалких денег он каждый раз выкраивал что-то на свежие (на самом деле

всегда полугнилые, бросовые) овощи — редьку или лук. (Нужды нет что их-то как раз почечному больному и нельзя — где уж там! — другого-то свежего нет ничего, а хочется).

Иногда вдруг он задавал вслух вопросы, которые диктовал ему не разум, но диктовала его болезнь: «Почему они не заовзят в ларек молочные продукты?»

Он надеялся выжить и выйти отсюда. Он был совершенно одинок, и, хотя ему было уже пятьдесят, он рассказывал, что решил было жениться, но вот помешал арест. Но он еще надеялся. Он говорил мне, что скоро он выздоровеет и снова начнет делать зарядку и обтираться холодной водой. Он спрашивал у меня, сколько может стоить домик — пусть какая-нибудь развалюха — в сельской местности. Кажется, из своего почти символического заработка (и того половину «законно» забирает «хозяин» — начальник зоны) — из этой малости он ежемесячно откладывал что-то пятнадцать ли, двадцать ли рублей — на будущий дом. Он надеялся купить развалюху и дать ей ремонт... Сидеть ему было еще пять лет, и он надеялся.

Добило его, кажется общее для всех ежегодное распоряжение о переходе на летнюю форму одежды: с начала лета бушлаты носить запрещалось. Наступал июнь, начальству — сытым, здоровым — показалось, что уже достаточно тепло, и последовал приказ: телогрейки снять... Как-то завернул северный ветер, пошел дождь, но приказ есть приказ: кто в бушлатах-телогреечках — тех от ворот промзоны назад, да еще и со взысканием за получившееся опоздание да за ослушание. Так и с Фурасова в этот ветер и дождь сорвали бушлатик. И еще его к краю подтолкнули, теперь уж совсем близко...

Недели через две что ли я проснулся ночью оттого, что кто-то в секции сильно храпел. Вообще-то в лагере храпунов хватает — люди все немолодые и больные. Я, к слову, долго спал рядом с человеком, который громко — громче, чем храп, — скрипел зубами. Скрипел на всю секцию, где спали тридцать человек, — и я к нему всех ближе спал — и ничего, привык. Но тут был такой храп, что я проснулся. Храпел Фурасов. К нему уже склонился его сосед: «Он не храпит — хрипит без сознания...» Побежали за дежурным, послали за врачом.

Врач пришел, да хоть он и будет на зоне — к больному в секцию не придет, хоть пусть умирает человек — несите в медсанчасть.

В ночных сумерках, почему-то не зажигая света, двигались темные тени над хрипящим Фурасовым. Полюжили на носилки. Понесли. Исчезли.

Утром увезли его «на больничку». А на следующий день он умер.

О смерти Фурасова начальство прямо не сообщило. Но когда через день кто-то спросил по-хитрому, не умер ли Фурасов, дежурный чин окрысился: «Ну и что, что умер, — и на воле люди умирают». Так люди узнали, что Михаил Денисович до своего домика не дожил.

В день, когда Фурасова еще только увезли в больницу, меня как раз посадили в карцер — не помню уж точно, как было сказано; за что, кажется, за голодовку, которую мы объявили, протестуя против сдрючивания бушлатов с оконченёвших эзков.

Вышел я из карцера больной и пошел на прием к лагерному врачу — к длинному, довольно спокойному баскетбольно-спортивного вида парню лет тридцати пяти — пошел не только за таблетками, но еще и в надежде узнать, как умирал Фурасов, каков окончательный диагноз.

Врач — словно чувствовал вину — даже разговорился, против ожидания свободно. «Он ведь почечный, а почечные дела не предсказать. Я на „скорой“ работал, знаю». Оттого он и разговорился, что ему надо было распространить, вбить нам в сознание определенный взгляд на смерть Фурасова.

Я слушал и помнил, что этот вот долговязый не давал уже слабеющему человеку освобождения от работы — до последнего дня не давал! — и еще за три дня до смерти заявил, что Фурасов «практически здоров» — так Денисыч и захрипел в ночь после обычного рабочего дня. «За станком умер», — говорили эки... И вот сидел я рядом с этой тусклостью и опять чувствовал не ненависть, а тоску. «Мы ведь тоже тут мало можем», — так он говорил, и я думал, что вот сидит врач — какую-то там клятву Гиппократата они что ли дают — да не в клятве дело! — ведь вот когда-то хотел лечить людей, на «скорой» работал, спас, должно быть, не одного...и вот пошел сюда работать, не лечить — но если уж и не убивать прямо, то, по крайней мере, смотреть равнодушно, как одни равномерно, спокойно, не торопясь, подталкивают человека к смерти, а другие руководят этим подталкиванием, и стал тоже подталкивать («мы ведь тоже тут мало можем») — и вот нет Фурасова.

За что? Что он такое сделал? Что мы все такое сделали?

Я сидел и слушал его, и у меня даже желания не появилось сказать ему что-то резкое. Тоска! Но вот мой

товарищ Борис Черных — тот не выдержал — в рожу ему закричал: «Убийца!» И отправили Черныха в карцер, хоть и сам он в то время грипповал и был в жару, — не сразу, к вечеру пришли в секцию, вынули из постели больного, насильно одели, выволокли. Это было уже совсем рядом. Это уж и меня возмутило — и меня туда же, в карцер, больно с температурой, — чтобы не возмутился.

Смерть Фурасова, двое больных в карцере — зона была возбуждена: «Менты обнаглели!» На следующий день пятнадцать человек не вышли на работу — забастовали... Начальство ответило по-своему: распихали людей по карцерам, приехали еще и начальники сверху — чуть не бунт на зоне! — всех выслушали, всем поугрожали, но и покивали головами, пообещали разобраться, расследовать — и ничего. Глухо. Как было все, так и осталось.

После всех карцерных передраг вышел я на зону уже в январе. Пошел было работать на знакомое кочегарское место. Но почувствовал, что не могу, что еле доволакиваю смену. Сердце что ли от полугода малой подвижности сдавать стало? А кому пожалуешься? Врач выслушал — иди, здоров!.. И вот тут-то я и подумал, не меня ли будут теперь спокойно и неторопливо подталкивать к тому краю, за которым исчез Фурасов? А пока меня не было в зоне, исчез за этим краем и старик Бутлерс — тоже до последнего дня работал. И еще один несчастный — язвенник Пушкарь, вправдашний северокорейский шпион...

Не моя ли очередь?

Сидеть-то мне еще четыре года с лишком, не считая ссылки.

Уже много позже я не то чтобы узнал, но слух был, за что именно сидел Фурасов: он будто бы искал неизвестные факты биографии Брежнева. И находил. И что же это за факты были такие? Видать, страшным делом занимался тихий Михаил Денисович! Не оттого ли его так быстро и свалили за край?

Учреждение ВС-389
618801 п. Половинка, Чусовского района
Пермской области

10/12-86 г.
№ 44/5-Э-2

Москва (адрес) `
Гр-ке Экслер Н.Е.

Ваше заявление, адресованное начальнику ГУИТУ МВД СССР и поступившее в наш адрес, рассмотрено. Вся переписка Вашего мужа Тимофеева Л.М. ведется согласно § 31 п.5 Правил внутреннего распорядка ИТУ, все его письма и письма родственников, прошедшие цензуру, вручаются и направляются адресатам. Во всех случаях о конфискации писем составляются акты, о чем он уведомляется.

На Вашу телеграмму в адрес медсанчасти учреждения Вам дан ответ за № исх.9-Т от 10.11.86 г. (квитанция №25 от 13.11.86 г.).

Осужденный Тимофеев Л.М. очередного свидания за 1986 г. лишен обоснованно 30.04.86 г. за неподчинение требованиям дежурного наряда.

Комната для приезжих при учреждении ВС-389/36 имеется.

Начальник учреждения
вх. Э-2

Н.В.Хорьков

В ЦК КПСС,
Генеральному прокурору СССР
тов. Рекункову

от секретаря правления Союза писателей СССР,
лауреата Гос.премии СССР
поэта Евтушенко Е.А.

Уважаемые товарищи!

Ко мне обратилась жена журналиста Тимофеева Льва Михайловича, находящегося в заключении в 36-м пермском лагере. Одной из причин его ареста была его книга по экономике, где Тимофеев ставил многие острые вопросы черного рынка, дефицита, коррупции, экономической не-суразицы — словом, все те явления, которые раньше

замалчивались, а ныне находятся в центре внимания наших ведущих газет, открыто подвергаются острейшей критике — порой ничуть не менее остро, чем это делал Лев Тимофеев. Перестройка должна включать в себя и пересмотр подобного рода дел. Тимофеев работал ранее в таких ведущих журналах, как «Молодой коммунист», «В мире книг», широко печатался в «Юности», в «Новом мире», в «Дружбе народов», и, надеюсь, его перо еще могло бы послужить на пользу нашему обществу.

Помимо этих соображений, есть соображения гуманные. Здоровье Тимофеева подорвано, он страдает хроническим заболеванием печени, а лагерь — не лучшее место для выздоровления. Тимофеев — отец двух детей, и это тоже надо учесть. Наконец, надо учесть и то, что у меня и других писателей, выезжающих за рубеж, не без ядовитой иронии все время спрашивают: «Разве можно верить вашей перестройке, если Тимофеев, ставивший о ней вопрос одним из первых, все еще находится в заключении?» Пребывание Тимофеева в лагере мешает нашей борьбе за мир, контактом с западной интеллигенцией, без участия которой такая борьба невозможна.

Учитывая все эти обстоятельства, прошу Вас пересмотреть дело Тимофеева и освободить его.

Евг. Евтушенко.

В ЦК КПСС,
Генеральному прокурору СССР
тов. Рекункову

от Экслер Натальи Евгеньевны
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я — жена Тимофеева Льва Михайловича, осужденного Московским горсудом 19 сентября 1985 года по статье 70 УК РСФСР на 6 лет лагеря и 5 лет ссылки, прошу пересмотреть дело моего мужа.

Задолго до того, как была объявлена гласность как новый стиль жизни страны, Тимофеев Л.М., не дожидаясь официального разрешения на эту гласность, разрешения на обдумывание, исследование, да просто — на крик возмущения, отчаяния, недоумения от всего, что происходило в стране, попытался исследовать в своих работах те факты

и проблемы, которые в то время тщательно замалчивались, словно их и не было (они были и есть — об этих же проблемах говорят и пишут сейчас широко).

С его работами можно было соглашаться или не соглашаться, коль скоро их читали и они оказались опубликованными без ведома автора, но его осудили за эти работы как уголовного преступника.

Он писал, когда лишь крупницы правды просачивались в печать. Одни правду не пропускали, другие правду говорить боялись.

Сейчас так и пишут «боялись», и это никого не удивляет, в этом не видят ничего зазорного — все знают — это было опасно.

Работы Тимофеева, написанные в то время, это свидетельство его гражданского мужества, его боли и тревоги за страну.

Он не побоялся — написал.

Его арестовали 19 марта 1985 года. Он не принял участия в следствии и отказался присутствовать на суде, так как совершенно убежден, что литературные произведения нельзя судить уголовным судом.

В любое время, в гласное или безгласное, но публицистика не может считаться уголовным преступлением.

Я прошу реабилитировать Тимофеева Л.М.

Сейчас он находится в 36-м Пермском лагере, я знаю, что условия его жизни специально ужесточаются, он постоянно преследуется и подвергается наказаниям. Ему 50 лет, он не отличается отменным здоровьем, и я боюсь трагического исхода. Процент смертности в этом лагере невероятно высок: как мне стало известно, из 75 заключенных за два с половиной года там умерло 10 человек.

При рассмотрении дела прошу принять во внимание заявления трех свидетелей: Г-ва, Л-й и мое...

То, что я, жена Тимофеева Л.М., выведена как свидетель обвинения, названа первым из свидетелей, якобы подтверждающих вину Тимофеева, меня очень встревожило.

Еще за месяц до ареста мужа я заболела (тяжелое осложнение после гриппа — бессонница, галлюцинации), я сознавала свою болезнь и обратилась к психиатру — кандидату мед.наук Т-му (*адрес*). Он назначил лечение, но арест моего мужа (через месяц) был непосильным потрясением, и я перестала осознавать свою болезнь — бред и галлюцинации стали для меня реальностью.

Психиатр Т-й советовал моей матери, не откладывая, положить меня в психиатрическую больницу. Необходимость этого сознавали и мои друзья и знакомые, но всех

останавливало то, что нашим детям, девочкам 4 и 11 лет, было бы невыносимо тяжело вслед за исчезновением отца пережить исчезновение матери.

Но госпитализация была необходима, и с явным опозданием меня все же увезли, и я пролежала в психиатрической больнице № 14 с 20 февраля по 26 апреля 1986 г. Мне дали инвалидность третьей группы.

Теперь я могу сказать, что все происходившее на следствии и в суде вплеталось в бредовые видения и представлялось нереальным.

То, что следователь КГБ Круглов С.Б. не захотел заметить моей болезни, — это, должно быть, неудивительно. Но адвокат Власова К.В. тоже знала о моей болезни, говорила моей маме, что меня надо лечить, сама же на суде была пассивна — это можно объяснить только тем, что адвокат была назначена следствием.

В своей болезни я даже не могла осознать необходимость адвоката, не то что искать его.

Вот почему меня встревожило, что я выведена в ответе Прокуратуры как свидетель обвинения...

Теперь, находясь в здравом уме, я должна сказать, что я действительно читала работы мужа, но мне кажется, что одного этого еще не достаточно для того, чтобы являться свидетелем обвинения, ибо мой муж подписывал свои работы и не скрывал своей фамилии.

Прошу пересмотреть дело Тимофеева Л.М.

Подпись.

Герб СССР

Прокуратура СССР

Отдел по надзору за следствием
в органах государственной безопасности

103793 Москва К-9, Пушкинская, 15-а

09.02.87 № 13/29-85

Москва (адрес)
гр-ке Экслер Н.Е.

На Ваше заявление, адресованное в Прокуратуру СССР, сообщаю, что Ваш муж — Тимофеев Лев Михайлович, осужденный по ст.70 ч.1 УК РСФСР, на основании Указа

Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1987 года помилован и освобожден от дальнейшего наказания.

Прокурор отдела
советник юстиции

И.К.Тимоф

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ «ИЗВЕСТИЯ», ОРГАН ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

13 февраля 1987 года

В последние дни средства информации Запада сообщают об освобождении в нашей стране ряда политических заключенных. Но отрадное известие это содержит подробности, которые вызывают недоумение, а порой похожи и на прямую дезинформацию. Как освободили? Отвечают: Указами Президиума Верховного Совета от 2 и 9 февраля. О чем Указы? О помиловании. Причем, неоднократно и настоятельно повторяется — кому-то нужно это повторять! — чтр заключенные писали прошение о помиловании — и что их помиловали. То есть перековались политзэки, раскаялись, запросили пощады.

Не могу сказать за всех освобожденных, но что до меня, то здесь прямое недоразумение. Я не только никого никогда не просил о помиловании (т.е. о прощении вины), но и самой-то вины за собой не знаю и не знал никогда прежде — и об этом заявлял неоднократно с момента ареста.

Нет, политзаключенному не все равно, как и при каких обстоятельствах его освобождают. Кому заключение страшнее всего, тот вообще не станет публично заявлять свои убеждения. За это — лагерь, тюрьма. Многие и молчали. И молчат. А и в лагере-то сидели по 70-й, печально известной статье в большинстве своем те, кто не стал молчать — совесть не позволяла. Чего бы теперь-то свобода так уж вздорожала, что дороже совести?

Будучи арестован два года назад за свои литературные работы (и только за литературные работы), я был приговорен к 11 годам лишения свободы — 6 лет лагерей и 5 ссылки. Поскольку само обвинение и следствие, и суд — все было основано на лжи и беззаконии, я отказался отвечать следователю, отказался не только участвовать в суде, но и присутствовать в зале суда. Видимо, за это (а к разным разным отношение) в лагере меня ждал особенно жестокий режим: в первый же год — почти шесть месяцев карцера и особо строгого камерного содержания во внутрिलाгерной

тюрьме. По логике событий, накатанной десятками судеб, надо было готовиться к переводу в тюрьму, а подальше будущее было и вовсе туманно... Что же, к любому надо быть готовым, как готовы были те, кто прошел здесь раньше и кто навсегда остался на тюремных и лагерных кладбищах — только за последние два года с небольшим только на одной нашей 36-й зоне умерли 12 человек — это там, где всего-то не более 70 заключенных!

И вдруг все решительно меняется. В конце января в пермском лагере № 36, где я отбывал срок, появился прокурорский чиновник, который от имени Президиума Верховного Совета заявил мне (и других по одному вызывал и говорил), что через две-три недели я буду освобожден и буду дома. Без прощения о помиловании. Без признания своей вины. Прямо так вот и сказал: две-три недели... Неслыханно!

Я — литератор, публицист — был арестован за свои убеждения. И нынешнее освобождение *без признания мной вины* есть фактическое признание *права* на те убеждения, за которые прежде сажали. А как еще понять?

Вообще-то говоря, и мне, и многим моим товарищам по зоне прежняя логика развития лагерных событий, ужесточение режима казались в противоречии с логикой событий в стране за последние полтора года. Слово о близком освобождении воспринялось как еще один шаг к намевтившемуся просветлению общественного климата...

Что говорить, я рад освобождению. Не только потому, что снова с детьми и женой. Я рад освобождению (а знаю, что и многие другие мои товарищи по зоне тому же рады) потому, что это может и должно означать отказ от политики жесткого подавления сверху всякой не только что критической, но и просто аналитической мысли — отказ от политики, так тяжело угнетавшей творческие возможности нашего общества. Я рад освобождению, поскольку надеюсь, что для нас, для советского общества в целом, наступает время социального мира и творческого сотрудничества, к которому приглашаются все наличные общественные силы, — сотрудничества на основе уважения мнения каждого и самого разнообразия мнений.

Я — гражданин своей страны. Я — часть общества. Я наравне со всеми разделяю ответственность и не уступаю эту ответственность за судьбу страны никому и ни при каком условии. Но я готов к широкому сотрудничеству. Вот почему я рад освобождению. Вот почему рады освобождению многие из тех, кто вышел на свободу одновременно со мной.

Вот почему я пошел навстречу просьбе того благо-
вестившего чиновника и написал заявление в Президиум
Верховного Совета: «Прошу освободить меня от назначен-
ного мне срока заключения. Не имею намерения наносить
ущерб Советскому государству, как, впрочем, не имел
такого намерения никогда прежде».

Я пошел навстречу социальному миру и сотрудничеству.
Пошел, сохраняя свои убеждения. Пошел, потому что знаю,
что разнообразие убеждений и мнений и прежде было
нужно обществу и теперь не менее необходимо...

И вот теперь кому-то хочется, кому-то выгодно
распространить унижительный и, может быть, даже провока-
ционный слух, что все не так. Что-де не об уважении к
моим (и других освободившихся) убеждениям говорит Указ
Президиума Верховного Совета, а лишь о политическом
маневре властей, о маневре пешками в шахматной партии
с Западом. И я (как и другие мои солагерники) не из
уважения к новой политике сотрудничества потянулся
навстречу, а из рабского смирения, из страха, из низкого
чувства самосохранения. Да кто же поверил этому? Кто
же подхватил?

И вот теперь в указах — речь о помиловании. О
прощении... Какую мою вину прощают? Не ту ли, что
задолго до нынешних громких речей я проанализировал
механизм «теневых» товарных отношений в стране, «тех-
нологию черного рынка»? Не ту ли, что до объявления
гласности я заявил, что именно в открытом обсуждении
общественных проблем — последняя надежда выжить?

Я никогда не был радикалом. Насилие политическое,
идеологическое, любое иное мне отвратительно.

Я говорю об этом не потому, что вот я оскорблен лично
и требую удовлетворения. Нет. От меня не требовали отказа
от моих убеждений, и я, сознавая, что живу в государстве
чиновников, в конечном счете готов примириться и с той
чиновничьей лексикой, которая использована в указе, —
может, там пока и слова-то нет иного, кроме как
«помиловать» — пусть!

Нет, оскорбительно не это, и не это заставило меня
писать. Оскорбительно, что освобождены не все политиче-
ские заключенные. Многие — самые чуткие, самые душевно
ранимые, — предчувствуя вероятность провокации, отка-
зались писать что бы то ни было даже в самой компромиссной
форме. Они остались в тюрьмах. Они справедливо ждали
от Президиума Верховного Совета последовательного и
полного уважения, уважения без условий. И пока не
дождались. В московской Лефортовской тюрьме — Алексей

Смирнов, Валентин Новосельцев, Валерий Сендеров... В минской или гродненской — Михаил Кукобака... В тбилисском изоляторе — Вахтанг Дзабирадзе, Гурам Гогбаидзе. В Вильнюсе — Альфонсас Сваринскас... В Чистополе — Иосиф Бегун... А сколько всего по стране? Унизительно то, что даже этого мы не знаем точно.

Во многих случаях пока и вообще нет речи об освобождении. Так, не ясна судьба «полосатых» (по каторжной одежде) узников особого режима 36-го пермского лагеря, где среди иных находится писатель Леонид Бородин. Не ясна судьба организатора христианского просветительского семинара Александра Огородникова, отбывающего возле Хабаровска в уголовном лагере свой (третий подряд, без выхода хоть на один день на свободу) многолетний срок. Не ясна судьба преподавателя иврита Юлиана Эдельштейна, заключенного в уголовный же лагерь по ложному обвинению.

Вот почему я обращаюсь через «Известия» к Президиуму Верховного Совета. Пока не освобождены безусловно все политические заключенные, немало останется оснований у тех, кто хочет воспринимать и наше освобождение лишь как маневр. Да и нам остается сомневаться: а не правы ли они?

Уважение государства к свободе убеждений может быть только полным — и тогда уважение будет взаимным. Сотрудничество может быть только искренним — и только тогда оно плодотворно.

Я готов к сотрудничеству. Я ищу социального мира. Я жду освобождения тех, кто пошел на страдания ради своих убеждений. Этого ждут многие и у нас в стране, и в мире.

Бывший политзаключенный

Лев Тимофеев, литератор

Вынужденный постскрипtum

Через несколько дней после того, как это письмо было написано и отправлено, стало ясно, откуда пошли унизительные слухи. Начальник управления информации МИД СССР Г. Герасимов на брифингах начала и середины февраля упорно вбивал в головы западным журналистам, что освобождение политзаключенных произошло в ответ на их «прошение о помиловании», в ответ на «отказ от противоправной деятельности». И ведь, кажется, ему хорошо удалось убедить корреспондентов, что вот примирились диссиденты, потому их и отпустили. Опасная ложь! Ложь, которую,

видимо, запускают те, кому и мысль о социальном мире и сотрудничестве нестерпима.

Заявляю вполне определенно: наше освобождение есть факт торжества как раз тех самых идей, за которые люди сознательно шли в тюрьмы и в лагеря. Именно тех идей! Представить же это, напротив, как подавление, как нравственное поражение инакомыслия хотят те, кто сажал нас и два, и пять, и пятнадцать лет назад. Они и теперь мыслят репрессивными категориями. Насколько же они определяют политику, покажет ближайшее будущее.

20 февраля 1987 года
гор.Москва

Лев Тимофеев

ПОСЛЕДНИЕ ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Я мало что знаю о собственной жизни. Я плохо вижу. В ежедневном течении явлений и событий мне дано увидеть только поверхность, только внешнюю сторону, только само движение — но суть происходящего остается закрытой — тайна! Сколько должно пройти времени, чтобы хоть чуть приоткрылся смысл происходящего с нами сегодня — годы? десятилетия? века? Или должна завершиться вся История в целом, чтобы в ней вполне определились смысл и гармония каждой отдельной жизни?

Почему мне удалось сделать эту книгу? Не знаю.

Я не раз задумывался, кто я такой. И чем старше я становлюсь, тем менее заносчив был мой ответ. И вот как-то в лагере я, кажется, понял вполне. Мне вспомнилось, что некогда Он послал людей в недалекое селение привести молодого осла: «Скажите, что он надобен Господу». Вот я себя и чувствую тем ослом, которого отвязали и повели — для чего-то он надобен Господу.

Я иду и не задумываюсь, куда и для чего именно. Все равно не понять — тайна!

Май-июнь 1987 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**МОСКВА.
МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ**

Комедия

Действующие лица:

О н а

О н

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

*Квартира. Она лежит на тахте,
укрывшись с головой.*

Он (*входит*). Почему горит свет? Ты что, легла спать? Подними шторы, — там еще солнце светит, спит — и свет включила. Посмотри, лицо как подушка... Ты что, с утра, что ли, так?.. Ну что ты молчишь? У тебя есть совесть? По целым дням лежишь, лежишь... Что ты теперь на меня уставилась? Тебе на все наплевать: включила свет — и спит. В коридоре горит, на кухне две лампочки, в ванной горит... Ну что, что ты смотришь?

Она. Хорошо было, тихо... Пришел — и наговорил, наговорил.

Он. Ну вот я выключил — что, стало темнее? Ну что ты сидишь?

Она. Жду, когда опять будет тихо... Будешь ужинать?

Он. В чем неправ? Сегодня был жаркий, душный день — у тебя все закрыто, законопачено... А ты посчитай, сколько лампочек горело и плита на кухне.

Она. Ах, миленький, на лампочках не сэкономишь. Не нужно было второго ребенка рожать, я говорила. Но ты добренький — на словах, конечно... Пусть будут дети, много детей... Гуманист... У тебя покурить нечего?

Он. Ты не заметила? Уже два месяца, как я бросил курить... С тобой что-то происходит в последнее время, да? Вчера, сегодня... Но сегодня ты особенно... Что-нибудь случилось?

Она. Да нет же, ничего не случилось. Это ты пришел и начал скандалить. Послушай, попугай на кухне повторяет твоей монолог.

Он. Я начал скандалить? Да я не умею. Я просто назвал вещи своими именами. За день ты сколько нажгла?

Она. А ты посчитай... включи все — и посчитай.

Он. А ведь я шел домой в прекрасном настроении. Я шел и даже твердил строку: «Я шел домой в прекрасном

настроении...» Верно, есть какая-то музыка? Может быть, я снова начну писать стихи? Я шел домой в прекрасном настроении. Но потом я поднял голову и увидел наши окна — четыре окна, и все закрыто, занавешено... Прихожу сюда — ты спишь, всюду свет горит... Ты мне, подруга, что-то не нравишься. Ты что, злая или просто сонная? Ты немного отекала, да? Опять голова болит?

О н а . Тебе-то что за дело?

О н . Да как сказать... рядом живем, из одной посуды едим, иногда одним одеялом укрываемся.

О н а . И живи себе... Публицист. Выступил, как дело сделал. Теперь отдыхает... Отстань... Можешь вот посуду помыть: горячей воды нет, а я что-то коченею... Я вообще все время мерзну...

О н . Ладно, давай помиримся. Я же к тебе торопился, думал, ты меня ждешь, топится очаг, варится похлебка, чисто, уютно — как жена должна встречать мужа? А ты спишь, свет горит... Ты бы хоть спросила, почему я шел в хорошем настроении... вот, я даже принес коньяк — посмотри, армянский, твой любимый... Вот гора Арарат, сюда причалил Ной во время потопа... Давай причалим... Вокруг потоп, денег нет, одни долги, чем отдавать — неизвестно... Знаешь, сколько у меня долгов? У меня, у меня — тебе на наши долги наплевать, — лежишь себе... Да и лежи, только бы в радость — нет же, злая... Когда ты злая, я совершенно теряюсь, чувствую себя особенно одиноким... Давай высадимся на эту гору. На горе Арарат вырастает виноград... Ну давай напьемся и помиримся... Я же, ей-богу, не хотел.

О н а . Да пошел ты... Я и не ссорилась с тобой. Очень ты мне нужен. Это ты вошел и, как баба, стал скандалить... Господи, вот невезуха-то в жизни! Я, если хочешь знать, ждала тебя — мы же хотели что-то делать, хотели обоим клеить, детей третий день у матери держим, Дашка третий день школу пропускает... Я уж без тебя хотела начинать... а ты... за весь день даже не позвонил. Ты посмотри, в каком сарае живем. Людей позвать стыдно.

О н . А знаешь, наше дело, кажется, разворачивается. Я получил крупный заказ: полная сумка, и там еще полсотни книг. Мы хорошо заработаем... Смешно: я становлюсь модным переплетчиком... А здесь действительно нужно прибратсья. Ведь я могу принимать на дому — так солиднее, чем по чужим квартирам, верно? Мне как-то не по возрасту, я все-таки известный советский журналист...

О н а . В прошлом... в прошлом известный журналист, а ныне известный переплетчик.

Он. А тебе — сказать обязательно.

Она. Что же такого? Известный переплетчик, известный сапожник, известный портной... Кто ты будешь такой?

Он. В прошлом, но известный. «Тот самый?» Тот самый. И вдруг — здрасте: «Ножи точим, стекла вставляем, книги переплетаем!..» Лучше здесь принимать... Кого позовем?

Она. Кого позовем?

Он. Да... Ты говоришь, людей позвать стыдно.

Она. Никого я звать не хочу... А самим жить не противно?

Он. Как ты можешь сидеть с закрытыми окнами? День был такой душный, смотри, я все раскрыл, и никакого движения воздуха.

Она. Я все время мерзну.

Он. Мне нужно подвигаться, я должен быть в форме.
(Делает несколько упражнений на шведской стенке.)

Она пытается поймать моль.

В доме полно моли. Опять что-нибудь сожрет.

Она. Это самец летает... Он просто летает, он не жрет... Дашка где-то вычитала: самец летает, а жрет самка... Самка не летает, она жрет... ма-аленький такой червячок, самочка, сидит где-то и жрет... Самцы летают, а самки жрут.

Он. Ладно, делаем уборку и ремонт. Надо все перетрясти. Завтра встанем пораньше, зарядочку с гантелями, холодный душик...

Она. Ну понес, понес... Помолчи... Готова линия поведения, запланировал... И все планы, планы... и ничего этого не будет... целый год клеим.

Он. Вот странно, стоит мне нацелиться на какое-нибудь дело, как ты сразу встаешь на пути со своим вечным сомнением, со своим вечным нытьем. Я не пойму, мы как-то с тобой отдаляемся, что ли, друг от друга? Что происходит? Что я должен сказать, чтобы ты со мной согласилась?

Она. А ты не строй планы — как получится, так и будет.

Он. Да нет, зачем же — решено. Завтра клеим обои и приглашаем друзей. Пора изменить жизнь, а то нас моль сожрет. Я все время твержу: мы оторвались от людей, живем очень одиноко... Раньше — помнишь? Каждый вечер кто-нибудь заходил обязательно, благо — в центре живем... А теперь?... Я вижу, тебе не хватает общения...

Она. Раньше заходили, было общее дело, общие разговоры. Теперь у всех свои дела. А у тебя дело какое?

Он. А может быть, сами пойдем куда-нибудь в гости? Плюнем на все и поедем завтра же... Или к себе позовем... Ну, скажем, пусть к нам придет наш старый друг Овсей Лисичкин, Севочка Лисичка... Ты чувствуешь, мое мышление как бы ритмизируется: пусть к нам придет наш старый друг Овсей Лисичка — как называется этот размер: та-та-та-та та-та-та-та та-та-та-та. Вот будет смеху, если я опять начну писать стихи.

Она. Севочку приведешь, когда я подохну. Понятно? Тебе много раз говорили, что Севочка — подонок... Как ты можешь? Меня от него тошнит. Хватит, что ты принес его отвратительный запах... Чем это он душится?

Он. Разве? А ведь он, и правда, меня тут на машине подбросил... Ну хорошо, хорошо, давай сами куда-нибудь двинемся. Мы должны жить по-новому. Ты посмотри на себя в зеркало: тебе нужно выйти отсюда, нужно в гости. В гостях ты всегда преображаешься, становишься живая, общительная, добрая. Пойдем куда-нибудь, а? Дети все равно у бабушки... Говори, куда пойдем. Нацелимся — и выполним. Ты реши, и мы пойдем. *(Уходит в ванную.)*

Она. У нас телефон отключили. *(Как бы проверяя, берет телефонную трубку, но убеждается, что телефон до сих пор не работает.)* У нас телефон отключили!

Он *(выглядывая из ванной)*. Что ты говоришь? Дай, пожалуйста, полотенце.

Она. Сам возьмешь.

Он *(появляется в халате)*. Какая же ты злая: у тебя даже лицо изменилось, стало совсем чужое. *(Проходит в другую комнату и появляется в спортивном костюме, делает несколько движений каратэ.)* Принять душ — все равно, что заново родиться. После душа мне всегда хочется писать новую книгу... По рюмашке — и начнем жить заново...

Она. У нас телефон отключили.

Он. Когда отключили? Как? Ты с кем-нибудь разговаривала? Ты разговаривала — и отключили? Кто звонил? Когда ты узнала, что отключили?

Она. Я сначала тоже испугалась...

Он. Но ты же понимаешь, что значит — отключили телефон.

Она. У меня тоже сердце упало. А что? Что делают в этом случае? Ты знаешь, что в этом случае делают? Но нет, это мама звонила, а я трубку на кухне не положила — забыла. Зачем-то пришла сюда, а на кухне трубку

оставила. Станция отключила — так бывает. Мама потом приходила, обещала дозвониться в бюро ремонта. Пока не включили.

О н . Ты понимаешь, что говоришь? Как можно забыть? Ну как можно забыть? Ну как можно забыть выключить свет, забыть выключить плиту, забыть телефонную трубку? Как? Как?! Ты какой-то враг в доме. Два года ты палец о палец не ударила, чтобы облегчить нашу жизнь... лежишь, лежишь... Забыла... Пойми, все это плохо кончится.

О н а . Не кричи, пожалуйста, говори шепотом... Я целый день была совершенно больна... Утром, только ты ушел, явилась дашина учительница с каким-то обследованием — у меня сразу разболелась голова. Я ей улыбалась, говорила: у нас ремонт... выпроводила... А потом мама: она сегодня два раза приходила и пять раз звонила. Последний раз она позвонила и сказала, что у Танюши ангина. Я так расстроилась... Нам только этого сейчас не хватало.

О н . А я говорил, твоей маме детей отдавать нельзя — ни на три дня, ни даже на три часа.

О н а . Напиши про это статью в «Комсомольскую правду».

О н . Я еще раз говорю...

О н а . Да замолчи! Что же это за наказание такое! И ты еще требуешь третьего ребенка... Вот это видел?... Ребенок заболел — спроси, не нужно ли чего, пожалей ее — она маленькая.

О н . Когда детей отдают в равнодушные руки...

О н а . Ах, какой заголовок! Репортаж из зала суда.

О н . Нет, ты в последние дни совершенно невозможная. Это ведь не только сегодня... Ты что-то скрываешь от меня? Ты постоянно чем-то раздражена... Может быть, ты завела любовника, и я тебя раздражаю?... Что бы я ни сказал, что бы я ни сделал, ты начинаешь вздорить... Вчера был скандал из-за разбитой чашки... позавчера — уже не помню из-за чего, но тоже был скандал, ты безобразно кричала на меня, пыталась драться — и при детях! Я понимаю, нам трудно: мне пришлось уйти с работы, мы выбились из привычного круга, нет денег, но раньше мне казалось, что мы готовы к такой жизни, мы знали, на что идем... А теперь... Давай сядем и спокойно разберемся, что происходит. Пойми, человек не может жить в обстановке постоянного скандала. В семьях, где родители постоянно грубят друг другу, дети вырастают преступниками — это установленный факт. Давай помиримся и поужинаем, а?

О н а . Пожалуйста, но только все сам.

О н . А ты посидишь со мной?

О н а . Почему я никак не могу согреться?

О н . А ты выпей рюмочку.

О н а . Может быть, потом, с чаем.

О н . А эта гадость откуда в доме?! Ой, да сколько их!

О н а . Что еще?

О н . Портреты руководителей партии и правительства.

О н а . Как же ты меня испугал. Я думала — тараканы...

Этот плакат Дашка принесла из школы, им на политзанятиях раздали. Первый класс — и политзанятия... Ей бы «У лукоморья дуб зеленый», а они — политзанятия. Ничего не смыслит, но в мозги забивается... Приходит совершенно перепуганная с этих политзанятий, спрашивает: война будет, да? В бомбоубежище жить будем, да? А этих миротворцев вот необходимо знать каждого по имени.

О н . Какая компания к ужину! Приятного аппетита. Я тоже здесь живу... Выброси их немедленно.

О н а . Ты что, выброси... Там ремонт, пусть здесь висят. Дашка их уже различает и радуется: это дедушка Андропов, это дедушка Алиев, это дедушка Черненко, это дедушка Устинов. А почему, говорит, все дедушки и нет ни одной бабушки? Она и в этой тоске ищет смысл и логику: дедушка есть, должна быть бабушка.

О н . Я прошу тебя, выброси. Искалечишь ребенка. Повесь ей Пушкина, Жуковского. А на этих она успеет насмотреться, когда вырастет.

О н а . А как выбросишь? Учительница велит. Ей у нее учиться. Начинать сражение? Я не могу ребенком сражаться, это исколечит ее еще больше... Пусть... ничего, я потом подсуну Пушкина... У нас был Сталин, у нее — эти. Сказали бы тебе тогда: выкинь!.. А сейчас они быстро понимают, что к чему, и эта компания дедушек у них без ореола... А ты знаешь, я сегодня ничего не ела. Может, мне и плохо оттого, что голодная? Сделай мне бутерброд.

О н . Нет, это кто бы послушал! Я целый день бегал, ты лежала, и я еще должен тебе подавать.

О н а . Какой же ты зануда. Я больна... Ладно, я сама.

О н . Ну уж давай сделаю... Ты ведешь порочный образ жизни. Питаешься беспорядочно, мало двигаешься. Надо рано вставать, делать зарядку... и ты меня прости, надо побольше работать.

О н а . Ну да, в первый год нашей жизни на день рождения ты подарил мне гантели, чтобы я была в форме... решено, встаем пораньше, гантельную гимнастику, холодный душ — начинаем новую жизнь, твоя гимнастика, твоя

постоянная забота, чтобы быть в форме... Почему же так холодно?

Он. Двигаться надо, надо работать. Ну вот сегодня...

Она. Я больна.

Он. Вот я и говорю, почему больна-то? Ты как-то выбилась из колеи, вот что. Почему ты ушла из своего журнала? Тебя ценили, хороший редактор, знаешь дело, хорошо пишешь — очень хорошо пишешь... Ну, ладно, ушла и ушла. Решила быть с детьми. Могла бы дома подрабатывать, дети не мешают... Ты хорошо лепишь из глины, твои игрушки — восторг! Ты начала и сразу получила тьму заказов — от знакомых, от малознакомых — почему перестала работать? Вон вся квартира недоделками забита...

Она. Я больна.

Он. Да вот же я и говорю, почему больна-то...

Она. А ты не говори, ты пожалей меня.

Он. Да мне тебя жалко, но помочь-то я чем могу? Ты скажи, я все сделаю. Хочешь, я сейчас начну клеить обои? Я люблю работать по ночам. Хочешь, помою пол на кухне?

Она. Не мелькай перед глазами. Ничего не надо. Сядь. Ты просто пожалей. Посиди рядом. Молча... Что-то рука болит.

Он. Сижу рядом... ручка наша болит... Погладим нашу ручку бедненькую. Может быть, все-таки закрыть окно? Мы ведь с тобой совсем одинокие — нам бы прижаться друг к другу потеснее, а ты все щетинишься, топорщишься... Вот что... сейчас мы выпьем коньячку и ляжем спать... Или нет, сначала ляжем, а потом выпьем коньячку, посидим, попьем чайку. Да? Ляжем? Мы ведь с тобой любим потом посидеть, попить коньячку с чаем.

Она. Не вяжись. Все, что любишь, ты любишь один, и тебе всегда наплевать, что люблю я.

Он. Неправда. Зачем ты меня нарочно обижаешь?

Она. Тебя обидишь, как же! Ты не человек — чурбан. *(Передразнивает.)* «Что с нами происходит... что с нами происходит...» А ты все равно никогда не поймешь, что с нами происходит.

Он. Какой же я чурбан? Вот мы с тобой живем двенадцать лет, а мне тебя хочется так, словно мы вчера познакомились.

Она. Заткнись, противно слушать. И всегда одно и то же. Хоть бы что-нибудь другое от тебя услышать... Все-таки где-то был с кем-то виделся.

Он. Севочка...

Она. Ну, конечно, Севочка... А еще? Ну хоть кто-то...

Он. Погоди, что он тебе? Севочка, какой бы он ни был, ищет мне работу — и находит. Этот заказ — весь через него... А заказ-то какой! Вот эти журналы — это директор гастронома. Какое знакомство, а?

Она. Вот и расскажи: директор, человек...

Он. Директор — человек... *(Внезапно озабочен.)*
Тихо! Вот что это звучит?

Она. Да где же?

Он. Ну вот... как будто что-то включилось... Телефон? Нет... такой звук... очень похоже, как микрофон фонит... Что за звук?

Она. Звук оборванной струны.

Он. Думаю, телефон все-таки прослушивается...

Она. Говорят, всех слушают... И наши скандалы они тоже слушают?

Он. Они все слушают.

Она. Вот и расскажи им: директор гастронома... Заодно и я послушаю. А у него мяса заказать нельзя?

Он. Не знаю... подождем, что-нибудь сам предложит.

Она. А что он предложит?

Он. Все что угодно, хоть билеты в Большой театр.

Она. Жалко... такое знакомство — и денег нет.

Он. Ты все о своем... Вот комплект журнала «Мир искусства»... Ну ведь чем-то он расплатится — и спасибо, всему будем рады.

Она. А сам он какой из себя?

Он. Маленький-маленький на высоких каблучках и вежливый, тихонький... Дома — музей: картины, мебель, фарфор... Вертит огромными делами, связи на самом верху...

Она. Вот как люди живут.

Он. Сказал, что им с женой очень понравилась моя работа. Я, болван, подумал, что они книгу мою в самиздате прочитали, чуть не ляпнул... Но нет, ему нравится, какие я переплеты делаю... Личико маленькое, мизерное...

Она. А жена? А что на жене?

Он. Жена... А черт ее знает... По лицу видно, что сука — наглая, злая... Что я, разглядывал ее, что ли?

Она. Публицист, по лицу ему видно, а?... Вот беда-то! Ты же ничего не видишь... Директор, жена... неужели не интересно? Поговорил бы, как живут, что думают... хозяева жизни... У них все есть? Они-то хоть счастливы? Ничего не увидел...

Он. Вот ты посмотри, о чем бы мы ни начали говорить, мы тут же ссоримся. Если они нас слушают и записывают, это такая комедия запишется! Когда-нибудь ее прокрутят

по радио. Диссиденты... неприглядное лицо отщепенцев. Обличительный документ страшной силы...

Она (кричит). Да помолчи, скотина!

Он. Ты что? Ты... не надо так... Кругом все слышно... Я придумал! Поехали-ка мы завтра к Петьке Бабьегородскому на дачу. Поехали! Закатимся без звонка — и на целый день. Я знаю, он там сидит попой на стуле, пишет очередную нетленку. Мы ему помешаем... Потомки скажут спасибо, да он и сам будет рад... Поехали, ну, пожалуйста, поехали... Поехали — иначе мы здесь погибнем.

Она. Поезжай... Как это у тебя все быстро получается: построил план, ту-ту... поехал.

Он. Ну да ведь надо куда-то поехать или что-то делать — ремонт, что ли, начать или уборку или спать лечь. Я не могу... Ты как-то выпала из круга жизни. Или выпить, что ли... Тебе налить?

Она. Сиди. Ты все время мельтешишь перед глазами. От этого мелькания голова болит. Сиди.

Он. Да я сижу. Что дальше?

Она. Ты шел домой, машину внизу видел? Они простояли целый день и теперь стоят.

Он. Ах вот оно что... Я совсем забыл, что ты чокнутая... Я же запретил тебе... Ну, стоят... А ты из-за этого на людей бросаешься. Я же говорил тебе, это не к нам. Я же говорил, не обращай внимания...

Она. Так интересно же... Тебя нет, скучно, а они — вон, стоят... Давай купим подзорную трубу — мы будем знать их в лицо.

Он. Еще раз говорю: не подходи к окну, не показывай, что мы знаем. Не накликай беду.

Она. Что мы знаем-то?

Он. Хотя бы свет гаси, когда смотришь... А сейчас мы ужинаем... Ну, подумаешь, машина стоит, два мужика сидят... Все те же два?

Она. Сегодня три.

Он. Хорошо, три мужика... А мы ужинаем.

Она. Три мужика и баба. Двое в машине, а двое вокруг прогуливались. Ты бы посмотрел, что за рожи — болотные, ржавые.

Он. Они в соседний дом, они там кого-то водят.

Она. Стоят, кого-то ждут... Так же они ждали Регину, так же водили Скоробогатова... И к нам так же придут...

Он. Придут — и придут, мы их увидим. Но мы ничего не можем изменить... Ты бы не торчала у окна... Посмотри лучше, у тебя помойка в квартире... Ты, милая моя, лентяйка — и больше ничего. Все это у тебя форма

лени, повод ничего не делать и целый день лежать... Ты сама себе напридумывала страхов, чтобы бездельничать.

Она. И прекрасно! Тебе-то что от меня надо? Живешь — и живи.

Он. Я и живу — в помойке. Дышать же нечем, всюду пыль. Пыль прямо комками лежит — в углу, в коридоре...

Она. Это не пыль, это собачья шерсть... Твоя собака — возьми и подмети.

Он. А где собака? Ты и собаку замучила — кормить забываешь. Бедное животное... Чапа, ко мне! Чапочка...

Она. Собаки нет. Ее мама забрала.

Он. О Господи! Твоя мамочка... я же просил... детей, собаку... Я же просил, собаку не трогать, собаку не трогать... Просил или нет?

Она. Собака заболела. Она стонет во сне, и мама хочет показать ее ветеринару.

Он. Твоя мама... ее саму нужно показать ветеринару.

Она. Заткни хайло! Мы живем на мамину пенсию. Твоим детям жрать было бы нечего...

Он. Прекрасно! Собаки нет, и я буду гулять по вечерам один. Спасибо за ужин. Я пошел... Там дождик? Прекрасно. Где мой зонтик?

Она. Где твой зонтик... Может быть, мама... Да вот твой зонтик.

Он. Чао! Заодно посмотрю, что за болотные рожи сидят в машине.

Она. Погоди... Я пойду с тобой. Я три дня не выходила... А правда, пойдем, что ли, — прогуляешь меня, как собачку. Дождь — моя любимая погода... Только сходи к соседям напротив, попроси сигаретку.

Он. Да никогда в жизни!

Она. Они не ложатся раньше одиннадцати. Сходи, а?

Он. Почему, почему мне всегда приходится выполнять какие-то твои унизительные поручения? У соседей никого нет, в окнах нет света. Ты зря собираешься курить — целый день ты сидишь в ужасном воздухе, плита включена, окна закрыты... от сигареты еще сильнее голова разболится.

Она. У меня нечего курить.

Он. Если очень хочешь, у меня где-то была заначка.

Она. Дай, пожалуйста.

Он. А потом ты опять свалишься с мигренью.

Она. Дай, пожалуйста... *(Закуривает.)* Мне и самой надоело все это... Я что-то плохо понимаю, как мы живем, как надо жить.

Он. Да как жить — пойдем погуляем, вернемся, поьем чаю с коньячком, ляжем спать и потеснее прижмемся друг к другу — так и жить.

Она. Конечно, у тебя все есть. Ты живешь хорошо: где-то ходишь, с кем-то разговариваешь... книги, люди, сигареты «Кент»... А я сижу здесь, как в сарае, — дети, стирка, уборка, плита — свихнешься... Твоя рукопись под матрасом... Роскошный тайник нашел... Вот идиот. Хоть бы в кино посмотрел, в детективах: первое, куда лезут при обыске, — под матрас... Надо же, спрятал!.. У Регины детей обыскивали: пришла специальная тетка, раздела их донага — и детей, и саму Регину... искали... А ты — под матрас...

Он. А куда, по-твоему?

Она. Не знаю, надо подумать.

Он. Вот интересно, я уже оделся, взял в руки зонтик, пошел... Но ты говоришь: «Стоп!» — и я остановился... стою... И так во всем.

Она. Регину они избили перед арестом, а Скоробогатова, Ванечку Скоробогатова... просто убили в парадном... Я боюсь... я слабый человек, я боюсь... Я боюсь темноты, темных окон... шорохов на балконе... Я боюсь звонков в дверь... я вздрагиваю и смотрю в глазок и всякий раз боюсь, что пришли за тобой. Это жизнь? А когда ты уходишь с собакой, я боюсь, что ты не вернешься... я все время жду, жду тебя и думаю, если не вернешься, куда они денут собаку, где ее искать — а где тебя искать, я не думаю... А сны? Мне говорят во сне: все, он убит... и я иду, тащусь или еду куда-то и жду, что вот за тем деревом, домом, поворотом я увижу тебя — то, что от тебя осталось, и знаю, что увидеть это — это конец... а просыпаюсь — и все продолжается — еще не конец... Регина... пара статей в эмигрантском журнале да письмо в Политбюро — и три года... А тебе за твою книгу, уж, как минимум, влепят семь плюс пять, если вообще не прихлопнут в парадном или на улице... Зачем ты полез в это? Сидел бы в своей газете... Почему ты ушел из газеты два года назад? Никто не знал, что вышла книга. Тебя никто не увольнял, ты сам, сам поторопился. Ты говорил, что могут пострадать друзья. Теперь ты со значением заявляешь: «Мне пришлось уйти...» Рассказывай кому-нибудь. Ты бы и теперь спокойно работал. Но ты уже не мог. Ты подпрыгивал от нетерпенья... Еще бы! Подумать, какое великое дело ты совершил; ты всю жизнь врал, врал, врал... и вдруг впервые сказал правду... вылез из дерьма и обрадовался... Всю жизнь ты был полным ничтожеством — и вдруг что-то удалось... Да

ты просто взбесился от радости. Разве можно промолчать, что это ты, ты, ты такой смелый и талантливый? Пророк!.. А Регина говорила, надо было подписаться псевдонимом... Но ты — нет. Ты — пророк... Ты — пророк, а пророк не приходит под псевдонимом... За каждое слово пророк отвечает сам, и ты готов отвечать... Вот только я забыла, пророку полагаются жена и дети? Жена и дети за что отвечают? Я высчитываю копейки, чтобы купить детям горсть ягод или поношенные ботиночки... Ты нами расплываешься... Ты не пророк, ты эгоист, мелкий, тщеславный... Ты встал в позу, ты уже придумал сообщение: «Как передают западные корреспонденты из Москвы, здесь арестован...» Вокруг тебя сияние... ты говоришь стихами... А как же я? А дети?

Он. Ну что ты, миленькая, ну что ты, родненькая, ну не надо, остановись, успокойся, пожалуйста....

Она. Я тебе тысячу раз говорила, не лезь, не успокаивай меня. Если бы я могла, я была бы спокойна и без твоих идиотских наставлений... Мы оторвались от той, знакомой нам жизни, а другой не оказалось.

Он. Ты пойми, псевдоним — бессмысленно: вычислить автора — пара пустяков... Мы же с тобой много раз обсуждали. Что опять?

Она. Я знаю... обсуждали... Дай еще сигарету... Какая сила ума, ясность, логика, талант. Как все раскрыл, обнажил, показал... А мы?.. Да, это нечеловеческая система... но мы-то люди, нам в ней жить, в этой системе. Детей растить. Ты можешь что-то изменить? Кому чего ты доказал?.. Ребята приходили, восхищались. Ну повосхищались, пообсуждали, сколько тебе влепят за твою восхитительную работу, — и все, не ходят. У них свои дела, у тебя — свои.

Он. Ну не надо, дружок. Все будет хорошо.

Она. Дай сигарету... Будет? Ничего не будет. Чего ждать? Как-то будущего не стало.

Он. Ну зачем ты так говоришь? Мои книги — это ваше будущее. Пойми, если меня посадят, там, за границей, это привлечет внимание к моим книгам — будут тиражи, будут переводы — будут и гонорары. Если меня посадят — это реклама... Я уверен, если меня посадят, вы будете хорошо жить, будете прекрасно обеспечены — ведь есть же каналы помощи, приходят посылки, люди оттуда приезжают... Ведь можно же...

Она. Замолчи! Да замолчи ты, пожалуйста... Как ты можешь высчитывать? Это нельзя высчитывать... Ты не думай, что нам будет хорошо. Ты не имеешь права так

думать. Мы подохнем, и ты идешь на это. Ты должен идти на это сознательно, должен понять, что ты нами пожертвовал... Может быть, тогда ты что-то поймешь.

Он. Как же я устал от твоих истерик. Мне нигде не страшно, мне дома страшно: скандал за скандалом... Ну что ты навалилась на Севочку? Ну да, он ничтожный, жалкий, может быть, он и стучит — даже наверняка стучит, стучит — и шут с ним совсем... А мне скрываться не от кого да и незачем. Я чувствую себя спокойно и уверенно... Но вот здесь, дома, я проваливаюсь. Мне не на что опереться, у меня за спиной пусто — тебя нет, я не прикрыт с тыла... И самое печальное, ты сама не понимаешь, что ты хочешь. Скажи, что, что?

Она. Я хочу жить нормальной, спокойной жизнью.

Он. Книга вышла, дело сделано — что ты хочешь теперь? Чтобы я выступил с покаянием? Чтобы вернулся в газету? Что? Что тебе нужно от меня? Хочешь, давай уедем за границу. Нас выпустят, я уверен — нам даже предложат, как предложили Рыжему... Он уехал... Хочешь? Ты скажи мне, чего ты хочешь? Скажи, я сделаю.

Она. Жить тихонечко, спокойно, чему-то радоваться.

Он. Живи... живи спокойно. Я тебя уверяю, что ни тебе, ни детям ничего не грозит — не больше, чем вообще всем в этой стране... Но ты должна понять, что книга уже написана. Написана — и вышла в свет, и это уже нельзя изменить.

Она. Ой, да написал — и прекрасно. И живи. Не строй планы. Как получится, так и получится... До чего доживем, то и случится. Ты думаешь, что ты сам хозяин своей жизни, что ты великий стратег, что ты всех переиграешь — ты готов: там тебя напечатают, здесь тебя арестуют, там поднимется шум, здесь появятся деньги... А семь лет? Или даже двенадцать? Ты к ним готов? Двенадцать лет день за днем, день за днем — да ты их не представляешь, эти двенадцать лет... Жизнь пройдет день за днем... Ты храбрый такой — впрыгнул в эти двенадцать лет и выпрыгнул обратно, к нам, сюда, в эту жизнь. Герой-молодец. И мы прекрасно прожили эти годы, заморозились, застыли как есть и ждем твоего возвращения — ты вернулся, и все ожило, все по-прежнему: Танька маленькая, Даша запоминает этих по именам... Да пойми ты, что пройдет жизнь. Дашка через двенадцать лет станет взрослой женщиной, а Танюша будет старше, чем Дашка сейчас... Ты готов, что они вырастут без тебя?.. А мне будет пятьдесят. Сразу. Жизнь утечет. Куда ты вернешься? Если вернешься... И ведь жить надо день за

днем. И дети что-то должны понять, принять и пережить этот ужас. Они готовы? Сколько надо сил... Ты-то готов... а они? Маленькие, слабенькие... Мы должны быть готовы к этому несчастью. Осталось только одно: ждать этого несчастья. Я не могу с этим смириться! Я не могу думать, что впереди — только несчастье. Это выводит меня из себя. Я не могу! К этому надо как-то подготовиться, что-то еще понять... А ты лезешь, торопишься, выстраиваешь планы, надеешься обыграть...

О н . Знакомая философия: Лао Цзы в переводе Льва Толстого, твоя любимая книга «О пользе ничего-не-делания», так она называется? Ты что-то совсем расклеилась. Будущего у нее нет... А настоящее? Настоящее у тебя есть? Или дети, я, твоя жизнь сегодня — всего этого нет? А может быть, подруга, ты просто лентяйка, и это главная причина, а все остальное лишь поводы... Помнишь, пока мы жили с моей матерью, ты говорила, что не можешь хозяйничать на чужой кухне? Мать уже давно умерла, и эта кухня уже давно твоя. Посмотри на нее: у матери был порядок, а у тебя?.. Ладно, дело не в кухне. Ты просто не желаешь крутиться. Мы живем на гроши, но сегодня утром я выкинул из холодильника рублий на десять протухших продуктов.

О н а . О, посчитал ведь!

О н . А ты посчитай... Ты говоришь, что тебе нечего носить, но моль жрет твою шубу... Ты за все берешься, но ничего не доводишь до конца. Вот твои игрушки... Когда я только заикнулся этому директору о твоих игрушках — только заикнулся — он сразу спросил: «Сколько штук? Сто, двести?» Он деловой человек. Это деньги, это дело, это отношения с людьми, связи — это жизнь; это, наконец, ягоды детям, ботиночки — новые, не поношенные, — это и тебе все, что нужно — и сегодня, и завтра... Но ты — нет. Ты не желаешь крутиться... О Господи, мне бы деловую бабу... У тебя нет будущего, потому что тебе не на что опереться в настоящем, да? Ты спрашиваешь, как жить в нашем положении? А как жить? Жить — это значит крутиться в любом положении, а ты крутиться не хочешь. Тебе лень. Ты встаешь в девять, в десять и плаваешь по дому... а по ночам читаешь... Утром Дашка ходит нечесанная до обеда. Хорошо, что ей во вторую смену, а то бы она и в школу ходила нечесанная и голодная; Танюшу ты вообще не умываешь... Тебе некогда, ты занята своими переживаниями...

О н а . Как же я тебя ненавижу, демагог проклятый.

Он. Правильно. Такая жизнь не дает и не может дать человеку удовлетворения. Ты злишься и срываешь зло на мне, на дочерях... Я тебе вот что хотел сказать: ты перестань срывать злобу на ребенке. Ты зачем каждый день лупишь Дашку?

Она. Заткни свое поганое хайло! Это не твое собачье дело...

Он. Нет, мое. Девочка ходит постоянно в слезах... Я тебя предупреждаю, если ты при мне еще хоть раз до нее пальцем дотронешься...

Она. Замолчи, подонок! Пророк вонючий... Пожалел, а?! Кто устроил всю эту жизнь? Пожалел, скотина... Так же ты и меня в постели жалеешь, насильник поганый. Мне с тобой спать все равно, что в помойку лазить.

Он (*явно напуган*). Что это, дружок, с тобой... Ты успокойся...

Она. Отпусти мои руки.

Он. Я не позволю тебе драться.

Она (*плюет ему в лицо*). Мерзость, мерзость...

Он. До чего же ты все-таки ничтожество. Тебе надо постоянно топтать всех вокруг — только тогда ты чувствуешь себя человеком.

Она. Да, я ничтожество... Это ты меня сделал ничтожеством... Пусти, насильник, пусти, животное... Теперь растяни меня здесь и насилуй — это на тебя похоже... Ну, пусти, я успокоилась... Ты видишь, я спокойна. Пусти, мне больно.

Он. Я не хочу находиться с тобой в одном помещении. (*Уходит.*)

Она. Иди, иди, и пусть они тебя прикончат в парадном!

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Через два часа.

Он (*входит на корточках*). Ку-ку.

Она. Как ты меня напугал!

Он. Давай помиримся... ладно тебе, я виноват... Мир, а?.. Дождь кончился, воздух свежий и какой-то тонкий аромат — где-то что-то цветет, не знаю, где и что... Открой окно, почувствуешь... Будем вместе переживать мое ничтожество.

Она. Не вяжись... С какой стати я должна прощать твои мерзкие выходки? Тебе хорошо, ты погулял в скверике, подышал воздухом и успокоился... И хорошо. И сиди себе. А ко мне не лезь.

Он. Я ходил и думал, как это мы оказались у такой черты? Не понимаю. Разве жизнь не могла сложиться иначе? Надо сесть и подумать.

Она. Тебе делать нечего — вот и подумай... Ты унес сигареты.

Он. Увы, ты все выкурила — там было всего две или три, я выбросил пачку... Хочешь, я пойду разбужу соседей или на улице у кого-нибудь стрельну?

Она. Сиди, у меня остался большой чинарик и два коротких в пепельнице.

Он. Прекрасная мысль: небольшая уборка... Люблю работать в полночь. *(Включает радио.)*

Звучит тихая музыка.

А знаешь, что делают эти, в машине? Они пьют и тискают свою девку. А может быть, и вовсе разложили ее на заднем сиденье.

Она. Ой, да перестань!

Он. Нет, правда. Ты ничего не понимаешь, ты идеалистка. Я же слышал, я проходил мимо и слышал, женский голос сказал: «Дайте мне пива — запить». А когда шел обратно, там была какая-то возня и та же дама произнесла очень томно: «Саня, ты дьявол...» Понятно? Убедилась? Это не за нами.

Она. Да я знаю, что не за нами... Смотреть за ними интересно: детектив. Вот они, легендарные герои ВЧК... Эти не за нами, будут и за нами. Скоробогатова такие же убили — в подъезде бутылкой по голове.

Музыка постепенно затихает.

Звучат сигналы точного времени.

Голос диктора: «„Голос Америки“ из Вашингтона. Передаем выпуск последних известий...» И тут же включается мощная глушилка.

Она. Выключи, все равно ничего не услышишь.

Он. Да хоть два слова разобрать... Би-би-си — тоже глухо... Может быть, в мире что-то важное произошло — ишь, как плотно все перекрыли... От этих глушилок попугай на кухне начинает биться в клетке... *(Выключает.)* Тишина, хорошо... В тишине займемся уборкой?

Она. Занимайся.

Он. Эта тряпка когда-то была моей любимой рубашкой.

Она. Постирай — я поглажу, и носи на здоровье. То, что сейчас на тебе, ничуть не лучше.

Он. Книги, книги... сколько же пыли на книгах. Половину надо загнать... Мои бедные родители всю жизнь покупали, покупали книги — история, социология, философия — хотели, чтобы я был умным, свободным, надеялись, что хоть я пойму что-нибудь в этой нашей жизни — пойму, им расскажу... Я понял. Понял? Я ведь что-то понял?

Она. Понял.

Он. А они умерли... Ну и давай загоним эти книги. Клиент ищет энциклопедию Брокгауза — давай продадим нашу: ну зачем нам восемьдесят шесть томов, а он хорошо заплатит.

Она. Не трогай, пожалуйста, книги. Уж если совсем припрет... Как мне все надоело, я так больше не могу... Когда мы сделаем ремонт? Когда у нас будет десятка — купить шкафчик на кухню? Когда мы выбросим эти засанные матрасы и купим детям новые кровати? Что же мы за несчастные люди. Я уже не могу видеть эти тряпки на окнах, засаленные обои, облупленные стены... Ты помнишь, что это за пятно в углу? Здесь лежал твой парализованный папа... три года... он лежал, уткнувшись лбом в стену — это была его любимая поза... А эти брызги на обоях? А эта тахта — протертая, продавленная... Ну, я еще могу понять, почему у нас сейчас нет денег, но почему раньше-то мы были нищими? Мы были нищими и тогда, когда оба работали и зарабатывали не хуже других. Всегда только-только, всегда тянулись, тянулись... Всегда стоишь, высчитываешь перед каждой тряпочкой, перед каждой вещичкой... Почему?... Живем... Дети — нищие, я — старая, злая, нищая баба.

Он. Да... надо бы включить пылесос — ночь, боюсь разбудить соседей. А без пылесоса — не уборка.

Она. Тряпки старые, колготки дырявые выкинуть страшно — вдруг пригодятся. И складываю, и складываю... Психология нищеты — и понимаю, а выкинуть не могу.

Он. Нищета... ты нищая!.. А вокруг? Все тянутся в ниточку: или подрабатывают, или подворовывают, спекулируют, берут взятки... кто как может... Закон социализма: не украдешь — не проживешь.

Она. А мне наплевать. Воровать? Воруй: у тебя дети... Да и воровать не обязательно. Вон Бабьегородский написал пьесу, где старушки молятся на портрет Ленина, — всем театрам велено поставить. А ты что пишешь?

О н . Бабьегородский врет — ты хочешь, чтобы я тоже врал?

О н а . Соври, если иначе заработать не можешь.

О н . Старушки! Пожалуйста, у меня в книге те же самые старушки — и тоже на портрет Ленина молятся. Да мы их вместе и видели, этих старушек, — и ты была с нами, помнишь? В той деревне, в очереди за хлебом.

О н а . У тебя! У тебя в этом месте реветь от тоски хочется. Я сразу вижу и эту очередь, и лица старух... и запах кислый... А у Петьки очереди нет. Сплошной праздник. Никакой нищеты. Музыка... Так он и получил тысяч десять, а ты что получишь? Лагерный срок? Психушку?.. Когда в прошлом году Петька привел своего сына, мне было так жалко наших замарашек, так стыдно за них, что я готова была их под кровать спрятать... Вошел заграничный принц в таких одеждах... и наши стоят. — в платицах из сиротского приюта...

О н . Слушай... все-таки... тогда, двенадцать лет назад, почему ты ушла от Бабьегородского?

О н а . Отстань ты от меня со своим идиотизмом, не вяжись ты ко мне. Что за беда такая?

О н . Все-таки надо было пройтись по воздуху... дождь, аромат... Ночь — это время свободы... После дождя такие небеса раскрылись — за рекой космическая панорама.

О н а . Куда же девать твою рукопись? Заморозим?.. Надо как-то завернуть... Пожалуй, вот так вот ничего. *(Прячет в морозильную камеру холодильника.)* Вот и все.

О н . Ты гениальная баба. Я без тебя — ноль... Рюмочку налить? Улыбнись... Хочешь, я начну резать обои?

О н а . Завтра ты поедешь и забереешь детей. Что-то мне не нравится танюшина ангина. В прошлом году у Дашки точно так же скарлатина начиналась.

О н . Ты к полуночи приходишь в себя — и похорошела, и помолодела.

О н а . А правда, ночью в тишине и настроение другое... Только я устала очень... Что такое обои? Обои — это несбывшаяся мечта всей жизни... Уже и не сбудется... Тебе этого всё равно не понять: ты был сытым ребенком. Вон с папой на футбольном матче, с мамой на Рижском взморье... И обои в доме всегда были аккуратно поклеены... Да уж не трогай, я этими фотографиями закрыла дыры в стене... А я мечтала о своей комнате, чтобы можно было поклеить обои и чтобы независимой быть... Как-то все не удается... Когда отец спился, мы с матерью скитались по актерским общежитиям — общежитие в Тамбове, общежитие в Ростове, общежитие здесь, в Москве... Я выросла в общежитии,

и нам всегда кого-нибудь подселяли или нас куда-нибудь подселяли. Мы жили за занавеской: вот так мы с мамой, а за занавеской — другие люди... чужая жизнь... и единственная возможность остаться одной — лечь и с головой укрыться.. Говорили шепотом, только скандалили громко... Помню чужую спину, обтянутую занавеской... спина как-то вдавалась в наш угол... шевелилась, ела, вставала, ходила, садилась, кашляла... и я смотрела на нее с неприязнью: она занимала часть нашего угла... она вела себя бесцеремонно... Я и близко-то от занавески почти боялась, чтобы не шелохнуть...

Он. Когда ты рассказываешь о своем детстве, мне хочется спрятать тебя где-нибудь за пазухой и отогреть, как воробья. Помнишь, ты рассказывала, как мамин любовник обокрал вас в дороге, и вы побирались на вокзале — сколько тебе было? Лет восемь? Девять?

Она. Двенадцать... Мы не сразу побирались... мы тогда долго на вокзале ходили. Мама то к одному выходу бросалась, то к другому, то на площадь вокзальную выходила — все думала, что он нас потерял, разминулся... И уже несколько дней прошло, а мы все его ждали, и на лавках спали у самого прохода, чтобы он нас не прозевал случайно, если придет искать... «Он не мог так поступить, — говорила мама, — он как-то разминулся с нами». И мы ждали. И не ели все эти дни. Не на что было. Он и мамину сумочку уволок. Все уволок... И вот на четвертый, что ли, день мама посмотрела на меня и говорит: «Я попробую у кого-нибудь попросить для тебя еды». Мне так стыдно стало, так жутко, я так умоляла маму не просить, я говорила, что еще долго могу терпеть, только не надо просить... Но мама сказала: «Ты сегодня обязательно должна поесть...» Сама она только курила. Я ей окурки на площади около лавочек подбирала, она их ссыпала в обрывок газеты, сворачивала сигарки... они у нее тут же разваливались... И вот мы увидели у окна славную такую тетку, сидела она спокойно и ела, платок развязался, хлеб у нее, сало, огурцы были. Она так ножом аккуратно резала, неторопливо. Мама интеллигентным голосом спросила: «Не занято у вас?» Села напротив и стала смотреть. А глаза у мамы такие страшные, жалкие — я хоть и не видела их тогда, но знаю я мамыны глаза, знаю, какие они были... И мне так стало жалко тетку бедную. Она ведь сначала поглядела на маму легко, с интересом, а потом уже старалась не глядеть и есть стала неуверенно, и не знала, куда деваться... И все это тянулось как-то очень долго, и мне показалось, что мама уже не попросит, но она подалась

вперед и просительно произнесла своим интеллигентным голосом: «Простите, пожалуйста...» и я сразу ушла. Уже так стыдно стало... Весь проход был пустой — только мы и тетка... Но я быстро вернулась, думаю, что же я маму одну в таком позоре бросаю. А тетка уже сумки свои собирает, увязывает быстро так. И ушла, как от заразных — бегом. А на подоконнике оставила кусок хлеба большой и огурец. Хлеб мягкий оказался, и я его как-то сразу съела, а огурец — горький, и его доедала мама, но так и не доела — такой он был горький... Тетка, оказывается, и копеечки какие-то дала... Мама обрадовалась, и мы стали побираться...

Он. Я, может, и полюбил-то тебя за твои рассказы о детстве.

Она. Что толку, дай лучше три рубля на чулки... Плесни-ка мне еще... Кажется, скоро светать начнет, а ведь нет еще часа ночи... А правда, хорошо-то как... тишина... Заварим крепенького чаю...

Он. Регина была права. Она говорила, что тебя нужно каждый день привязывать к стулу и отпускать только тогда, когда ты расскажешь что-нибудь о своем детстве.

Она. Да я у тебя баба, конечно, не глупая и не бездарная... только вот хозяйка никудышная. Я ничего не успеваю: гора немытой посуды, гора детского белья... колготки танюшины никак не соберусь заштопать...

Он. Да нет же, ты прекрасная хозяйка... ты очаровательная женщина и прекрасная хозяйка... Но ты немножко устала. Я тебе помогу. Тебе надо отдохнуть, куда-нибудь выбраться... И перестать смотреть в окна.

Она. Какой же ты все-таки долдон.

Он. Просто ты меня не любишь.

Она. А за что тебя любить? Я маленькая, слабая, неуверенная, и ты — как кувалда... Вот невезуха-то в жизни... Ты говоришь, работай... Я бы, может, и работала — писала бы, игрушки бы лепила, — но мне нужны поддержка, внимание, ласка... Я и так во всем сомневаюсь... Ты бы лучше посомневался со мной, мне бы легче стало... Но куда там! Тебе всегда все ясно, и ты прешь, и прешь, и прешь; ошибся, развернулся — и попер в другую сторону... И все даешь советы, советы, советы... Ты просто раздавил меня. У меня никогда не хватало сил сопротивляться твоему долдонству... Может быть, ты великий мыслитель, но все, что ты пишешь, все так же прямолинейно. Ты не даешь читателю сомневаться. Ты хочешь пробить лоб читателю... а ты его приласкай, пожалей... читатель-то — человек слабый... Я все время чувствую себя твоим читателем...

Хочешь, я подчеркну все те места, которые, как мне кажется, должны быть прописаны, проговорены, подчеркну все то, что нужно еще объяснить?

О н . Послушай, подруга, а что это... ты мне какие-то гадости говорила? Да? Прямо-таки вспоминать страшно... Было?

О н а . Ну и говорила. Я баба злая... А ты терпи, не взбрыкивай. Скандал и скандал.

О н . Чего ж ты, моя бедненькая, злая-то?

О н а . А жизнь такая... Устала... Денег нет, муж долдон... Вот и сейчас — что лезешь к человеку? Если бы ты хоть что-нибудь смыслил, — ты бы понял, что, когда женщине под сорок, она не может хорошо себя чувствовать в кофточке, перешитой из шерстяных кальсон твоего покойного папочки... Сегодня утром соседка из квартиры напротив приносила английское платье — ей нужно срочно продать... Ну что, я примерила, посмотрела в зеркало... и заревела. Стою и реву, как дура... на платье накапала... Смеешься... тебе смешно...

О н . Какие же мы с тобой слабые, ничтожные... Платье... Истины жаждем, ищем смысл жизни, стремимся вверх, вперед... и вдруг видим: платье не такое... И все. Где там истина? А вот она, истина: надо было сидеть в газете, сидеть в твоём журнале и зарабатывать на английское платье.

О н а . Надо было сидеть. Я всегда тебе говорила: надо было сидеть, надо было копить... А теперь что остается?... Мама все удивляется, почему мы не уезжаем, почему не пытаемся эмигрировать, на что надеемся? А правда, странно... Ну, рвались бы мы на Запад, нас бы не пускали — все было бы понятно: мы — пленники, мы стремимся к свободе... таких много — уповают на лучшую жизнь... А мы с тобой к чему стремимся, на что уповаем? Тебя посадят или убьют, я умру... мать стара, детей заберут в детдом... Ради чего все это? Весь этот ужас? Она спрашивает, а я говорю какие-то глупости, что я здесь родилась, что здесь моя родина, что я привыкла здесь и у меня нет стремления уехать... Но я же чувствую, что это не так. Я знаю, уехать нельзя, но почему? Здесь нужны какие-то другие слова, особенные... Может быть, я до них не доросла или боюсь, что она их не поймет... Или вообще эти слова нельзя произносить вслух... Не доросла, не доросла... Конечно же, мы не доросли до настоящих слов.

О н . Да нет же! Ты все правильно сказала: мы здесь родились, мы русские люди, мы воспитаны русской историей,

русской литературой. Мы — часть этой жизни. Почему же мы должны откалываться и уезжать?

Она. Нет, нет, нет... Пустые слова, все не то... до настоящих мы не дожили... Как мы живем? Наше состояние промежуточное... Еще нет ни обысков, ни следствия, ни даже угроз — и эти в машине не к нам. Их внимание направлено на соседний дом. Я видела... Когда они приедут к нам, когда это будет, это будет другая жизнь. Мы знаем, что так бывает — по рассказам, вернее, по пересказам через третьи лица и по литературе — и знаем, что так будет. И мы примеряемся к этой грядущей жизни, ждем ее, не хотим... или хотим?... молим о том, чтобы она, та жизнь, подольше не наступала... И мы только-только отошли от жизни прошлой, обычной, знакомой, где все ценности, все связи понятны с детства и общеприняты — и понятны заботы, волнения... Мы — люди той, прошлой жизни... Мы хорошо знаем ту жизнь... Она нам не нравилась. «Разве это жизнь, — говорили мы, собираясь с друзьями на кухне. — Какая нищета, какая скудость, какая ложь кругом — унижительная, смешная ложь... Главное — ложь... разве это жизнь?» Но все-таки это была жизнь — пусть неполная, скудная, но теплая и спокойная; пусть нищая, но теперь-то мы видим — теплая и спокойная, без прямой и неотвратимой угрозы, что проломают череп, что придут десять человек... представь только — десять чужих, в плащах, с лицами, с чужими глазами — все перевернут, обыщут девочек... а девочкам после этого жить и расти и радоваться предстоит — как? Как они будут жить?.. И мы смотрим на это еще из прошлой жизни. И страшно... И все наши понятия еще в прошлой жизни, и желания — там... А впереди, может быть, и высоко, прекрасно, необходимо — все так... но страшно-то как! И все примериваешься, а если бы этого не было — не лучше ли? Но ведь живут же люди без этого! Живут же люди, как все... Мы-то что на себя взвалили... На себя, на детей... Детям-то как жить? У Дашки спросили в школе, что в небе летает? Она говорит — ангелы... Все дети кругом — самолеты, ракеты, спутники, а она — ангелы... Скандал! Учительница меня вызвала. Я говорю, ну что же, ангел — это хорошо, ангел — это направленный свет любви... Она на меня глаза выкатила, говорит: «Крестик у ребенка надо снять или, в крайнем случае, зашейте его в маечку. Ей в пионеры вступать...» Учительница права... зашить в маечку? А что я Дашке скажу? Ей-то все равно, она несмышленная... Но этот крестик в маечке — это такое унижение, такая обидная покорность... И перед Дашкой

стыдно, она это почувствует... Но я же не могу сражаться ребенком, я же не могу ее подставлять... Зашила в маечку.

Он. В нашей жизни что-то нужно менять... Давай купим тебе английское платье. Ты будешь в нем, как Маргарет Тэтчер, — ты всегда хотела быть умной женщиной.

Она. Да ничего подобного! Я всегда хотела быть миленькой, хорошенькой, красиво одеваться, весело жить — весело и беззаботно...

Он. Да, мы живем какой-то немзыкальной жизнью.

Она. Я всегда хотела жить благополучно... Ты способный, мог бы сделать карьеру.

Он. Какую карьеру — до этих? Как я смотрюсь среди них?.. Нет, нам не хватает веселья и музыки, вот чего. Бедность должна быть музыкальной, веселые нищие... а мы зажаты, несвободны. (*Берет гитару.*) Я тихонечко, чтобы не разбудить... (*Наигрывает.*)

Она. Почему же обязательно среди этих? Живут же люди вокруг — прекрасные, светлые, замечательные люди. Живут и творят добро. Активно, деятельно... вопреки всем этим... Ты был журналистом, и ты знаешь, с каким трудом дается каждое доброе дело, как трудно каждую малость проталкивать, пробивать; ты же знаешь, что целую жизнь приходится тратить, чтобы пробить, реализовать хоть самую малую частицу добра, истины, здравого смысла. Ты же все время писал о таких, защищал их от всякой сволочи, от бездарности, пытался помочь... Разве это не достойная жизнь? Ну и продолжал бы... Карьеру, может, и не сделал бы, да черт с ней, с карьерой, зато жили бы спокойно...

Он. А куда девать то, что я понял?

Она. Все понимают — девают же куда-то свое понимание, не лезут с ним.

Он. Я исследовал систему — куда это девать?.. То, что я написал книгу, ушел с работы, — это следствия. Главное — я исследовал систему, понял ее, до конца додумал... Сколько мы с тобой говорили об этом — сколько раз!.. и ты снова и снова... Я не врач, не учитель — а то бы, может, так не вылезал, сидел бы на своем месте, делал бы свое дело... Я — журналист, публицист, мое дело — говорить, и если я что-то понял и не скажу — что в моей жизни проку? Это моей жизни, моего темперамента — мое дело. Я сделал его, как смог — почему я должен делать его хуже, чем могу? Это унижительно. Почему я не могу додумывать то, что могу додумать, почему я не должен писать то, что могу написать? Почему я не могу сказать то, что мне вполне понятно? Если я — журналист, если я

— публицист и если я что-то исследовал и что-то понял, почему я должен об этом молчать?.. Свой крестик я куда зашью?

Она. Что толку — исследовал, додумал, сказал... Раньше ты мог высказаться в газете — тебя читали, обсуждали. Пусть там все было куце, вот такая вот правдочка, но она до всех доходила, всем была доступна и всем нужна... И всегда была надежда, что через год можно будет сказать еще чуточку побольше... Но вот ты все высказал сразу. Вот твоя большая правда. *(Включает приемник. Мощный звук глушилки... Кричит.)* Слушай, слушай! Может быть, это читают твою книгу, твою правду...

Он *(выключает)*. Чепуха... Слово нельзя заглушить. Его хоть в могилу спрячь, оно тростниковой дудочкой заиграет. *(Играет на гитаре, поет.)*

Она. Да я знаю, что не умрет... Жить-то как?.. Я заварила чай с травкой... Как ты это делаешь? Когда ты поешь или танцуешь, я готова простить все твое долдонство. Как жалко, что Дарья не в тебя — будет такая же, как я, — неуклюжая. Может, Танюша вырастет пластичной: она все поет и танцует.

Он. Пожалуйста, теперь немного подвигаемся... Потанцуем... Нет, кисти посвободнее, локти поближе, вообще руки освободи... ноги чуть согнуты... это единое движение... вот так... Какая ночь! Ты — как Золушка на балу.

Она. А может быть, все-таки продать Брокгауза? Или что-нибудь заложить в ломбард? Что у нас осталось такого? Мою шубу? Ведь это ничего, мы ее выкупим, я заработаю... Я закончу игрушки — тут как раз рублей на двести...

Он. Ах, как же я танцевал в тот вечер, когда мы с тобой познакомились и когда я отбил тебя у Бабьегородского... Это было какое-то молодежное кафе, да?

Она. Ужас! На тебе была какая-то красная рубаха, и тебе казалось, что ты ослепителен.

Он. Я был бешено влюблен. Никогда больше я так не танцевал — ни до, ни после. Я вложил в этот танец всю свою страсть к тебе.

Она. Ну, ну, ну... понесло, понесло... Когда ты танцевал, мы были едва знакомы. Ты же за Анькой приударял... Смотри-ка, все те же люди, кто тогда был? Регина, Бабьегородский, Рыжий, Севочка, Анька...

Он. Точно, точно. Это был тот вечер, когда ты съездила по роже бедному Севочке. Я до сих пор помню его красную физиономию, испуганного Петечку... у Регины,

по-моему, сделалась истерика, а Рыжий хохотал во все горло... Ты говоришь, кто еще там был?

Она. Не делай вид... Анька... Ах, какие у нее были глаза! Вот такие вот огромные серые глаза... Только фигу она на тебя внимания обращала. Она уже тогда нацелилась на Петечку — знала, на какую лошадку ставить.

Он. А ты?

Она. Я не понимаю, ты что, хочешь напоить меня, что ли?

Он. Ах, миленькая, мы с тобой так редко сидим. Ты так редко смотришь на меня добрыми глазами.

Она. Ты здесь не при чем. Покучай почаще хороший коньяк.

Он. А ты... ты на ту лошадку поставила?

Она. Из нас двоих лошадка — я. Это ты на меня поставил, и я повезла... Ты видишь, сколько я везу на себе? Я еще не старая кляча?

Он. Ты удивительно хороша — особенно, когда улыбаешься. Улыбка совершенно преображает твое лицо... Ты — мадам Улыбка... Выпьем, и ты мне улыбнешься... Вообще напьемся, как в тот вечер, когда ты бросила Бабьегородского.

Она. Да нет же... как-то все у тебя... его бросила, тебя подобрала. Это тебе все просто. Стала бы я жить с тобой, если бы так легко от одного мужика к другому... Только ты бы меня и видел. Нет, я задолго ушла.

Он. Хочешь, я сам скажу, почему ты его бросила?

Она. Тебя никто не просит.

Он. Если бы осталась, ты бы просто спилась.

Она. Перестань!

Он. Что такое твой Петечка? Комсомольский поэт, комсомольский драматург...

Она. Ну что за бабские выходки!

Он. Нет, нет ты послушай... Он, конечно, добрый парень, но... какой он писатель? Так, зарабатывает человек, чем может.

Она. Высказался? Ты злой и завистливый. Как ты можешь? Ты, ты... у нас с тобой даже выпить не на что... Зато сейчас я бы ездила на зеленом «Мерседесе», как Анька ездит.

Он. Сейчас бы ты ездила на инвалидной коляске. Ты бы давно уже спилась с тоски. И Петечку бы утопила. Вы бы оба спились — и ты, и он. Петечка слабый, а ты баба въедливая, сильная... Да, да, не маши руками, сильная... К тому же, он любил тебя без памяти. Он совершенно раскис. Он был в отчаянии, у него тряслись руки. Он совсем не мог работать: ты его задавила. Что бы

он ни написал, ты смеялась над ним, ты на все говорила, что это полное говно, что он сам — полное говно. Говорила или нет? И делала такое вот презрительное лицо... Собралась парочка! Тебя тошнило от вранья, ты чуть не спилась от этого, а он, горемыка, органически не способен говорить правду, да он и не знает, что такое правда. И тоже чуть не спился от отчаяния... Нет, милая, ты не уважала Петечку, и он, бедненький, перестал уважать себя. Еще бы немного, и на обоих можно бы ставить крест... А теперь? Театральная афиша пестрит петиным именем. Своим враньем он заполнил все подмостки страны. Освободился... Сначала купил дачу, потом «Мерседес», теперь вообще может позволить себе менять жен, менять машины!.. Так что скажи спасибо, это я вас обоих спас.

Она. Ты спас! Постыдился бы говорить. Оглянись вокруг: это спасение?

Он. Спас, спас... Что бы ты ни говорила — спас.

Она. Сегодня нужна инвалидная коляска — сегодня ты меня спаиваешь

Он. Ах, подружка, если бы ты умела почаще расслабиться, это было бы совсем неплохо... Выпьем?

Она. Спаситель нашелся... Ты-то тут при чем? Если хочешь знать, я тебя в тот вечер вообще не заметила — так, танцевал там какой-то хмырь, кривлялся — и все... Я влюбилась вовсе не в тебя...

Он. Ты влюбилась в меня.

Она. Да ничего подобного!

Он. Ты влюбилась в меня и той же ночью стала моей женой.

Она. Я влюбилась не в тебя, а в твою Регину. Какая баба! Я в нашем болоте никогда таких не видела: красивая, умная, свободная. Главное — свободная. Это удивительно: она образует вокруг себя какое-то поле свободы. Я потом и здесь уже много раз проверяла — точно, она всегда на меня так действовала: она приходила, садилась вот здесь в кресло и улыбалась... и все. Ты видишь ее и понимаешь: вот человек, который может все, и чувствуешь, что рядом с ней ты тоже все можешь... Дурак, почему ты на ней не женился?.. И тогда в кафе я вдруг почувствовала, что все могу. Все!

Он. Тебе холодно?

Она. Оставь... А ты... что же ты... ты был где-то около Регины.

Он. И все-таки ты уехала со мной.

Она. Уж не вспоминал бы этот кошмар. Ты напоил меня и увез, и привез сюда: в той комнате лежал твой

парализованный папа, за стеной храпела мама... Очень нежные воспоминания...

Он. Но ведь были же у нас и хорошие времена, ты не можешь отрицать.

Она. Да, были, были... Чего теперь вспоминать.

Он. Особенность твоего обиженного сознания — помнить только плохое.

Она. Опять публицистика.

Он. Прости меня... Я в последнее время очень чувствую свою вину перед тобой... Я тебя очень люблю... Мне очень повезло в жизни...

Она. Да, конечно, я баба неплохая.

Он. Нет, неплохая — это ничего не значит... Я очень хочу, чтобы ты улыбалась, чтобы у тебя было все хорошо в жизни, но я не знаю... так получилось... Когда Петька впервые прочитал мою книгу, ты помнишь, что он сказал? «Ну хорошо, ты — самоубийца, это я могу понять... но что же ты, гад, о жене и детях не думаешь?» Я тогда все это мимо пропустил... Я никогда не сомневался, что я прав — ни когда задумал книгу, ни когда писал, ни когда решил ее опубликовать — прав! И теперь уверен: прав!

Она. Ты везде и всюду прав, ты перед всеми прав... ты только здесь, перед нами не прав... Смотри-ка, совсем рассвело... Задерни шторы — мне не хочется, чтобы начинался новый день, ну его...

Он. Но мне только одно очень горько, ты меня не любишь. Хотя я понимаю.

Она. Ну что ты, миленький, как ты можешь так говорить... Я прожила с тобой двенадцать лет, родила двух дочерей... Как ты можешь так говорить? Только мне трудно представить, как это я буду одна здесь ходить... от окна к столу, от стола на кухню... а тебя нигде не будет... сколько — семь лет? двенадцать? всю жизнь?

Он. А ты правда ко мне хорошо относишься?

Она. А куда же теперь деваться?

Он. Какая же ты женственная...

Она. Как я постарела за последние два года — ужас! А хотя что же, тридцать восемь... кошмар!

Он. Разве это много? С тобой я этого никогда не чувствую.

Она. Перестань... вон как поседела.

Он. Ты удивительная красавица.

Она. Просто ты меня любишь.

Он. А тебе хорошо, что я тебя люблю?

Она. Да, конечно, а что бы тогда вообще осталось?... Мне бы только одеться хоть немного, платьице какое-нибудь... Только у меня титек слишком много.

Он. Было бы меньше, я любил бы другую женщину.

Она. Не ври. Куда б ты делся?

Он. Никуда... Если бы я не был женат на тебе и сегодня встретил бы тебя на улице, я сразу бы влюбился бы и сделал предложение. Пойдешь за меня замуж?

Она. Да никогда! Тебя посадят, я умру с горя, девочек заберут...

Он. А если мы завтра поклеим обои?

Она. Поклеим обои, купим платье, повесим шкафчик на кухне и... и что-то еще, я уже не помню... постирать тебе любимую рубашку.

Он. Давай пораньше встанем, чтобы все успеть.

Она. Подумать только... Давай.

Он. А поэтому ляжем пораньше, а?

Она. Ты полагаешь?

Он. А почему ты смеешься?

Она. А у тебя очень смешной вид. Глаза такие жалкие-жалкие. Мне тебя жалко... Только выдерни телефон, а то вдруг включится, и задерни шторы поплотнее... И сядь, посиди еще немного, допьем... И ты мне расскажешь что-нибудь про директора гастронома — он у тебя славенький, он мне нравится... Сядь, посидим еще...

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Наутро.

Он (*громко*). Телефон включили!.. (*Набирает номер.*) Десять часов семнадцать минут... Какой день! Солнце светит, телефон работает, кажется, горячую воду дали... Попугай-то соловьем, соловьем выщелкивает!.. А кто к нам приходил? Или мне показалось? Я как бы слышал звонок в дверь, но не проснулся... а потом мне приснился какой-то кошмар... Эй, послушай, давай уедем отсюда. Ну их всех к едрене фене. Давай уедем в Америку, в Израиль, в Новую Зеландию, хоть на острова Паумоту — куда-нибудь... И будем жить. Без страха, без проблем — будем просто жить и наслаждаться жизнью... Разве это мало — просто жить и наслаждаться жизнью?

Она выходит из ванной.

Господи, ты ослепительно хороша. Скинь халат, я за ночь не нагяделся.

Она. А это не стыдно — в нашем возрасте, и так вот...

Он. Ты слишком много думаешь, что стыдно, что не стыдно. Это всегда мешало... Десять часов семнадцать минут — будем спать дальше... Вообще отбросим все дела и целый день будем спать, спать...

Она. Увы, сейчас ты пойдешь за детьми.

Он. Но ты же сегодня потрясая хороша.

Она. Ах ты миленький... Все.. Отстань... Свари лучше крепкий кофе... Что ты здесь говорил? Что такое Паумоту?

Он. Ничего. Когда ты ласкова, мне ничего в жизни не надо. Если бы так всегда, я бы и писать перестал... У меня же звериное обоняние... О, как ты сладко пахнешь...

Она. Заговорил, заговорил... Помой лучше пол на кухне.

Он. Поговори со мной...

Она. Терпеть не могу эти разговоры.

Он. Но почему?

Она (после некоторой паузы). А что толку говорить? Все равно ничего не поймешь... Ты — глухарь, токуешь один и ничего не слышишь... Ополосни-ка чашки, меня что-то уже с утра ноги не держат.

Он. Кто-то приходил или мне показалось?

Она. Приходила мама. Танюша удачно пописала в горшочек, и мама принесла анализ.

Он. Как это трогательно. Мне идти в поликлинику?

Она. Да нет, я сама. Анализы принимают до десяти, но ничего, бутылочку я поставила в холодильник, может, и позже удастся сдать... Не могу... Мне идти в детскую поликлинику, а у меня при одной мысли в мозгу начинается спазм. Ждешь: обхвоят, обругают... и ничего от них не добьешься... У Таньки хронический тонзиллит, а наша врачиха говорит: «Девочка что-то не то съела...» Помнишь, в прошлом году Дарья болела скарлатиной — это было всем очевидно, а у них записано — простуда. У ребенка шелушение, а врачиха твердит: «ОРЗ». Танька почти месяц у бабушки — забирать, не забирать? Как дезинфекцию делать? ОРЗ — и все тут... Только уж когда из платной поликлиники вызвала, добилась... Приехала старушка-доцент — точно, была скарлатина, — все рассказала, объяснила...

Он. Офонареть можно! Ну что мы здесь сидим? Давай уедем... Ну что мы сидим, из последних сил напрягаемся,

вся жизнь уходит на то, чтобы не подохнуть с голоду, чтобы тряпку купить, чтобы хоть как-то продержаться. Переплетное дело... меня уже тошнит от запаха клея... Разве я с моей головой... Мы же молодые люди. Да если бы я каждый день мог бы с утра садиться за письменный стол и работать до вечера — и ничего другого! — как я хочу, как мечтаю... да что такое две книги за пять лет! — да я бы в год по две такие писал. Ведь у меня голова на плечах, машина — и неплохая, скажи? А то ведь так жизнь и пройдет... А дети? Это хорошо, что они вырастут здесь, с этими учителями, в этой лжи? Они простят, что мы с детства заставляем их врать или применяться к чужому вранью? Когда они вырастут, они простят нам, что мы не уехали, их не увезли? ...А ты? Ты еле тянешь, тебя здесь надолго хватит? А если и впрямь что-то случится со мной, с тобой?.. Ну ладно бы еще моя работа, кто-то читал бы здесь мои книги, кто-то прислушивался бы, кому-то я был бы нужен... да нет же! Пять, десять человек — и все! Зачем людям моя правда? Им завтра с этой правдой на ту же работу идти, на тех же партсобраниях высиживать... Куда им мое слово?.. А я?.. Ведь голова-то работает, ее не выключишь... Давай уедем. У меня замыслов до конца жизни хватит. Сиди и пиши... Найдем где-нибудь тихое, скромное место... Уедем, а? Я скажу Севочке, что мы хотели бы уехать, и я уверен, через месяц мы получим вызов. Он сам намекал. Они никого не выпускают, но нас вытолкнут с радостью: для них это лучший способ — без скандала, тихо... Ты понимаешь, я уже действительно хочу, чтобы они меня поскорее посадили, чтобы наступила развязка... Чем хуже, тем лучше... не для меня — для книги. Книга — это моя жизнь, мой поступок. Я хочу определенности... А что иначе? Мне же ничего другого не остается — не быть же всю жизнь переплетчиком... Может быть, и твоя жизнь как-то переменится к лучшему — я и вправду на это надеюсь...

Она. Запел, запел свою песню.

Он. А так лучше что ли?

Она. Ты хотел пройти пылесосом книги и занавески.

Он. Хорошо, я не иду за детьми, я буду проходить пылесосом. Ты этого хочешь?

Она. Не кричи, а? У меня голова болит... Ты устал, миленький, и выглядишь неважно. Телефон работает, ты бы позвонил Петьке — может, один к нему съездишь? Поживи у него пару дней. Кстати, он в восторге от твоей новой работы — вот и поговорите...

Он. О чем ты говоришь, какой Петька, какой отдых, когда я вижу, что дома полный развал, что дети больны, что ты...

Она. А занавески вообще нужно купить новые. Эти уж лет двадцать висят.

Он. И купи. Скажи, зачем ты берешь пять тысяч томов никому не нужных книг? Для какой жизни? Здесь они тебе не понадобятся, там — тем более, да их и не выпускают...

Она. Здесь... там... Хорошо, предположим, мы уедем. Уехали... А кем мы там будем — в Америке, во Франции — где?

Он. Я не знаю... Кем? Не пропадем... Какая разница — кем? Просто людьми... Поедем куда-нибудь, где скарлатина называется скарлатиной, колбаса именно колбаса, а человек значит то, что могут его руки и голова, а не то, что он врет на партсобрании, — есть такое место на земле? Говорят, на Западе наши русские проблемы всем просто осточертели — и хорошо, будем жить без проблем. Только бы выпустили. Мы там сами по себе — и без проблем! Только бы вырваться отсюда... Не все ли равно, где и кем — мы будем просто людьми, просто людьми.

Она. Да я тоже думала... Знаешь, Петька получил большое письмо от Рыжего. Три года, как он уехал, и уже купил дом в пригороде Бостона. Двухэтажный особняк с двумя балконами. Машина. За домом — бассейн... Живут же люди.

Он. Рыжий! Рыжий — гений предпринимательства, ему здесь делать нечего.

Она. Он звал тебя, говорил, ему нужна твоя голова.

Он. Не бойся, не пропадем... Да и ты... Европа ждет твои игрушки а ля русс...

Она. А собаку? Собаку выпускают? А попугая?

Он. И собаку, и попугая, и даже твою мамочку — все уедем, все.

Она. А занавески здесь оставим?

Он. Возьмем — пол мыть.

Она. Неужели у нас будут другие занавески на окнах? А ностальгия?

Он. По занавескам?

Она. И по занавескам тоже — я же к ним привыкла...

Он. Сделать тебе еще бутербродик? Я думаю, что отпуск мы проведем на Майами... но зимой — это, говорят, не так дорого и народу немного...

Она. А книги? Все загоним?

О н . Нет, возьмем всю русскую классику и по истории России.

О н а . Зачем? Разве мы будем русскими?.. А у Рыжего дети совсем перестали говорить по-русски. Он так и пишет: «Сволочи дети совсем не говорят по-русски...» Неужели и наши? Как это? Наши девочки — и не русские... А мы с тобой?

О н . Можно подумать, что без этой тухлой колбасы ты — уже не русская... Без этой поликлиники, без дашкиной учительницы, без подслушивающего аппарата, который где-то здесь записывает драму нашей жизни... Что это значит быть русским?

О н а . Не знаю... Но все-таки это буду уже не я... Я — это моя судьба — ничтожная, несчастная... но моя... моя судьба здесь... Я думала — кто я? Нет, я не русская... Как ни смешно, я — советская... Россия, история — у меня этого ничего нет. За всю жизнь столько вранья в голову позатолкано — в голову, в душу — и мы принимали это вранье, принимали, как все принимали, куда же деваться-то — принимали... Все перепуталось... В какой-то момент в юности вообще казалось, что никогда не разобратся... Но ведь не только же принимали... но и сомневались; жили и жизнью проверяли, что вранье, а что правда... Моя жизнь, опыт моей жизни — это опыт понимания, опыт освобождения от вранья... Это важно! У меня нет другой России, кроме той, в которой я живу. И другой истории у меня нет, кроме собственной жизни. Но эта жизнь у меня есть — опыт прозрения, опыт противостояния вранью... Нет, я — русская. Я русская, наделенная опытом сопротивления вранью, — вот как это называется... Я — баба... Мне это не под силу... Я еле тащу... Но этот опыт у меня есть. Было бы куда спокойнее, если бы мы остановились где-нибудь там, на полпути... друзья на кухне, анекдоты... Жизнь наша дурацкая, несерьезная... Все уже свершилось. Мы оказались одни перед этими бандитами. Ты, я и наши маленькие девочки... Но я-то согласна на это не давала... Я боюсь их, миленький, я боюсь их. Я же понимаю, все правильно. Ты не мог иначе, ты умница... Но девочки-то маленькие... И я никак к этому не привыкну. Да и как к этому привыкнешь? Я не рассказала тебе самых страшных снов. Когда о н и водят ночью и убивают нас всех. И девочек. Я боялась это рассказывать. И ты знаешь... после этих снов я поняла, что все правильно, что истина именно в том, что все произошло с нами — твои книги, наша жизнь — все правильно... что даже если убьют девочек, то... Вот до какой мысли я доросла. Вот какой

опыт. Неужели мы этим не дорожим? Разве нам это легко досталось? А зачем этот опыт там? Там будет другое — будет хорошо одетая пожилая дама, она будет жить в чистом, хорошо обставленном доме, будет пить свой утренний кофе из хорошей посуды, все будет солнечно, опрятно... какая малость! А я со своими мыслями! Где буду я с этой своей жизнью, с этим своим опытом? Все останется здесь...

Он. Что ты говоришь? Тебя страшно слушать. У тебя нет чувства самосохранения... Разве человек не имеет права изменить свою судьбу к лучшему? Разве человек, покидая тюрьму, перестает быть самим собой?

Она. Почему ты решил, что к лучшему? Мы ничего не можем изменить... Неужели все, что мы поняли, все, что следует из нашей несчастной жизни, — это то, что нужно уехать?... Тогда почему мы не уехали раньше? Почему ты раньше нас не увез? Рыжий тебя звал, а ты что ему ответил? Ты сказал, что хочешь понять себя в этой жизни... И мы поняли себя. И не только себя. Мы эту жизнь поняли. Мы поняли Регину, поняли Скоробогатова... Мы сдвинулись, но никак не можем оторваться от прошлого. Да, мы одиноки здесь, во времени. Каждый сам по себе. Нас никто не слышит... Но мы же не только во времени... Есть же вечное противостояние добра и зла. И в этом вечном противостоянии мы не одиноки... Это надо понять и принять на себя... Вечное... Надо жить в этом Вечном... Разве не это нам надо понять? Разве не эту судьбу принять на себя? Куда же нам ехать? Нам — здесь. До конца. Если, конечно, мы всерьез все это — и детям, и друг другу, и сами себе... Всерьез... Но решиться страшно. Страшно, боже, как страшно! И хочется зацепиться за прошлое или уехать... Может быть, все-таки уехать?

Он. Нет, друг мой, я — не пророк. Это ты пророк. Какие плодотворные идеи — сама-то хоть чувствуешь?

Она. Не говори, это все твои штучки. Ты всегда торопишься и никогда не додумываешь до конца. И опять ничего не понял. А я... Мне это не нужно. Мне бы сидеть где-нибудь тихо, незаметно... согреться бы... растить детей...

Он. Все. Хватит. Если что-то делать, то делать. Скоро полдень, а у нас еще день не начался. Идти за детьми? Я пошел... Могу зайти в школу — что нужно было учительнице? Конец года — что ей понадобилось? Тебе в поликлинику — одевайся и иди, не забудь анализ... Или, может быть, все-таки ремонт? Если да — начинаем... Крутиться надо, крутиться...

Она. Ты иди, иди... Я немножко посижу и тоже пойду потихоньку.

Он. Нет уж... Я уйду, а ты опять ляжешь и укроешься с головой.

Она. Хорошо, мы выйдем вместе, только ты меня не торопи. Можешь пока помыть посуду — горячая вода есть. *(Выходит, чтобы одеться.)*

Он. Нет уж... Я тебя не тороплю, но вот я сижу и жду... Я жду...

Она появляется в новом платье.

Что за платье? То самое, английское? А это ничего, что так надеваешь? Не подходи к столу, здесь что-то... пятно посадишь...

Она. Ты скажи, нравится?

Он. Да я в этом ничего не понимаю.

Она. А вот Петька своей третьей жене все туалеты сам выбирает. Она моложе его лет на двадцать, и он наряжает ее как куколку... В каких она платьях — обалдеть! Я как-то на улице видела — люди оборачиваются.

Он. Ты не ее встретила. Это была пьеса про Ленина. Это были старушки, которые выгодно помолились на его портрет... Петюнчик... У него есть на что. А у меня — увы... Да, честно говоря, ты мне как-то больше... вообще без платья нравишься...

Она. Замолчи! Надо же, какой чурбан бесчувственный... А как я себя чувствую — тебе наплевать.

Он. Мне кажется, уже пятнышко.

Она. Ничего, отдадим в чистку. Оно хорошо чистится.

Он. Не понимаю. Собираешься купить?

Она. Соседка приходила утром, и я сказала, что беру.

Он. Ты что, рехнулась?

Она. С деньгами она может потерпеть до завтра.

Он. А что будет завтра?

Она. Не знаю... Отвези шубу в ломбард... ты же сам вчера говорил...

Он. Я говорил? Предположим, я говорил — ну и что? Ты пользуешься моей добротой. Ты вымогаешь у меня, а потом я должен выворачиваться наизнанку, чтобы выкупать все это? Что?!

Она. Посмотри на свои тапочки.

Он. Тапочки?

Она. Ты помнишь, как я купила тебе эти тапочки? Ты устроил гнусный скандал. Ты кричал, что нельзя тратить деньги на лишние вещи, что тебе не нужны тапочки, что

ты готов босиком ходить, только бы не тратить деньги попусту... несчастные тапочки...

Он. Ну хорошо, хорошо, оставь это платье.

Она. Да?! Носи его сам. *(Снимает платье и, скомкав, бросает ему в лицо.)* Пророк поганый...

Он. Успокойся, пожалуйста...

Она. И не лезь ко мне со своими успокоениями.

Он. Ты хотела идти в поликлинику. Анализ в холодильнике.

Она. Анализ нести поздно, и мне не в чем выйти.

Он. Куда я должен идти? К маме? В поликлинику?

Она. Не знаю, куда хочешь. Холодно-то как... *(Надевает шубу и ложится на тахту.)*

Он поднимает брошенное платье, расправляет его и осторожно держит на вытянутых руках. Свет меркнет. Темнота. Проектор высвечивает портреты руководителей партии и правительства.

К О Н Е Ц

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

гор. Москва

3 июня 1985 года

Начальник следственной группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский в присутствии понятых: Евдокимовой Натальи Николаевны, проживающей по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 9, кв. 46, и Ворониной Надежды Николаевны, проживающей по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 124, корп. 1, кв. 138, руководствуясь требованиями ст. ст. 178 и 179 УПК РСФСР, произвели осмотр журнала «Время и мы» № 79 за 1984 год, поступившего из управления КГБ СССР, о чем в соответствии со ст. 182 УПК РСФСР составили настоящий протокол осмотра.

Предусмотренные ст. 135 УПК РСФСР право делать замечания, подлежащие занесению в протокол, и обязанности удостоверить факт, содержание и результаты осмотра нам разъяснены.

Подпись (Евдокимова)

Подпись (Воронина)

Осмотром установлено:

Журнал «Время и мы» № 79 за 1984 год на русском языке, вышедший в одноименном издательстве и распространяемый в Нью-Йорке — Иерусалиме — Париже. На страницах 5—44 журнала опубликована «пьеса-диалог» в трех действиях Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше». На стр. 247 журнала в рубрике «Коротко об авторах» написано: «Лев Тимофеев — рукопись получена по каналам самиздата».

Все три действия «пьесы-диалога» происходят в квартире между мужем и женой. Из текста следует, что познакомились они двенадцать лет назад, вечером, в «каком-то молодежном кафе» и в тот же год вступили в брак. Тогда в кафе были Бабьегородский Петр («... я отбил тебя у Бабьегородского...»), Регина, Анька, ставшая женой Бабьегородского, Рыжий, выехавший на жительство за границу, Сева, который может организовать вызов для действующего лица «пьесы-диалога» на Запад. О Бабьегородском автор пишет, что он — «комсомольский поэт, комсомольский драматург», благодаря этому имеет дачу, автомашину «Мерседес», живет в достатке, его пьесу — «... где старушки молятся на портрет Ленина — всем театрам велено поставить...» (слова жены). Муж в ответ на это заявляет: «Бабьегородский врет — ты хочешь, чтобы я тоже врал?.. Старушки! Пожалуйста, у меня в книге те же самые

старушки и тоже на портрет Ленина молятся. Да мы их вместе и видели, этих старушек, и ты была с нами — помнишь? В той деревне, в очереди за хлебом» (стр.24).

Действующие лица в «пьесе-диалоге» — «он» и «она» проживают в г.Москве, от совместного брака имеют двух дочерей, Дашу и Таню, которых иногда забирает к себе мать жены, также проживающая в Москве. Даша ходит в первый класс, верит в бога, носит нательный крест, в связи с чем к ним домой приходила учительница. «Он» — журналист, публиковался в периодических изданиях, а затем «пришлось уйти с работы» (стр.10–11) — «два года назад» (стр.16–17). «Она» нигде не работает, ей 38 лет, занимается лепкой игрушек. О своем детстве «она» говорит: «...отец спился, мы с матерью скитались по актерским общежитиям — общежитие в Тамбове, общежитие в Ростове, общежитие здесь, в Москве». В их личной библиотеке имеется энциклопедический словарь Брокгауза и приемник, с помощью которого прослушивают зарубежные радиостанции. Квартира действующих лиц в запущенном состоянии, кругом грязь, «нищета». Все это истолковывается автором как неизбежное следствие советской системы, в которой якобы действует «закон социализма: не украдешь — не проживешь» (стр.24). Он (*т.е. автор. — Л.Т.*) утверждает, что в СССР все «подрабатывают или подворовывают, спекулируют, берут взятки, кто как может» (стр.24), государственный и общественный строй именует «нечеловеческой системой» (стр.18), пронизанной ложью и беззаконностью.

«Она» и «он» люди низкой культуры общения, взаимоотношения между ними построены на сквернословии и оскорблениях типа «подонок», «скотина», «животное» и т.п. Им присуща внутренняя опустошенность, бездуховность, оторванность от общества, в котором они живут, и его интересов. На стр.29 «она» заявляет: «...Разве это жизнь... Какая нищета: какая скудость, какая ложь кругом — унижительная, смешная ложь... Разве это жизнь...» Их враждебное отношение к существующему в СССР государственному строю автор выражает на странице 11 «пьесе-диалога», когда действующие лица высказывают оскорбительные заявления в адрес руководителей партии и правительства. «Он» высокого мнения о себе и своем таланте — «ведь у меня голова на плечах, машина — и не плохая...» — считает себя первым человеком, исследовавшим советскую систему, — «Я исследовал систему, понял ее до конца, додумал...» Его портрет восполняет «она» словами — «тщеславный», «эгоист», «демагог», «пророк».

Из текста «пьесы-диалога» следует, что «он» под своей фамилией опубликовал на Западе две книги о социалистической системе в нашей стране, действующие лица осознают, что этим он совершил преступление, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 7 лет и ссылки до 5 лет. Оставшуюся рукопись «она» прячет в холодильнике. «Он» говорит: «...Когда Петька впервые прочитал мою книгу... сказал... ты — самоубийца, это я могу понять... но что ты, гад, о жене и детях не думаешь? Я тогда все это мимо пропустил... Я никогда не сомневался, что я прав — ни когда задумал книгу, ни когда писал, ни когда отдал публиковать — прав! И теперь уверен — прав!» (стр. 35). «...Мои книги — это ваше (жены и детей. — *примечание следователя*) будущее. Пойми, если меня здесь посадят, там, за границей, это привлечет внимание к моим книгам — будут тиражи, будут переводы — будут гонорары. Если меня посадят — это реклама. Я уверен, если меня посадят, вы будете хорошо жить, будете прекрасно обеспечены — ведь есть же каналы помощи, приходят посылки, люди оттуда приезжают» (стр.18).

В ходе диалога «он» склоняет жену к выезду на жительство за границу, рассчитывая обеспечить там свое благополучие за счет гонораров от уже изданных и будущих книг, которые намерен написать.

В процессе осмотра изготовлена ксерокопия обложек журнала «Время и мы» № 79 за 1984 год и опубликованной в нем «пьесы-диалога» Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше», которая прилагается к протоколу.

Осмотр производился с 9 часов до 13 часов 10 минут.

Протокол нами прочитан. Записано правильно. Замечаний по поводу осмотра и содержания протокола не имеем.

Поняты:

*Евдокимова
Воронина*

Начальник следственной группы
следственного отдела КГБ СССР
подполковник

Губинский

**ТЕХНОЛОГИЯ
ЧЕРНОГО РЫНКА,
или
КРЕСТЬЯНСКОЕ
ИСКУССТВО ГОЛОДАТЬ**

Я — не крестьянин. И никогда не голодал. Случайно я близко увидел жизнь крестьянской семьи и, начав — с малыми целями — записывать события и обстоятельства этой жизни, вдруг с удивлением понял, что вся советская система, начиная от нашего высокомерного правительства и кончая учеными-атомщиками и поэтами-песенниками, живет за счет сельской семьи, как пиявка присосавшись к крестьянскому хозяйству.

Если бы я так удивился в двадцатых годах, мне бы сказали, что я просто ослеп: тогда все знали и едва ли не во всех газетах писалось, что пролетарское государство не может существовать, не ограбив крестьянина, другое дело, что одни принимали это с восторгом, другие вовсе не хотели принимать, — но знали все. С тех пор знания эти несколько позатерлись временем и разговорами по поводу всенародного государства, но сама зависимость системы от крестьянина осталась. Изменилось только наше представление о ней. Если в двадцатых годах страна знала, как живет деревня, то теперь, пятьдесят лет спустя, все заслонил собою давно отработанный образ процветающего колхозника, который никак не вяжется с хозяйственной действительностью. Впрочем, доверчивые дети социализма, мы, кажется, и не слишком озабочены тем, чтобы увязать наши представления с реальностью.

Мы, горожане, не знаем деревни, не знаем законов, по которым живет крестьянин. Ложь и предрассудки заменяют нам знания о сельской жизни и передаются из поколения в поколение. И редкий случай, чтобы какой-нибудь потомственный или хотя бы недавний горожанин застыдился бы своего самодовольного незнания, своего пренебрежения к труду, к судьбе крестьянина. Само это незнание, само пренебрежение не замечается, и с течением времени не только не прозреваем мы, но, кажется, все сильнее порошит нам очи...

«Да уж теперь-то крестьянин сыт! — заявляют даже те наши интеллигенты, которые лет десять-пятнадцать назад считали себя приверженцами деревенской темы, были озабочены судьбой сельской России и до сих пор выписывают

журнал „Новый мир“. — Уж теперь-то наступил *сытый день крестьянина*», — говорят они, полагаясь, видимо, на очерки в журнале.

Отчего же только теперь? В нашем представлении *так-то* он всегда был сыт. С детства помню странный анекдот, злой, рассказанный кем-то у нас в семье, среди горожан. Будто бы в первую послевоенную денежную реформу крестьянин принес в сберкассу мешок денег — менять. Посчитали — рубля не хватает до ста тысяч. «Вот, черт возьми, не тот мешок прихватил. В том — точно сто», — подосадовал крестьянин.

Откуда у крестьянина в голодное время мешок денег? Только вместе с недоумением и запомнилась сама эта история, с ее, я бы сказал, сталинским взглядом на крестьянина: сколько ни драть, всегда есть что брать. Или нет, не столько недоумения в этом анекдоте, сколько надежды: если у крестьянина есть *мешок* денег, значит, в государстве все в порядке, значит, и за себя можно не беспокоиться, и страна проживет — значит, *есть где брать*, есть и что брать.

Пока жив человек, у него всегда есть что брать. Для нашего государства и вопроса такого нет: брать или не брать у крестьянина? Хоть и последнее — БРАТЬ! И как можно больше... Но как? И тут не один вопрос, но целая их цепочка, круг...

Как это может быть, чтобы и дорогостоящая космическая программа, и грандиозные, но малополезные хозяйственные начинания у нас в стране, и успешные военные действия в Эфиопии — все бы оплачивалось из скромного бюджета крестьянской семьи? Только ли крестьянская семья сейчас оплачивает политику партии и правительства? Каков вообще *механизм* эксплуатации трудящегося человека в условиях «развитого социализма»? В этом кругу и все крестьянские вопросы.

Марксов политэкономический анализ у нас не годится: классические законы капиталистического производства, законы открытого рынка для нас недействительны — ни того, ни другого у нас просто нет... Но вообще без рынка можно обойтись лишь в теоретических построениях советских политэкономов: человеческие потребности столь обширны и многообразны, что не могут уместиться ни в какие нормы, разрядки, ни в какие *сверху* спущенные планы. Вне планов и разрядок ищем мы живого *экономического отклика* на сам факт своего существования. И находим.

Чем дольше длится относительно спокойное время вне войны, революций и массовых репрессий, тем четче наша социально-экономическая система проявляется как чудовищных размеров и размахов *черный рынок*.

Черный рынок живет и развивается — у всех на виду и для всех очевидный. В границах его связей и отношений можно накормить страну картошкой или построить тепловоз, определить сына в университет или купить диплом агронома, отремонтировать трактор или найти место на «лимитном» московском кладбище. Все продается и все покупается вне планов и разнарядок. Ты — мне, я — тебе... Но кому достаются прибыли? Ни мне, ни тебе — мы-то никак из нищеты не выйдемся.

Иногда кажется, что черный рынок, — все это искусство дышать в петле запретов и ограничений, вся эта простодушная хитрость, этот кооператив нищих, — нами придуман, что мы тут обманули советскую власть: нам — колхоз, а мы приусадебное хозяйство; нам — дефицит и распределение по карточкам и талонам, а мы — взятку и товары через заднюю дверь; нам — постную пятницу в заводской столовой, а мы — кроликов разводить в городской квартире; нам — бесплатно плохого врача в конце длинной очереди больных, а мы — с подарком и без очереди к хорошему... Словчили? Дудки!

Когда надо, власти и приусадебное хозяйство прижмут запретами и налогами (так было!), и кроликов из городских квартир милиция повытрясет, и за подарки врачу сроки давать будут. Раз терпят, значит, всем выгодно. Раз терпят, значит, без этого и власти не удержаться. Нас тут отпустили слетка, чтоб вовсе не примерли, но на вожжах держат.

Черный рынок — не лазейка, не потайная дверца в стене, которую мы хитро пробили. Черный рынок — и лазейка, и сама стена.

При беглом взгляде кажется, что черный рынок существует побочно от плановой экономики, что в экономической жизни он явление второстепенное. Но нет! Посмотрев внимательнее, увидим, что как раз черный рынок составляет основу советской экономики, стержень, на котором крутится плано-разнарядочная хозяйственная постройка.

Черный рынок — это социалистический *механизм* власти и эксплуатации, сама суть нашей социально-экономической системы — именно он обозначился в последнее время.

Ценности, которые здесь циркулируют, поддерживают существующий политический и социальный порядок. Как

именно поддерживают? Как движется общество? Этого мы не поймем, пока сам черный рынок не понят.

Понять технологию тем более необходимо, что это и есть реальная *политэкономия социализма*. Иной экономической реальности при нынешних политических условиях мы не знаем. Да и возможна ли она? Запрет на частную инициативу порождает спекуляцию, коррупцию, тайную эксплуатацию, — это подтверждено всей шестидесятилетней историей нашего государства. И трудно предположить, что может быть как-то иначе, в какой бы стране ни был повторен советский эксперимент...

Но как раз понимать-то мы не вполне готовы. Советское общество по сути своей — совершенно небывалая в истории социально-экономическая система (какие бы аналогии ни приходили в голову исследователям), и для анализа здесь необходимы новый инструмент, новые понятия. У нас их пока нет. Поэтому мы вынуждены начать не столько с анализа, сколько с описания. Не столько с научного мышления, сколько с образного восприятия, с изложения личного опыта индивидуальной судьбы. Может быть, мне, журналисту, взяться за такую работу — между фельетоном и наукой — было несколько проще, чем кому-то из серьезных ученых.

С чего же начать? С чего мы *можем* начать? Есть лишь один сектор *черного рынка*, разговор о котором под угрозой всеобщего голода разрешен в последнее время и даже поощряется: приусадебное хозяйство крестьянина. Оно-то и интересует нас в первую очередь. С крестьянского двора и начнем...

1

27 марта 197... года я приехал в деревню в слепую метель. В тот же день, но без моего участия похоронили Аксиныю Егорьевну Ховрачеву. Я даже видел, как ее хоронят, а не пошел, — не понял, что похороны, не спросил, кто умер. Совсем рядом со мной промелькнул ее гроб, и я еще боковым зрением увидел сосновые доски, а понять, что это за доски и кто их несет, — не понял, не различил в плотном, косом снегопаде. Торопился домой, в тепло, — торопился уйти от метели. Подумал, плотники встретились. Мало ли кто строится, дом поправляет. Или вообще ничего не подумал... А провожатых за снегом и вовсе не увидел... Или увидел провожатых, но не увидел гроба: толпа и

толпа. Может, тихая свадьба такая, а может, селедку в магазин привезли. Метель гнала мимо чужих забот.

Только вечером пришли, рассказали, кому и какой дом построили, что за тихую свадьбу сыграли...

Я познакомился с Аксиньей Егорьевной Ховрачевой, а заодно и с мужем ее Александром Авдеечем по прозвищу Кутек много лет назад, когда купил в деревне по соседству с ними избу и впервые приехал на несколько месяцев, чтобы ловить рыбу, ходить за грибами и писать диссертацию о мелодике русского стиха.

Самое первое знакомство состоялось в дождливый осенний день, — для меня на всю жизнь особенный, как непонятный, и до сих пор непонятый, вязкий кошмар, а для Аксиньи Егорьевны, может, и не единственный такой, — когда пьяный Кутек, избив ее до сумеречного сознания, за волосы выволок во двор и свободной рукой стал шарить вокруг — топор искал, казнить собирался на виду у четырех оцепеневших дочерей.

Убил бы, если бы не помешали? Кутек-то вряд ли убил бы — очень уж он жалкий и тщедушный мужичишка был. Он и не думал убивать — так, тешился... Однако пьяного кто разберет? Сама же Аксинья Егорьевна рассказывала: за год до моего первого приезда в Гати один тоже потешился пьяный, троих детей своих сжег, ночью со всех углов избу запаливал. Жену его спасли, в огонь обратно не пустили, и тогда она, вроде еще не успев обезуметь, призналась, что сама во всем виновата: это Господь наказал ее за *аборты*. А на аборты она ездила из-за того, что от пьяного последний ребенок родился совсем *простой*, — его на третьем году жизни в больницу сдали. Он-то один и уцелел.

— Сколько ей нужно было простых родить, чтобы те трое жить остались? — спросила Аксинья Егорьевна...

Впрочем, на моей памяти это был единственный случай, чтобы она всерьез роптала.

В течение многих лет мы прожили соседями с Аксиньей Егорьевной, двор ко двору. Я видел нечастые дни ее радости, вроде того, когда вышла замуж третья дочь, глухонемая Рая, — вышла за хорошего, скромного парня, работающего милиционером в Рязани. Я видел, как гордо ходила Аксинья Егорьевна по селу, показывая родным и знакомым диплом, полученный младшей дочерью Анной, — та выучилась на зубного техника. Я видел, как отказалась она проехать по сельской улице на новеньком «Москвиче», когда единственный раз приехал навестить ее сын — строитель-монтажник, работающий не то в Египте, не то еще где-то в Африке. В машину не полезла, застыдилась чего-то, но

пока машина из конца в конец ездил по селу, с улицы не уходила — от соседей и от прохожих принимала поздравления...

Я слышал, как убивалась, как причитала она, когда умер ее Александр Авдеич. На кладбище вроде дочерью оберегалась, а все же у них на руках лишилась сознания от горя. А дочери плакали сдержанно. Так ли они любили покойного, как мать любила? Так ли жалели его, как она жалела?

Но сколько ни была Аксиныя Егорьевна щедра душой в радости и в горе, безропотна в обиде и страдании, больше этих свойств души меня поражал ее многообразный и великий хозяйственный талант, ее безграничная трудоспособность, умение годами работать без отдыха.

Лет двадцать назад, когда в Гати провели электричество, кто-то из взрослых дочерей прислал ей счетчик. Счетчик приладили, и оказалось, что за все лето Аксиныя Егорьевна нажгла электричества на 8 копеек. Она вставала с первым светом и ложилась, едва начинало темнеть. Усталость от чрезмерного труда не пускала празднично засиживаться вечерами, а были все труды вне дома — в колхозе, на своем приусадебном участке, на лесных полянах в сенокос... Не знаю, как зимой, но начиная с мая месяца и по октябрь вечерний свет нужен был Аксиные Егорьевне только затем, чтобы не в темноте постель разобрать да кошке налить молока в блюдце, не пролить мимо трясушимися от усталости руками.

Из года в год хозяйственные усилия Ховрачевых заставляли меня все с большим уважением относиться к тому искусству, с которым крестьянская семья избегала нищего рабства, хотя все, что ей осталось для хозяйствования — крошечный участок приусадебной земли, — и скот держать почти невозможно из-за бескормицы, и десятилетиями не было ни колхозных, ни каких других заработков на стороне. Как бы то ни было, но Ховрачевы оставались семьей крестьянской, то есть такой, которая своим трудом на своей земле — какая она ни есть — и себя кормит, и весь народ. И Аксиныя Егорьевна слыла главой семьи.

Двадцать лет без мужа она тянула все хозяйство и привыкла надеяться только на себя. Да и раньше, когда муж ее был жив, от него толку выходило немного — смолоду пьянствовал, а к старости все болел. Так что не двадцать, а считай, все сорок пять лет она одна всех кормила, одевала, ставила на ноги. И дети все выросли, все выучились, каждый в жизни по-своему устроился. И всех Аксиныя

Егорьевна кормила не с каких-то волшебных доходов и уж, конечно, не от колхозных хлебов, которых для нее просто никогда не было, а со своего огорода, с сорока соток земли — от черемухи у одного забора до яблони у другого, да вдоль восемьдесят шагов — все, что оставили власти крестьянской семье после коллективизации. Тут она работала сама и заставляла работать детей. Это было ее поле, ее надежда, а больше надеяться было не на что — только на себя и на эту землю. Что бы стала она делать без этого огорода с восемью ртами в семье? Ничего. Без этого огорода прожить было нельзя.

Пока есть своя земля и дом на земле, она самостоятельная хозяйка — как работает, так и живет... Земля-то, конечно, не ее, а остается колхозной или даже государственной, и только за отработку в колхозе полагается, но Ховрачева Аксинья и в колхозе навечно на Доске почета оставлена, всюду труженица была.

О том, как она работала в колхозе, я слышал чуть ли не легенды. Да я и сам хорошо помню те времена — лет пятнадцать назад, — когда она еще ходила на работу. Ей тогда уже было за шестьдесят... Каждое утро перед домом останавливался бригадир и, не вылезая из своей брички, кричал:

— Окся! Выходи сор рвать!

Это «сор рвать» он кричал как одно слов «сорвать», и получалось, что он зовет Аксинью Егорьевну для какой-то пустяшной работы: где-то что-то надо сорвать — цветок ли, травинку ли — и можно возвращаться. На самом деле речь шла о прополке, об одной из самых трудных и нудных работ в полеводстве: на солнцепеке, согнувшись, постоянно на ногах, постоянно в движении, и не видишь, где остановишься, поскольку вручную прополоть все колхозные поля невозможно — пока до крайней межи дойдешь, на первой все как прежде выросло.

Вечером природа трудолюбия в колхозном поле становилась совершенно понятна: Аксинья Егорьевна возвращалась и везла с собой тележку, полную сорной травы. Кроме начисленных трудовней, которые неизвестно когда и как оплатятся («да и оплатятся ли нынешний год?»), трава была главным призом за работу: сорняки разрешалось брать себе, — жесткое сено годилось на корм скоту, и я думаю, что и не требовался интерес более привлекательный, — с сеном всегда было трудно.

Да и вообще, главным в колхозных заработках были не деньги — на трудодень только последние лет десять стали платить хоть какими-то деньгами, — и даже не

натура, хотя три-четыре мешка ржи (случавшаяся иногда годовая плата за каторжный крестьянский труд) имели для семьи большое значение, — главным было право на покупку соломы и сена для личного скота, право на сенокос и, наконец, самое главное право — право на приусадебный участок, на полгектара земли, *право на приусадебное крестьянское хозяйство*. Случалось, что в колхозе работали совсем задаром, без денег и без натуроплаты, но зато правами своими пользовались, ибо иначе нельзя было реализовать другое, не властями данное право — *право на жизнь*.

«Если у вас в артели нет еще изобилия продуктов, и вы не можете дать отдельным колхозникам, их семьям все, что им нужно, то колхоз не может взять на себя, чтобы и общественные нужды удовлетворялись, и личные», — учил товарищ Сталин в 1935 году*.

Крестьяне составляли в те годы три четверти населения страны, но крестьянское — не общественное. Крестьянская семья как бы вне общества. Ее нужды не заслуживают внимания. «Колхоз не может взять на себя...»

Благополучие или хотя бы только сытость крестьянской семьи вообще казались властям совершенно необязательным, а может быть, даже и вредным излишком, и потому колхозник не только лишался всего, что производилось его трудом в колхозе, но и приусадебный участок, приусадебное хозяйство, кормившее семью, было жестоко обложено. Каждый крестьянский двор, независимо от состава семьи, сдавал обязательные поставки молока, мяса, яиц, шерсти, кож. Да еще и денежный налог — кто сто рублей, а кто и больше. Этот денежный налог был удивительным изобретением советского фиска: налог все на те же сданные государству продукты, *налог на налог*.

Спрашивали жестоко: «...по истечении срока уплаты налога опись имущества недоимщика и дело о неуплате налога передается в народный суд, по решению которого производится изъятие имущества неплательщика в количестве, необходимом для погашения недоимок...»**

Но где же взять деньги, если колхоз ничего не платит? А все там же искать их, в приусадебном хозяйстве: продавать продукты, даже если сами голодны, — на рынок!

* Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Стеногр. отчет, стр.1.

** «Закон о сельскохозяйственном налоге» от 1 сентября 1939 г., ст.34-б.

Но как ни беспросветна жизнь Аксиньи Егорьевны и ее односельчан была в первое десятилетие после коллективизации, как ни нище было русское крестьянство к 1941 году (а среднерусским крестьянам, сидящим на скудных почвах, всегда жилось особенно тяжело), как ни лишен всякого смысла становился крестьянский труд на земле, — война добавила страданий и разорила крестьянство вконец. Первые пятнадцать послевоенных лет были такими, что если не каждый год скажешь: *голод*, — то все-таки и без сурового недоедания ни одного года не прожито... Но все эти годы оброчные поборы со двора колхозника продолжались, и проплывали мимо голодных детских глаз и молоко, и мясо, и яйца. Крестьянские дети — забота не общественная.

Оброк этот номинально был отменен в 1958 году. Но местным властям сразу же «довели» план по закупкам все тех же продуктов, от выполнения плана зависело служебное благополучие работников сельсоветов, и они всеми способами, вплоть до прямого физического насилия, заставляли крестьянина сдавать, — номинально же, продавать по самым мизерным ценам, — столько, сколько было на деревню разнаряжено, — и продавали, куда денешься? Ведь сунешься уехать — не пустят, паспорта не дадут. А без паспорта нигде ни жить, ни работать не примут. Крестьянин был «крепок» колхозу своему.

Даровой труд в колхозе, денежный налог, натуральный налог. Аксинья Егорьевна хорошо помнила, чем заплачено за право на приусадебное хозяйство, за право жить. Помнила, а вот рассказать никогда не могла, хоть и пыталась как-то, — плакать начинала: все-таки шестеро малых в доме было. Голодных детей и через двадцать лет, и через тридцать вспоминать страшно. Даже если, Бог дал, никто из них не умер.

Теперь Аксинье Егорьевне не надо больше подтверждать свои права: у нее пенсия — двадцать рублей от государства и десять от колхоза. Это, правда, ниже самой низкой пенсии городского жителя, — что-то около того, что инвалиду с детства дается, — но зато огород остается за колхозным пенсионером, покуда тот живет в деревне и покуда вообще живет еще. И если на старости лет с огородом справишься, — весь рыночный доход — твой. Много ли ей одной надо?

Младшая дочь звала Аксинью Егорьевну в город и даже настоятельно просила получить паспорт, выписаться и приехать, поскольку мужу обещали свою квартиру, и приезд матери, а там, может быть, и скорая смерть ее — человек

все-таки немолодой — сулили лишние метры жилплощади. Но как ни привыкла Аксинья Егорьевна в последние годы бывать в городе, как ни жалела дочь, мысль, что останется без своих сорока соток земли, где она из года в год сажала, а потом и продавала картошку и еще на маленьких грядках огурцы, помидоры и все необходимые овощи, — эта мысль выводила ее куда-то в сироты и казалась ей совершенно невозможной.

Поэтому я не удивился, когда в какой-то из моих приездов в деревню Аксинья Егорьевна пришла с чистым листом бумаги, с конвертом и еще одним клочком бумаги, на котором был записан адрес дочери:

— Напиши им, что летом я точно не приеду, — сказала она, — пусть не обижаются. Скажи, земля не пускает. Куда я от своей картошки поеду? Нынче, говорят, за килограмм по десять копеек в сельпо принимать будут. Да и им самим в городе картошка нужна будет, — поди, подорожает там-то...

Она молча сидела, пока я писал, молча выслушала, когда я перечитал письмо вслух, но, принимая уже готовый, заклеенный конверт, вдруг невпопад спросила:

— Кто же нас такой жизнью каторжной наказал? — так просто спросила, словно я и мог, и обязан был так же просто, в нескольких словах и ответить...

Но нет, не ради ответа спросила. Да и не вопрос это был, вздохнул человек от усталости...

2

От Гатей, деревни, где жила Аксинья Егорьевна, до Посадов всего-то километров двадцать по прямой, но если Гати — с первого взгляда — деревня бедная, деревянная, под шиферной, щепной, а кое-где и под соломенной крышей, то в Посадах и бревенчатых избушек, кажется, ни одной не осталось — все каменной кладки дома, просторные по сельским понятиям, в две-три комнаты, с большими окнами, с огромными дачными террасами и непременно под оцинкованной крышей. Весной вся эта роскошь волшебным образом исчезает, делается невидимой за бело-розовым дымом цветущих садов, а осенью наоборот: белокаменные стены и зеркальные крыши далеко видны на черных от дождя речных берегах. Откуда такое богатство на нищих просторах?

Никакой тайны, никакого волшебства. В Посадах все доходы от приусадебных участков. В огороде здесь не

сажают ни картошку, ни лук, ни капусту, а одни только ранние огурцы. В июне урожай созревает и на попутных машинах отправляется на рынки Москвы, Рязани, Пензы, а бывает, и еще дальше, благо село расположено рядом с шоссе. На те же рынки ближе к осени везут яблоки...

Имея в своем распоряжении даже самый крошечный участок земли, крестьянин всегда будет стремиться вести не натуральное хозяйство, но товарное, рыночное, поскольку потребности его семьи значительно шире потребностей в простейших продуктах питания, которые можно получить в своем хозяйстве.

В хорошие годы один приусадебный участок в Посадах дает до пяти тысяч рублей...

Наша знакомая Аксинья Егорьевна всякий раз, едуци из города, где гостила у дочери, мимо Посадов, так бывала поражена разницей в доходах, что воображение доводило эту разницу и вовсе до нереальной величины:

— Как люди живут! Я как-то зашла к одним напиться, — чего у них только нету! Даже через дверь видать. Подумай, телевизор в сенях стоит — это уж значит, что они его совсем не ценят. «Этот, говорит, мы смотрим, когда большой сломается». А большой у них в горнице показывает... Откуда ж эти деньги берутся? Мы вон тоже работали, а всю жизнь в деревянном срубе прожили, словно в колодце просидели.

— Знаю я этот дом, — возразил было я, — там хозяин подрабатывает починкой чужих телевизоров. Должно быть, в сенях чей-нибудь сломанный стоял.

Аксинья Егорьевна промолчала, — она спорить не любила, но видно было, что она осталась при своем мнении о размерах богатства посадских крестьян, исчисленного в телевизорах...

В другой раз где-то по дороге она увидела огород, сплошь занятый капустой, — и это поразило ее:

— Зачем столько? Или нерусские — одну капусту едят?

— Может быть, на продажу?

— Да чего уж там продавать? Капуста по тридцать копеек кочан. Ну, пусть две тысячи кочанов. Шестьсот рублей весь доход. Да мы иной год и на картошке столько-то выручали, да еще себе и скотине на всю зиму хватало. Так ведь картошка! А с капустой возись: весной поливай, летом червяков обирай... Нет, невыгодно...

Аксинья Егорьевна хоть и была неграмотна, и в колхозе, конечно, никаких иных работ, кроме работы руками, ей не доверяли, но меня всегда удивляло, как точно она считает и высчитывает в своих повседневных делах.

—Постой! А может быть, они ее квашеную продают? — Эта новая идея совершенно повернула ход ее рассуждений. — Ну да, квасят! А за квашеную капусту на базаре и по пятьдесят и по восемьдесят копеек ломают. А перед праздником и по рублю кило. Да она и тяжелее, квашеная-то: в ней соль из воздуха воду берет. Вот ведь чем торгуют! Вот они где, деньги-то! Тут уж доход на тысячи считай. А велик ли труд заквасить капусту? Любая старуха справится...

Все эти открытия сильно взволновали ее, и я даже подумал, не займется ли моя соседка на старости лет производством квашеной капусты, чтобы иметь возможность купить большой телевизор.

Я давно знал за ней постоянную готовность пустить в оборот единственный наличный капитал — собственные рабочие руки. Это не раз давало ей возможность выгодно продать картошку или задаром нанести с молзавода — на поило скотине или даже на постный сыр для себя самой — обрата.

Кажется, и теперь она была близка к тому, чтобы войти в дело, такая идея приходила ей в голову, поскольку на следующий день она была несколько опечалена.

— О капусте-то говорили, — напонила она, — так нам капуста не годится. Первое, что мы от шоссе далеко: капусту хорошо зимой продавать, а у нас как заметет, так из сугробов не вылезешь. Если какой шофер согласится, так на него все капустные деньги и уйдут. Да хоть бы и была дорога, все равно плохо. Для этого дела свой инструмент нужен: ручную столько не нашинкуешь. Бочки нужны. Одних бочек штук девять — меньше невыгодно. Для бочек большой погреб нужен... Ну, и еще привычка нужна. Без привычки столько капусты не вырастишь — или червяк сожрет, или еще что-то случится... Те-то, поди, не первый год капусту сажают, привыкли...

Те привыкли, иные не привыкли. Объяснение не такое уж наивное, как кажется на первый взгляд. Привычка, а другими словами, традиция и опыт, долгосрочное из года в год приложение невеликого крестьянского капитала — труда и знаний — к одному и тому же делу в приусадебном хозяйстве имеет особое значение: сельский житель напрасно рисковать не станет и никаких новшеств на приусадебном участке вводить от себя не будет — слишком дорог ему урожай *со своей* земли.

Впрочем, я уверен, что не одной только Аксинье Егорьевне пришла в голову идея выйти на рынок с квашеной капустой или еще с каким-нибудь товаром, более доходным,

чем традиционная картошка. Но под неусыпным контролем государственной власти, не раз ужесточавшей свою политику по отношению к приусадебному хозяйству, нужно особо благоприятное стечение обстоятельств, особое доверие к обстоятельствам, чтобы решиться на хозяйственную инициативу. Крестьянин, хоть и цепок, когда дело отлажено, но осторожен.

Эта, казалось бы, побочная для колхоза, но основная для колхозника крестьянская жизнь требует значительно более ответственного подхода к делу, чем в отработочном колхозно-совхозном хозяйстве, где что ни прикажут сверху, какую глупость ни спустят, — все исполняется вмиг, на пользу ли, во вред ли урожаю, — никого не заботит... Здесь же крестьянину принадлежат и инициатива, и капитал, и средства труда, и весь конечный продукт. Здесь он — хозяин. Здесь он — человек. Здесь он как бы микромодель того хозяина, каким мог бы стать, если бы не отобрали у него в 30-м году скот и землю, оставив с игрушечным приусадебным хозяйством.

Крестьяне зарабатывают возможность жить хоть как-то сносно, поскольку могут часть своего рабочего времени, часть своих сил реализовать в иной хозяйственной системе — не в гласно-социалистической, разрядочной, а в рыночной.

Крестьянский рынок сужен до размеров базарной площади, исковеркан феодальными отношениями личной зависимости колхозника от административной власти, имеет вообще вид придатка к тому главному базару, где торгуют партийными должностями и демагогическими ценностями, вроде посулов всеобщего народного блага и скорого торжества идей коммунизма... И все-таки это рынок и ничто иное. Рынок, без которого социалистическое государство обойтись не может.

При первом знакомстве цифры потрясают: на приусадебных участках, по разным подсчетам занимающих лишь *два с половиной* или даже *полтора* процента всех посевных площадей страны, в крестьянских хозяйствах, обладающих лишь *одной десятой* всех производственных фондов сельского хозяйства, производится *треть всего* сельскохозяйственного продукта. Таковы данные официальной статистики*.

Но официальная статистика молчит о том, что не менее трети сельскохозяйственной продукции, произведенной в

* Г.И.Шмелев. Личное подсобное хозяйство и его связи с общественным производством. — М., 1971. — с.11.

колхозах и совхозах, ежегодно гибнет из-за потерь в поле, при транспортировке, при складировании, при первичной переработке. По некоторым данным, например, гибнет до половины всего картофеля...

Официальная статистика, исчисляя валовой продукт в стоимостном выражении, конечно же, молчит о том, что государственные закупочные цены на зерновые, которые производятся, в основном, колхозами и совхозами, значительно завышены, а цены на мясо, овощи, картофель, то есть на продукты, которые наиболее широко распространены в крестьянских хозяйствах, — занижены.

Официальная статистика молчит об этом, поскольку в противном случае пришлось бы признать, что в совокупном объеме *потребленной* сельскохозяйственной продукции доля приусадебных крестьянских хозяйств с их полутора-двумя процентами пахотной земли намного больше половины. Да что там, в прибалтийских республиках доля приусадебных хозяйств в совокупном сельскохозяйственном продукте и по официальной статистике составляет почти половину: в Литве, например, — 43,6%. В то же время «в семьях колхозников Литовской ССР в 1971 году 50,5% общих доходов было получено из личного подсобного хозяйства»*.

В этих цифрах — позор советской хозяйственной системы и несчастье крестьян, чья инициатива, чей талант скованы размерами приусадебного огорода и огромным количеством административных запретов... Несчастье крестьянское, но и надежда.

Продукция крестьянских хозяйств кормит всех сельских жителей — 40% населения. Но мало этого. Даже согласно официальной статистике здесь производится половина всего товарного картофеля, не менее трети товарного количества яиц, треть товарного мяса, — то есть продукты, которые продаются и накормят значительную часть городского населения. Нет, без крестьянских хозяйств социалистическая экономика и дня не проживет.

Оказалось, что экономику невозможно зарегулировать полностью. Экономика — такой механизм, где без связи с маховым колесом рыночных отношений, раскрученным всей историей человечества, скрипят и замирают шестерни планово-бюрократической хозяйственной системы. Рынок, рынок в основе экономики. Уничтожить его значит унич-

* А.-И.С.Вилимавичус. Личное подсобное хозяйство при социализме, его место, роль и тенденции развития: Автореферат диссертации. — 1976. — с.3, 19.

тожить народное хозяйство страны. Это хорошо понимал Сталин, когда выгонял крестьянина работать в приусадебный огород: «...колхоз не может взять на себя...» Покуда живы рыночные отношения, к ним можно и социалистическую экономику пристроить.

Даже если это отношения подвластного государственной администрации *черного рынка*. Как раз именно черный рынок властям и нужен... Но об этом разговор впереди, пока же посмотрим, каким образом крестьянин со своего крошечного огорода кормит страну.

Почему именно Посады богатеют на ранних овощах? Во-первых, село расположено удобно: прежде река, а теперь шоссе придвигают здешние огороды прямо к городскому рынку. С грядки — на прилавок, и без лишней перевалки. Во-вторых, здесь «жирная» земля, черноземный остров в море супесей и подзолов, — поэтому выше урожаи, поэтому овощи раньше созревают, поэтому требуют меньше полива. Кто может с ними конкурировать? Из всех удобно расположенных сел в Посадах лучшая земля...

Крестьяне, даже и не знакомые с учебником политэкономии, давно уже поняли рыночные механизмы и применяют их на практике.

И конечно, не только в Средней России, но прежде всего в Грузии, в автономных республиках Северного Кавказа, в республиках Прибалтики, в Белоруссии, где в совокупный доход крестьянской семьи приусадебное хозяйство дает больше половины*.

«Курская картошка путешествует на рынки Донбасса; среднеазиатские и закавказские фрукты — на рынки городов Центральной России; украинский лук — в Москву, Горький, Тулу и т.п. Особое место в снабжении московских рынков продукцией личных подсобных хозяйств занимают Рязанская и Липецкая области»**.

Возможность самому и, как кажется, с максимальной выгодой приложить свой труд, толкает людей поистине на великие земледельческие подвиги. Чего стоят одни только клубничные хозяйства в пригородных зонах больших городов, где на нескольких сотых, если вообще не тысячных долях гектара получают урожай, а значит, и доходы, которые даже нашей Аксинье Егорьевне не снились при всей живости ее хозяйственного воображения.

* В.И.Шубкин. Социологические опыты. — М., 1970. — с.78.

** Г.И.Шмелев. Личное подсобное хозяйство и его связи с общественным производством. — М., 1971. — с.11.

Писатель В.Солоухин разглядел напористую силу этого явления:

«Под конец нашей цветочной экскурсии меня привели в помещение, называемое теплицей...

— Четырнадцать квадратных метров, — пояснил хозяин. — Искусственный климат. Урожай по желанию, в любое время года. Но я приурочиваю к первому января.

— Огурцы или помидоры? Оно, конечно, к новогоднему столу свежий огурчик — цены нет. То же и помидор...

— Ну что вы! Огурцы — это грубо и дешево...

— Тогда о каком новогоднем урожае вы говорите?

— Цветы. Тюльпаны. Вот о каком урожае. По два, по три рубля за каждый цветок. Эти четырнадцать метров приносят мне пять тысяч рублей дохода*.

Два рубля за цветок — дорого или дешево? А рубль-полтора за килограмм картофеля на рынках Средней Азии? А рубль-два за лимон на базаре Новосибирска? Дорого, очень дорого!

Но такова рыночная цена, и вряд ли найдется альтруист, который станет просить за лимоны по гривеннику. Когда действуют рыночные отношения, добрая душа и высокая нравственность не помогут, у рынка свои законы, причем законы рынка имеют объективный характер.

Поэтому наивно ругать за дороговизну какого-нибудь кавказца, продающего персики или мандарины. У рыночного торговца нет души. Он фигура чисто экономическая. За ним — *весь советский хозяйственный строй*...

Нет, не крестьянин возгоняет цены на рынке. Тюльпаны — или ранние огурцы, или первые майские помидоры, или всегда и всем необходимое мясо — стоят на рынке дорого лишь потому, что производятся индивидуальным способом и в малых количествах. Развернуть их производство более широко крестьянин не может, размеры его хозяйства административно ограничены, никакая кооперация не разрешена...

Может быгь, *идеологические условности* тормозят и развитие экономики всей страны? Частная инициатива — запрет! Рыночные отношения — запрет! Стремление к прибыли — запрет! Это ничего, что хлеб везем через один океан — из Америки, а мясо — через другой, из Новой Зеландии. Зато экономика наша щедро омывается священными идеями Маркса-Энгельса-Ленина... (чуть было не сказал — Сталина, но теперь не принято, хотя, по существу, чего же стыдиться?).

* В.Солоухин. Трава. — «Наука и жизнь», 1972, № 10.

Можно, конечно, предположить, что все действующие запреты — печальная ошибка, условности, недоразумение, которое само собой рассеется по мере того, как будет увеличиваться разрыв между потребностями населения в продуктах питания и низкой производительностью крестьянского труда, хилыми возможностями социалистического сельского хозяйства эти потребности удовлетворить.

Но не будем выдавать желаемое за действительное. Запреты — не случайность и не условность. Они инструмент *правлящей структуры*, инструмент партийной бюрократии — инструмент охраны существующих государственных порядков. И установлены все запреты в стремлении оградить государство партийных чиновников от посягательств, скажем, со стороны экономически окрепшего крестьянства или со стороны политически осознавшей себя технотруктуры.

Сталин понимал это лучше других. И хотя сегодняшняя партийная верхушка старается делать вид, что не замечает его тени, именно он среди прочих классиков марксизма-ленинизма ближе к нынешней политике правящего класса: «Верно ли, что центральную идею пятилетнего плана в советской стране составляет рост производительности труда? — спрашивал он в своей знаменитой речи против Бухарина. — Нет, не верно. Нам нужен не всякий рост производительности труда. Нам нужен определенный рост производительности народного труда, а именно — такой рост, который обеспечивает систематический перевес социалистического (то есть не рыночного, а напрямую подвластного партийной бюрократии, объективно работающего на укрепление ее власти. — Л.Т.) сектора народного хозяйства над сектором капиталистическим»*.

Именно запреты составляют суть власти, содержание деятельности партийной бюрократии: она обойдется без хлебного изобилия в стране, ей не нужна торговая прибыль, не обязательна всесторонне и гармонично развитая экономика — ей нужна только власть, безграничное изобилие власти, прибыль в виде увеличения власти, развитая система получения все новой и новой власти по мере продвижения в партийной иерархии.

Поскольку партийная бюрократия, как некогда — вырождающийся класс феодальных землевладельцев, никоим образом не участвует в общем потоке производства материальных и духовных ценностей, который и зовется прогрессом общества, у нее остается только одна возмож-

* И.В.Сталин. Соч., т.12, стр.79.

ность не быть смытой этим потоком: возможность установить строгую систему запретов, ограничений, «табу». И все «мероприятия партии и правительства в области экономики», которые объявляются каждый раз как великий дар народу, есть не что иное, как робкое лавирование партийной бюрократии среди ею же установленных плотин и барьеров — лавируют, чтобы вовсе не утонуть.

Но *черный рынок* как раз ничем и не угрожает стабильности нынешнего государства. Строго говоря, он ему целиком и полностью подконтролен, а потому — выгоден. Колхозная система с самого начала и задумывалась как система черного рынка, и сфера его значительно шире базальной площади, — это мы сразу увидим, вновь обратившись к Сталину:

«И если у вас в артели нет еще изобилия продуктов, и вы не можете дать отдельным колхозникам, их семьям все, что им нужно, то колхоз не может взять на себя, чтобы и общественные нужды удовлетворять, и личные. Тогда лучше сказать прямо, что вот такая-то область работы — общественная, а такая-то — личная. Лучше допустить прямо, открыто и честно, что у колхозного двора должно быть свое личное хозяйство, небольшое, но личное. Лучше исходить из того, что есть артельное хозяйство, общественное, большое, крупное, решающее, необходимое для удовлетворения общественных нужд, и есть наряду с ним небольшое личное хозяйство, необходимое для удовлетворения личных нужд колхозника»*.

Добрый Сталин, который, как видим, разрешил крестьянской семье не умирать с голоду — в тридцатых годах, как, впрочем, и добрый Брежнев, который настойчиво подталкивает крестьян к интенсификации труда на приусадебных хозяйствах — в семидесятых; — не уточняют, конечно, какую часть суток крестьянин должен отдать «личному хозяйству». Ясно, что лишь ту, что остается от трудов в колхозе...

Вот где начинается «*черный рынок*»! Здесь, а не у базарных ворот.

Он начинается с того, что крестьянина *вынуждают* продавать обществу свой *сверхурочный* труд, тогда как его труд в колхозе попросту отнимается задаром или почти задаром, без удовлетворения элементарных нужд крестьянской семьи. Вот где самая главная «купля-продажа» на

* Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Стенографический отчет. — 1935. — с.1.

черном рынке: не морковка продается и не петрушка, но труд и жизнь крестьянина...

Но кто же здесь покупатель?

3

Колхозная, гармоничная система сельского хозяйства удобна правящей структуре и всемерно поддерживается ею как идеальная система эксплуатации крестьянства, поддерживается целиком, включая институт приусадебного хозяйства...

Впрочем, уместно ли, размышляя о приусадебном хозяйстве, говорить об *эксплуатации*? Ведь здесь крестьянин работает на *себя*: сколько в огороде ни вырастит, сколько в загороде ни выкормит, все ему, никто теперь не отберет. Работай, живи, пользуйся...

И все-таки я знавал человека, который по доброй воле решил отказаться от своего огорода. Да не где-нибудь, а в самих «огуречных» Посадах, которым завидуют окрестные деревни и села. В конторе тамошнего колхоза мне показали такой документ:

«В правление колхоза
„Счастливая жизнь“
от механизатора Тюкина
Гаврилы Ивановича

Заявление

Прошу отобрать у нашей семьи индивидуальный огород и предоставить нам с женой возможность зарабатывать в колхозе дополнительно еще три тысячи рублей, которые мы ежегодно выручаем на базаре от продажи ранних огурцов. Моя просьба вызвана тем, что вчера, возвращаясь с работы на ферме, моя жена, Тюкина Анна (1951 г. рожд.), увидела, что перед ней по дороге катятся цветные шары, — наработалась, значит. Когда жена остановилась, шары исчезли, но когда пошла дальше, шары опять покатались. Справку от фельдшера прилагаю.

В случае, если мою просьбу выполнить нельзя, я не разрешу моей жене ходить на ферму, где она работает дояркой и получает редко больше ста рублей в месяц. Пусть уж тогда одними огурцами занимается на приусадебном участке да за детишками смотрит...

Тюкин».

Хитрый Тюкин рассчитал безошибочно: приусадебный участок у него, конечно, не отобрали. Деньги, которые жена приносила с фермы, никакого серьезного значения в бюджете семьи не имели, — по крайней мере, старания в «огуречном деле» дадут значительно больше доходов. Что до участия в колхозном производстве, которое, как мы знаем, одно только и дает право иметь приусадебный огород, — то Тюкин полагал, что его собственная доля в колхозных трудах достаточно велика, чтобы не жертвовать здоровьем жены. Он и сам-то и в колхозе, и дома попевал на последнем дыхании...

Радуюсь доходам крестьянина от своего приусадебного хозяйства, подумаем: если в индустриально развитой стране здоровому человеку приходится работать на пределе физических возможностей (иначе не прокормить семью), не значит ли это, что *прибавочное* рабочее время растянуто за естественные, природой поставленные границы? Это ли не эксплуатация сверх всякой меры?..

С самого начала сплошной коллективизации, с первых дней колхозной системы «пролетарское» государство оставило крестьянина на произвол судьбы. У крестьянина забирали все под метелку, нисколько не заботясь о том, остались ли ему хотя бы самые необходимые средства существования.

Какой садистический акт — сообщить с гордостью, как достижение (не к этому ли стремились?) на 18-м съезде партии: «Средняя выдача зерна в *зерновых районах* (курсив мой. — Л.Т.) на один колхозный двор поднялась с 61 пуда в 1933 году до 144 пудов в 1937 году*». И где! На Кубани, на Дону, в Новороссии — на богатейших землях, о которых более чем за сто лет до того еще Сисмонди было известно, что они способны не только досыта накормить живущий на них народ, но и дать такой урожай, «что русским хлебом было бы легко снабдить все рынки, которые оставит открытыми для русских и поляков цивилизованная Европа»**.

Шестьдесят один пуд на большую крестьянскую семью — голод, по двухсотграммовой тюремной пайке на человека в день. 144 пуда — едва возможное существование. Но то в зерновых районах.

А что там, в Рязани, Смоленске, Владимире, Вологде? Об этом ни слова. Будто вымерли земли. И близко к тому

* И.Сталин. Вопросы ленинизма. — М.: ГПИ, 1952. — с.626.

** Ж.Симон де Сисмонди. Новые начала политической экономии... — М., 1936. — с.269-270.

было... Голод в 39-м году. Голодные военные годы. Голод в 47-м. Голод в 49-м. В остальные годы травяных лепешек не пекли, но никогда не ели досыта. И еще в 1963 году в стране были тысячи колхозов, где крестьянин получал за свой труд в течение года 6–7 пудов зерна и 10–15 рублей деньгами*.

Государство отнимает продукт, произведенный крестьянином в колхозе, но делает это не напрямую, не грубо, не физическим нажимом, который мог бы вызвать нежелательное противодействие, но замаскировано, через систему закупочных цен. Создается видимость, что продукт не отнят, но куплен, а поскольку продукта произвел мало, постольку и не заработал ничего. Кого же винить?

Финансируя сельскохозяйственное производство, власти принимают позу доброго дядюшки — исключительная щедрость толкает его оплачивать хозяйство нерентабельное, себя не оправдывающее... Слушайте, слушайте! Возможно ли, чтобы люди признали нерентабельным кормить себя? Возможно ли где-нибудь еще, чтобы при нехватке мяса, молока, картофеля производство их было нерентабельным?

Весь этот голодный маскарад затеян с одной-единственной целью: скрыть очевидный факт, что значительная часть сельскохозяйственной продукции попросту *отнимается бесплатно*, поскольку существующие цены никоим образом не соответствуют ее реальной общественной стоимости...

Впрочем, предоставим слово специалистам, которые, решая задачи конкретной экономики, волей-неволей вынуждены если не до конца распутать клубок, то, по крайней мере, потянуть нитку дальше, чем обычно принято: «Расчеты, выполненные на базе учета затрат труда в отраслях материального производства и редукации труда на основе различий в общественно необходимых затратах труда на подготовку рабочей силы разной квалификации, показывают, что в сельском хозяйстве в 1969 году было произведено 29,4%, а в 1970 году — 28% национального дохода страны... Вместе с тем, доля сельского хозяйства в национальном доходе, рассчитанная нами, выше, чем учтенная текущими ценами по действующей методике ЦСУ СССР. Последняя составила в 1960 году 19,5% и в 1970 г. — 21,8%»**

То есть, по меньшей мере, стоимости, оцениваемые в 30 миллиардов рублей, отнимаются у сельского хозяйства

* См.: Коллектив колхозников. Социально-психологическое исследование. — М.: «Мысль», 1970. — с.110.

** А.П.Плотников. Отношения сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью и торговлей. — М., 1973. — с.51.

безвозмездно. Часть из них в демагогической обертке возвращается, но далеко не сполна и далеко не по тем адресам, какие назвали бы заинтересованные потребители товаров, испытывающие нехватку мяса, молочных продуктов, овощей, яиц. Так в течение многих лет животноводство получало столь мизерный возврат произведенных здесь стоимостей, что их едва хватало даже на простое воспроизводство. В результате и сегодня в стране катастрофическая нехватка мяса, от которой в первую очередь страдают рабочие промышленных предприятий, пролетариат, чьи интересы якобы положены в основу государственной политики.

Но если животноводство недополучает причитающейся ему по законам товарного производства доли продукта, то недополучают ее и крестьяне, занятые в колхозном животноводстве. Система норм и расценок так устроена, что значительная часть общественно необходимого труда остается неоплаченной.

Можно примерно подсчитать долю необходимого продукта, которая отнимается у крестьянина безвозмездно: подсчитанная разными способами, она составляет от 40 до 60 процентов стоимости воспроизводства рабочей силы со средним уровнем квалификации. А это значит, что от 60 до 40 процентов необходимого продукта крестьянин должен добирать в своем приусадебном хозяйстве.

Но оказывается, и этого сказать недостаточно. «Сравнение фактического минимального уровня доходов колхозной семьи с рассчитанным минимумом материальной обеспеченности показывает, что в 1960—1970 гг. минимальная оплата труда в колхозах с учетом всех других источников семейных доходов (курсив мой. — Л.Т.) обеспечивала воспроизводство рабочей силы на 80—85% от уровня возмещения затрат простого труда в промышленности»*.

Вот и вспомним те тысячи, которые крестьянин получает, реализуя продукты приусадебного хозяйства. Где они? Их едва хватает взамен тех денег, что недоданы в колхозе, что отняты государством.

Ограбленное таким образом крестьянство, казалось бы, обречено было на деградацию и вымирание. Но инстинкт самосохранения силен. До смерти и котенка утопить не просто, а человек-то, люди будут сопротивляться до

* М.И.Сидорова. Возмещение необходимых затрат и формирование фонда воспроизводства рабочей силы в колхозах. — М., 1972. — с.187.

последнего. На это, впрочем, советская экономическая политика и рассчитана...

И сопротивлялись, учились жить с сорока, и с пятнадцати соток, и с пятнадцати метров земли. Выучились. Живут, карабкаются. До цветных шаров в глазах. Лишенные необходимого продукта в колхозе, добывают его в приусадебном хозяйстве.

Но обратим внимание еще и на то, что, ограбив крестьянина в колхозе, выжав из него соки в своем плановом, глас.о-социалистическом тоннеле, власти отпускают его на поправку в систему рыночных отношений. Отпускать-то отпускают, но «на поводке», ограничив экономический маневр целым рядом запретов и табу.

Минимальный размер земельного участка и связь его аренды с отработкой в колхозе или совхозе, строгий регламент на фураж, отсутствие рынка сельскохозяйственного инвентаря, запреты на интенсивное использование земли, строгий запрет на частные товарищества и кооперативные — все это не дает крестьянину сделаться независимым хозяином. Этот черный мешок запретов мешает рынку развернуться в полную силу, мешает производству напрямую связаться с потребительским спросом. Черный рынок остается *под рукой* административной власти, которая диктует жесткие условия постоянной эксплуатации крестьянина в колхозе, совхозе и в приусадебном участке.

Но в то же время власти не могут, не хотят, боятся до конца пролетаризировать крестьянина, сделать его лишь наемным рабочим. В конце шестидесятых годов в Латвии местные партийные органы, видимо, сдвинутые несколько в европейскую сторону от центрально-русских методов хозяйствования, распорядились приплачивать колхозникам за отказ от своих участков. Немного, всего по 300–400 рублей в год, но здесь важна не сумма, а тенденция*.

Вроде бы все логично: колхоз получает дополнительную землю, увеличивает свои доходы и какие-то суммы из них платит тем, кто от этой земли отказался...

Но нет, не нужны властям ни эта земля, ни эти доходы, которые, впрочем, будут не будут, еще неизвестно. Властям не нужен сельский пролетарий — власть партийной бюрократии не умеет распорядиться его трудом, не умеет создавать такие условия труда, чтобы, получая необходимый продукт в виде зарплаты, он произвел достаточное для общества количество прибавочного продукта. Она не умеет организо-

* А. С. Стамкулов. Приусадебное землепользование. — Алма-Ата, 1972.

вать производство товаров, ни торговать, она может только *отнять* уже произведенное. А у пролетария что отнимешь? По крайней мере, куда меньше, чем у крестьянина.

Кроме того, промышленные рабочие обладают неотъемлемыми правами, которые в приложении к крестьянству весьма проблематичны: право на труд, право на отдых, право на жилье. Права, которые гарантируются в том или ином объеме в зависимости от уровня развития производительных сил...

И еще, конечно, право на восьмичасовой рабочий день, которое хоть и нарушается сплошь и рядом, но оно все-таки провозглашено, и нужно искать оправдание, чтобы его нарушить. В деревне же таких прав просто нет и быть не может... Крестьянин во многих случаях хотел бы стать пролетарием!

«По материалам социального обследования в колхозах Нечерноземной зоны затраты времени трудоспособного колхозника в артельном производстве составили 2600 часов, а колхозницы — 2380 против 2000 часов оптимально возможного времени в промышленности»*. Прибавим сюда примерно 1000 часов, которые затрачиваются каждым колхозником в приусадебном хозяйстве, и мы получим представление о реальных затратах рабочего времени в деревне.

Пролетария можно заставить работать и по десять и по двенадцать, и по четырнадцать часов в сутки, как это и делают на советских промышленных предприятиях в дни ежемесячных, ежеквартальных авралов или в последние месяцы года. Но пролетарию нельзя вообще не дать зарплату, предлагая кормиться где-нибудь на стороне. Ему помногу добирать негде, и если бы власти рискнули регулярно оплачивать труд промышленных рабочих на 40–60%, то поставили бы под угрозу само существование государства. Поэтому советская система трудового нормирования и заработной платы, система ценообразования и распределительная политика Советского государства построены таким образом, чтобы рабочий во всех случаях получал свой прожиточный минимум, даже тогда, когда та или иная отрасль промышленности или строительства нерентабельны и для покрытия дефицита приходится соответствующим образом перераспределять общественный продукт.

* В.И. Староверов. Город и деревня. — М.: Политиздат, 1972. — с.80.

Так это, например, происходит с жилищным строительством. Колоссальный дефицит жилья власти пытаются хоть как-то компенсировать в глазах общественного мнения низкой квартплатой, которая далеко не покрывает строительных затрат и в том числе затрат на оплату труда строителей. Правда, недобрали плату за жилище, недодадут и зарплату, снизив расценки, увеличив степень эксплуатации... Государство нам ничего не дает даром.

Равнодушие к сельскому работнику даже и запрягано не очень тщательно, настолько оно кажется властям естественным и непредосудительным. Ему можно заплатить сколь угодно мало, не считаясь ни с какими общественными нормами. Доберет в приусадебном хозяйстве и на черном рынке. И никакой угрозы для государства и партийной бюрократии от этого нет. Напротив, осуждая на словах рыночные отношения, власти на самом деле толкают крестьянина на рынок с продуктами приусадебного хозяйства, и именно за счет рыночного оборота удовлетворяется значительная часть общественных потребностей. А иначе где их взять? Как сбалансировать потребности и возможности? Как отвести интересы общества от крутого столкновения с интересами партийной бюрократии? Без рынка плановый социализм только в теоретических работах ладно катится, но на практике — заклинивает.

Не знаю, успел ли кто-нибудь в Латвии получить те 300 рублей за отказ от земли, да и нашлись ли вообще желающие продаться таким способом в обельное холопство, но инициаторы мероприятия получили по партийному выговору — и поделом! Не руби сук, на котором сидишь, не предавай партийных интересов: без приусадебного хозяйства, без рынка так заклинит...

Крестьянин вынужден трудиться два рабочих дня ежедневно. Большую часть того, что он зарабатывает в первый день — в колхозе, в системе гласно-социалистической, — у него отнимает государство и распределяет в интересах сохранения существующей системы. Крестьянину не остается ни необходимого продукта, ни права распоряжаться прибавочным...

Тогда начинается второй рабочий день — по законам чернорыночного товарного производства, по законам негласного социализма, — рабочий день, во время которого крестьянин пускает в ход весь свой наличный капитал: рабочую силу — свою, оставшуюся от колхозных трудов, и своей семьи. Он сам определяет здесь уровень эксплуатации: минимум — чтобы не голодать, максимум — чтобы не падать с ног от недосыпа, работая с трех утра до десяти

вечера. Сам определяет (в рамках дозволенного) характер производства в зависимости от спроса на те или иные продукты. Здесь крестьянин сам себе работник, сам себе и «капиталист».

Весь этот чернорыночный оборот настолько мал в каждом своем индивидуальном объеме, эта рента, эта средняя прибыль на капитал, это прибавочное время так потешны кажутся серьезным экономистам, что они не берут на себя труд разобраться в них. А может быть, специально отворачиваются, чтобы не увидеть ту очевидную истину, что социализм-то наш живет за счет чернорыночного «микрокапитализма».

Но и увидев, стараются сказать помягче, поглаже: мол, «время, используемое колхозниками в приусадебном хозяйстве, нельзя назвать рабочим временем или вторым рабочим днем. Это вне рабочее время, обусловленное необходимостью ведения подсобного хозяйства»*. Вне рабочее время, когда добывается половина всего совокупного дохода семьи колхозника. Какая глупость! А ведь между тем мы и питаемся продуктами, которые произведены крестьянином «во вне рабочее время, как бы играючи»...

Впрочем, в самое последнее время напористая реальность заставляет повнимательнее приглядеться к деревне и увидеть хотя бы клочки правдивой картины. «Мы разделяем мнение, что когда личное подсобное хозяйство становится основным источником доходов и оказывается ориентированным, в основном, на рынок, а работа одного из членов семьи в общественном производстве служит лишь средством получения права на ведение такого хозяйства, последнее может рассматриваться как мелкое частное хозяйство»**.

Признаться в существовании мелкого частного хозяйства в стране развитого социализма — уже немало. Такое признание не может не заставить рассмотреть сверху донизу (или снизу доверху) всю систему экономических связей. Признавшись в существовании 40 миллионов мелких частных хозяйств почти через полвека сплошной коллективизации, нужно признаться в полной экономической неэффективности колхозной системы. Но тут же нужно признаться, что колхозы весьма целесообразны полити-

* Байкова и др. Свободное время и всестороннее развитие личности. — М., 1955. — с.37.

** В.И. Староверов. Преодоление существующих различий между городом и деревней как составная часть задачи построения социально однородного общества. — «Социологические исследования», 1975, № 4, с.31.

чески, поскольку, сосуществуя с мелким частным хозяйством, создают идеальные условия для ограбления крестьянина при помощи *черного рынка*.

Частные крестьянские хозяйства будут жить в их сегодняшнем виде до тех пор, пока правящая структура осуществляет свою политику за счет *черного рынка*. А может ли ее политика быть обеспечена каким-либо другим способом, весьма сомнительно. По крайней мере, именно это и должно *рассматриваться*.

Не вина крестьянина, что он обречен вести рыночное хозяйство даже на участке размером с детскую песочницу. А мы, желая понять, в какой стране живем, отворачиваться от его судьбы не вправе. Тем более, что на этих игрушечных участках разворачиваются отнюдь не детские своей жестокостью игры взрослых.

4

Ни летним вечером, ни в праздники на сельской улице не увидишь играющих в домино взрослых, вроде тех, что стучат костяшками во всех городских дворах, скверах и на бульварах. В деревне бездельничать стыдно. И даже эти самые доминошники, собираясь навестить родные сельские места, не берут с собой настольные игры, но так подгадывают отпуска, чтобы помочь родителям или родственникам в огородных работах весной, или на летней сеной страде, или в сентябрьской копке картофеля... А уж сельского-то жителя труды не отпускают круглогодично: ведь на себя работает. Если остановится, кто за него сделает? Кто возместит потери, если пропущен срок полива огурцов или окучивания картофеля? Если летом долго спал, под снегом травы не накошишь. Если гонят стадо, за домино не сядешь — корми, пои, дои, ухаживай.

Механизатор Гаврила Иванович Тюкин по утрам, пока еще не в колхозе, или вечером, уже вернувшись, упорно добывает то, что не отдано ему при расчете колхозной кассой. С топором ли, с косой ли, с лопатой движется он по дням своим от дела к делу, от заботы к заботе. И не один, за ним вся семья. А Нюрка — так и впереди него.

Кажется, и детям он заботливый отец — если жена болеет, сам проверит, как в школу собрались, сыты ли, нет ли прорех в одежде. И Нюрке своей любящий, ласковый муж. И родителям-старикам — внимательный сын: из-за них и колхозником после армии сделался, не поехал на стройки коммунизма, пожалел одних немощных оставлять...

Но при всем том ни больных стариков, ни жену до последнего дня перед родами; ни детей — никого он не может освободить от постоянного крестьянского труда. Впрочем, пусть бы и освободил — никому из них совесть не позволит отлынивать, когда вся семья в огороде или на сенокосе. А без совестливого участия всех в семье не свести концы с концами.

Могут ли двое взрослых, работая в колхозе или совхозе, вести приусадебное хозяйство достаточно интенсивно, чтобы прокормить семью в пять-шесть человек? Нет, не могут.

Для того, чтобы получить урожай картофеля с приусадебного участка в 30–40 соток, двое трудоспособных должны ежедневно трудиться полный рабочий день в течение двух месяцев. Да уход за коровой занимает полтора-два часа ежедневно, и всякая другая живность внимания и времени требует...

По расчетам специалистов Госплана СССР, затраты труда на производство центнера картофеля в личных подсобных хозяйствах составляют сейчас 2,8 человеко-дня *.

С 30–40 соток приусадебной земли получают урожай около 50 центнеров... В весьма благоприятных условиях Хмельницкой области тратится в приусадебном хозяйстве на производство одного центнера молока — 3 человеко-дня, на откорм головы крупного рогатого скота — 45,5 человеко-дня **.

Но ведь и от работы в колхозе никто не освободит, особенно летом.

В Новосибирской области, которая ничем не выделяется среди других сельскохозяйственных областей страны и вполне может быть принята за среднестатистическую, «в 1972 г. по сравнению с 1967 г. средняя продолжительность рабочего дня (в колхозах и совхозах. — Л.Т.), по оценкам работников, выросла зимой с 7,8 часа до 8,4, летом с 8 до 9 час... Доля работающих 8–11 час. возросла с 30 до 55%, а свыше 12 час. — вдвое. В 1972 г. нормальный рабочий день имела лишь одна треть работников, в то время как остальные две трети в той или иной мере перерабатывали» ***.

Да в те же летние месяцы и сена надо на зиму добыть, и все остальные заботы остаются. Нет, двоим не хватит ни сил, ни времени. И в больших семьях те, кто зарабатывает

* «Известия», 14 января 1977 г.

** В.А.Беляев. Личное подсобное хозяйство при социализме. — М.: «Экономика», 1970. — с. 95.

*** Р.В.Рывкина. К изучению основных направлений урбанизации образа жизни сельского населения. — В кн.: Современная сибирская деревня. — Новосибирск, 1975. — ч.1, с.36.

право на приусадебное хозяйство — колхозники и рабочие совхозов, — не главные добытчики в своем огороде.

Приусадебное хозяйство — колоссальный комбинат по эксплуатации детей, стариков, инвалидов. Двенадцать миллионов сельских жителей нигде не работают, кроме как в приусадебном хозяйстве, причем из них семь с половиной миллионов — старики и подростки*. Да и остальные миллионы — это, главным образом, люди нетрудоспособные или ограниченной трудоспособности, домохозяйки с большими семьями. Три четверти труда, затраченного в приусадебном хозяйстве, женский труд. Прибавим еще пятнадцать миллионов сельских ребятишек — число школьников без учащихся начальных классов, — и мы получим представление о том, чьими руками создается значительная часть валовой продукции сельского хозяйства, который в прямом и переносном смысле кормится государство развитого социализма со всем его мощным партийно-государственным и идеологическим аппаратом.

«Развитый социализм» подобного типа уходит корнями своими в далекую историю: «Факты языка показывают, что древний источник рабства находится в связи с семейным правом. Слово „семия“ (по словарю Востокова) означает — рабы, домоладцы... Термины: ... раб (робя, робенец, ребенок), холоп (в укр. хлопец — мальчик, сын) одинаково применяются как к лицам, подчиненным отеческой власти, так и к рабам»**.

Факт эксплуатации неработоспособного населения, который замалчивается экономистами и социологами, вдруг просвечивает сквозь писания юристов, которые обязаны точно определить правовую сторону взаимоотношений в сельской семье: «Семья колхозника, в отличие от обычной семьи рабочего или служащего, имеет определенные особенности, выражающиеся в том, что это не только родственный, семейно-рабочий союз определенных лиц... но такое семейное объединение лиц, которое имеет еще и определенные трудовые связи данных лиц между собой, возникающие у них в силу совместного ведения ими личного подсобного хозяйства»***.

Можно и нужно бы сказать еще точнее: семья колхозника — микрокапиталистическое предприятие, где глава семьи вынужден эксплуатировать труд своих домоладцев,

* В.А.Беляев. Личное подсобное хозяйство при социализме. — с.81, 93.

** М.Ф.Владимирский-Буданов. Обзор истории русского права. — Цит. по книге академика Б.Д.Грекова «Крестьяне на Руси», с.132.

*** Комментарий к примерному Уставу колхоза. — М.: «Юридическая литература», 1972. — с.239.

чтобы получить в приусадебном хозяйстве максимум прибавочной стоимости и таким образом возместить недополученный ими в колхозе или совхозе необходимый продукт.

Ведется эта эксплуатация, как правило, совершенно варварскими методами, без какого бы то ни было облегчения труда, без механизмов, без применения современных достижений агрономии и зоотехники. Лопата, тачка, мешок, корзина — почти весь инвентарь. В лучшем случае весной за две-три бутылки водки колхозный тракторист вспашет и проборонует участок, остальное — руками.

Один велеречивый партийный болтун заявил: «Хозяйственные функции сельской семьи в советское время в корне изменились. Отпала главная забота — о средствах производства, о лошади, о сохранении плодородия...»* Ну да, забота о лошади отпала — на себе возят. Еще в тридцатые годы был выдвинут лозунг: «Лошадь — угроза социализму». Ползая по земле на карачках, по-лошадиному таская на себе грузы, сельские бабы социализму не угрожают, все верно.

Государство давным-давно закрыло глаза на то, каким способом крестьянин добывает себе пропитание, сколь тяжело надрывается при этом. Беда ли — заводы «делают лопаты на целый килограмм тяжелее положенного. Грабли тоже слишком тяжелы... Совсем не делают инструмента для подростков, пожилых людей»**.

Какая страшная картина: на двух сотых всех площадей пахотной земли дети, инвалиды, старики, женщины с лопатами и граблями не по силам дают продукта чуть не столько же, сколько здоровые крепкие люди во всеоружии современной техники получают с остальных девяноста восьмых сотых! Какой тяжелый порок скрыт в этих газетных признаниях!

Правда, в последние годы в пригородных зонах увеличилось число приусадебных хозяйств, ведущих интенсивный откорм скота, умножились парники и теплицы. Возможность получить относительно высокую прибыль заставляет этих микрокапиталистов думать хотя бы о микромеханизации: переделывать домашние пылесосы в огородные опрыскиватели, миксеры приспособливать для сбора крыжовника, изобретать оборудование для выращивания тюльпанов зимой.

* П.Шелест. Одна сельская семья. (Штрихи к социальному портрету сельского рабочего 70-х годов). — М.: «Советская Россия», 1972. — с.79.

** «Известия», 14 января 1977 г.

Но в массе своей приусадебное хозяйство остается традиционно рутинным. Да и не может быть иначе: на малых земельных площадях, при полном отсутствии техники, приспособлений для ведения столь мелкого хозяйства, есть лишь один способ произвести побольше продукта: увеличить количество затраченного живого труда. За счет занятых в колхозе взрослых ничего не увеличишь — упадут. Значит, побольше работать приходится многодетным женщинам, старикам, инвалидам, детям.

Конечно, никакого разделения труда, никакой кооперации, увеличивающей его производительность, здесь нет и быть не может. Приусадебный участок — не землевладение и даже не свободная аренда. Право крестьянина на приусадебный участок предусматривает обработку земли лишь семьей самого крестьянина. Облегчить труд семьи можно, только прибегнув к супряге — простой взаимопомощи двух-трех колхозных дворов по принципу: ты — мне, я — тебе. Так малосемейные копают картошку. Так в некоторых районах ведут простейшее индивидуальное строительство.

Но объединение тех же двух-трех крестьянских дворов для более рационального, более интенсивного *рыночного* хозяйства невозможно — строжайшее табу! При рациональном разделении труда, при интенсивном ведении хозяйства, ориентированного на рынок, *капиталистический* характер такого объединения был бы ярко выражен, и можно обойтись уже без приставки «микро». Если придавленные запретами нынешние приусадебные хозяйства успешно конкурируют с колхозами и совхозами, надо ли говорить, что даже элементарное объединение независимых крестьянских хозяйств с гектаром-двумя земли и простейшими механизмами показало бы полную экономическую бессмысленность сегодняшних колхозов. Понятно, что власти на такое не пойдут. Власть партийной бюрократии никогда не признает достаточным основанием для дальнейшей капитализации приусадебного хозяйства даже увеличение продуктов питания вдвое или втрое против сегодняшнего.

Понять политический смысл запретов не сложно: сохраняя полуголодный, но гарантирующий безоговорочную власть партийной бюрократии «зрелый социализм», сохраняя черный рынок, они не дают развиваться открытым рыночным отношениям, при которых нужда во всякой административной власти весьма ограничена.

Вообще всякое *добровольное*, независимое от существующей администрации колхозов и совхозов объединение частных лиц в советской деревне невозможно — ни на

капиталистической рыночной основе, ни на основе коммунистической. В стране, провозгласившей построение первой фазы коммунистического общества, коммуны-то как раз и запрещены. Они существовали еще при царе и в первые годы советской власти, но с началом коллективизации исчезли. Похоронил их лично Сталин: «Лишь по мере укрепления и упрочения сельскохозяйственных артелей может создаться почва для массового движения крестьян в сторону коммуны. Но это будет не скоро. Поэтому коммуна, представляющая высшую форму, может стать главным звеном колхозного движения лишь в будущем»*. Ему неважно было, куда отправлять свои жертвы, в прошлое или в будущее, — лишь бы в небытие, лишь бы не мешались под руками в настоящем.

Коммуны создавались людьми, религиозно преданными коммунистической идее. Такие сплоченные, убежденные коллективы могли оказать и оказывали серьезное сопротивление советской политике крепостного закабаления крестьянства.

«В известной части коммун проявилась антигосударственная практика, выразившаяся в противопоставлении интересов коммуны интересам государства (чрезмерное увеличение потребительских нужд коммуны, уменьшение товарности и т.д.)»**.

Вот оно в чем дело! Коммунары не хотели становиться рабочим скотом, несущим тягло под понукание партийной бюрократии, скотом со скотским уровнем потребностей.

И тогда их перевели на Устав сельхозартели. И тогда их заставили гнать на работу своих детей и стариков...

Впрочем, эксплуатация крестьянской семьи как единого хозяйственного организма оказалась такой удобной, что в последнее время широко применяется не только опосредованно, через главу семьи, в приусадебном хозяйстве, но и непосредственно, в колхозном поле. Например, в Чувашии (это я видел в Чувашии, а знающие люди подсказывают, что едва ли не повсеместно) картофельные поля разбиваются на делянки, и каждая крестьянская семья в зависимости от числа наличных душ должна выбрать картофель с большей или меньшей площади. Только исполнение этих барщинных работ (не освобождая от иных, само собой разумеющихся) дает право на покупку в колхозе кормов

* И.В.Сталин. Ответ товарищам колхозникам. — В кн.: Вопросы ленинизма. — Изд. 2-е. — с.351.

** БСЭ. — Изд. 1-е, т.33. — «Коммуна сельскохозяйственная».

для личного скота и на бесконфликтное пользование приусадебной землей.

Количество наличных душ в семье учитывается по прямому, мистическому значению слова, поскольку важно одно: чтобы душа в теле держалась. Освобождаются лишь паралитики. По крайней мере, в чувашском колхозе «Канашский» семья слепого (он да жена) никаких льгот в этой трудовой разверстке не получила... Заметим, что колхоз этот — среди «маяков» республики. С газетных и журнальных страниц нам его подают как достижение социализма — в каждой области таких лишь пять-шесть хозяйств. Сюда журналистов *возят*. Механизаторы и доярки получают здесь больше, чем в соседних хозяйствах. Но кто же разберется внимательно, что кроется за плакатными улыбками, чьи незамеченные труды, чьи слезы?

Председатель колхоза «Канашский» — крепкий хозяин, заслуженный агроном, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции, автор книги «Земля и урожай». Надо полагать, не он придумал эту систему, но с успехом пользуется ею именно он. Много ли их, таких просвещенных крепостников? Надо бы, чтобы страна знала каждого из них — может, тогда постыдятся? Да постыдятся ли? Им райком грехи отпустит...

В иных местах так убирают сахарную свеклу, кормовые культуры. И нам здесь можно заметить, что столь дикая форма отработки не может привлечь крестьян даже видимостью прямого материального интереса — это лишь форма ужесточения условий, на которых предоставляется право на приусадебное хозяйство.

При такой организации труда действуют психологические факторы, хорошо известные еще Марксу, а по его словам, и еще раньше — Фурье: «...Женщины хорошо работают только под диктатурой мужчин, но... с другой стороны, женщины и дети, раз они принялись за работу, с величайшей рьяностью расходуют свои жизненные силы... между тем как взрослый работник-мужчина настолько коварен, что старается по возможности экономить свои силы»*.

В республиках Средней Азии школьниц двенадцати-четырнадцати лет (почему-то чаще я встречал именно школьниц) заставляют тяжелым кетменем — на килограмм, на два тяжелее нормы? — рыллить землю колхозного хлопчатника. По многу часов, на солнцепеке, вместо уроков, а иногда и после уроков.

* К.Маркс. «Капитал», т.1. — М.: Госполитиздат, 1963. — с.707.

Эта работа, пожалуй, тяжелее, чем выборка картофеля из осенней грязи, столь знакомая среднерусским школьникам.

В Гатях — среднерусской деревне, где жила и похоронена наша Аксинья Егорьевна, одна из учительниц местной восьмилетки усомнилась, надо ли включать в программу уроки сельского труда? Ей показалось, что дети и без того знают предмет очень хорошо. Она анкетами опросила школьников и анкеты отослала своему наробразовскому начальству. Все дети ответили, что на уборке урожая картофеля они работают трижды: раз — дома, два — в колхозном поле с семьей, три — в колхозном поле со школой; на сенокосе — дважды: сначала с семьей в лесхозе или в другой организации, у которой есть угодья и можно заработать копейку-другую, потом — в колхозе за «десятый процент», то есть за право получить одну десятую часть убранных сена; кроме того, конечно, все иные работы — весной, летом, осенью на приусадебном участке, и круглогодично — уход за скотиной (последнее — не все, главным образом, девочки).

Начальство внимательно изучило анкеты, но уроки сельского труда велело начать. Не потому, что нужны, а потому что с них, с начальства, еще начальство повыше спрашивает. А то — самое высокое начальство, одержимое исключительно гуманными соображениями, издавало приказы, запрещающие детский труд в поле. И теперь все в том же перманентном порыве гуманности заботится, как бы сельские ребятишки не обленились, не выросли бы белоручками.

Но министерские чиновники далеко и высоко, а районные партийные и хозяйственные — близко. И без детских рук им урожай не выбрать, землю не взрыхлить, веточного корма не наготовить. Знают ли об этом чиновники министерские, издавшие гуманные приказы? Да, конечно, знают! Но их чиновничье дело издавать гуманные приказы. А дело наробразовских районных чиновников — исполнять все приказы и из Москвы, и из райкома партии. И в результате, крестьянский ребенок, трижды уже отработавший в разных местах, трижды эксплуатируемый, работает в четвертый раз *на уроке труда*. На этот раз его эксплуатирует гуманное педагогическое начальство, которое имеет свои дивиденды не в виде сданного картофеля и галочки в хозяйственном плане, но в виде галочки в плане педагогическом.

Экономическая необходимость работать в приусадебном хозяйстве существует многие годы, формируя нравственную

атмосферу сельской жизни, и, наконец, закрепляется в обычае, в нравственном императиве. А обычай уж, в свою очередь, требует от человека определенного действия, эксплуатирует его нравственную податливость. А в конечном счете все то же: эксплуатируется труд.

Уже знакомая нам учительница в Гатях как-то жаловалась, что каждую весну и осень, когда начинаются огородные работы, на нее наваливаются огромные трудности: не хватает времени, не остается сил и желания сажать и копать картошку.

В семье у них только двое — она и муж. Оба по двадцать пять лет работают в школе. Оба отдают школе всю душу и все время. Картофельный огород им совершенно не нужен — они зарабатывают достаточно, чтобы покупать продукты... Но тем не менее, каждый год сажают картошку, потом ее окучивают, потом выкапывают. И делают это только потому, что *все в деревне* так делают.

Попробуй она отказаться от своего огорода, и в деревне это воспримут не иначе как чудачество, а еще хуже — как высокомерие: «Что вы, можно ли добровольно отказаться от земли?!» В деревне не принято покупать картошку, если ее можно вырастить. В деревне нельзя не жить как все... даже если думаешь по-своему. Всеобщность экономическая создает нравственную всеобщность. Существующие порядки кажутся уже естественными и единственно возможными.

Но все-таки экономический императив пока более важен: большинство учителей не имеет возможности купить какие бы то ни было продукты в колхозе или у односельчан, которые, специализируясь на одной товарной культуре, остальные производят лишь для личного потребления. И вынуждены учителя вести свое хозяйство точно так же, как крестьяне.

Специалистов сельского хозяйства — агрономов, зоотехников, инженеров — продовольственная нужда задевает в меньшей мере, но все-таки и они задеты: «...в своеобразных условиях овцеводческих совхозов Казахстана, удаленных от крупных городов, железнодорожных станций, в районах малой плотности населения ведение личного хозяйства особенно необходимо... При анкетном опросе 12 хозяйств выяснилось, что в них все семьи специалистов держат коров, овец, в некоторых, кроме того, верблюдов и кумысных кобыл»*.

* И.В.Макарова. Личное подсобное хозяйство сельского населения в перспективном экономическом и социальном планировании. — Целиноград.

Обстоятельства заставляют. Обстоятельства формируют образ жизни. Образ действий. Образ мышления. Люди не рождаются рабами. Подчинение всеобщности, подчинение глухой необходимости начинается лишь в школьные годы, да и то не сразу. Пока учатся писать, у каждого свой почерк прорезывается. Но со второго класса дети начинают просить в школьной библиотеке «что-нибудь о Ленине — потому что велели прочитать». Так начинается всеобщий почерк мышления. Он закрепляется всеобщей трудовой повинностью: с четвертого класса выходят в колхозное поле и в свой огород. Слово и дело взаимно дополняются, служа одно другому. Формируется человек... И над его-то собственным словом затоскуешь до крика...

Из домашнего задания ученика 5-б класса гатинской восьмилетней школы Галкина Григория:

«Письмо другу.

Дорогой друг мой Вася!

Я тебе опишу про свой выходной день. Встал я рано, умылся, оделся и помог маме прибрать постели. Потом стал завтракать, позавтракал, и пошли мы копать картошку. Я копал, а сестра выбирала картошку. Было холодно. Немножко замерзла сестра, да и я замерз. Покопались мы. И устали, отдохнули. И стали копать картошку. Мы разогрелись. Вдруг шумит мама: «Идите обедать!» И мы пошли обедать. Пообедали. Пошли рыть картошку. А с обеда время летело быстро. И вот уже подошел вечер. Мы поели. И легли спать. Вот мой прошел день. Вася, опиши ты про свой день.

Твой друг Гриня».

В детстве я скандировал вместе со своими ровесниками: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Кого должны благодарить сегодняшние сельские ребяташки?

5

— Спасибо Ленину, — сказала как-то Аксинья Егорьевна, разглядывая его портрет в районной газете, — лицо-то доброе, позаботился о нас...

В другой раз я уже без удивления наблюдал, как в новом здании сельсовета она в пояс поклонилась тому же портрету:

— Царство тебе Небесное... Жизнь-то какую дал — и пенсия, и огород, и в магазине чай да сахар — помирать жалко...

Все хорошо знают, что сегодняшнюю жизнь дал нам Ленин. По его заветам живем. И все видят, что сегодняшняя жизнь крестьянина несравненно лучше той, что осталась в тридцатых, сороковых, пятидесятых. Работается трудно? Так ведь и тогда трудно работалось, а жилось хуже. Кто же помнит, как худо жили еще в начале шестидесятых, когда и в колхозе не платили, и приусадебные хозяйства прижали?

А теперь?.. Мы давно уже забыли, как крестьянин *может*, но хорошо помним, что еще недавно он жил так, как жить нельзя, как жить *невозможно*. Из народного сознания давно утратилась память о жизни при НЭПе или, тем более, о дореволюционных временах. Правда под запретом, а ложь безразличная. Но хорошо помнится колхозная каторга в ее худшие годы. От тех мертвых точек и идет отсчет благополучия. Лишенный истории, лишенный опыта предков и знания того, как он мог жить, крестьянин оценивает нынешние дни свои, сравнивая их лишь с худшими днями своей же жизни: «Ничего, дышим!»

Мы же, горожане, оцениваем жизнь крестьянина и вовсе исходя из представлений, навязанных нам газетами, журналами и бдительно отснятыми и тщательно смонтированными телефильмами. Да еще по базарным впечатлениям: «На Черемушкинском рынке телятину по семи рублей продают! Обнаглели колхозники. Куда же они деньги девают?»

И снова вспоминается тот послевоенный мешок денег, потрясший мое детское воображение. Уж теперь-то в этом мешке и точно сто тысяч.

Кто же не замечает: жить стало легче, ослабили петлю. Сегодня не продувной голод, по городам крестьяне не побираются, с голоду не пухнут и даже на одной картошке не сидят подолгу...

Однако взгляды в сегодняшнюю крестьянскую сытость, в быт крестьянина, в его траты и сбережения. Зная, каковы крестьянские труды, посмотрим, велик ли запас накопился трудами этими?

Запасают деньги — не мешок, конечно, но случись что, на первый момент хватит. Запасают зерно — хлебом-то начали торговать в деревне всего лет десять назад, а возникнут трудности, кого в первую очередь прижмут? Крестьянина. А хлеб да картошка — главная еда... Запасают шифер — когда крыша прохудится, его сразу не найдешь...

Наша Аксинья Егорьевна держала про запас бочонок соли. Зачем? Не знаю. Уж что-то, а соль-то всегда в продаже. Может быть, в войну насиделись без соли? Как-то неловко было спрашивать, да она и не стала бы рассказывать о своих запасах, отговорилась бы как-нибудь. Без соли нельзя. Городская семья, если и квасит капусту, если и солит огурцы, то лишь для особого удовольствия, поскольку домашнее лучше покупного. Крестьянин ничего такого купить не может. Если не сделает дома, будет без солений, а без них и вечная картошка в горло не ползет...

Горожанин купит подушку в магазине. Крестьянин будет по пушинке собирать ее годы. И чем бережливее хозяйка, тем тяжелее ее подушки и перины... Но на все это нужно время и силы.

Домашнее хозяйство, домашняя промышленность — неотъемлемое продолжение приусадебного хозяйства. Без этих трудов не прожить, а времени они занимают — особенно у женщин — не меньше, чем огород и скотина: в среднем по три часа в день... Где же силы берутся?

«...52,9% обследованных лиц в течение недели каждый день в среднем расходовали на ведение домашнего хозяйства более 5 часов. Две трети из этого числа составляют женщины... 49,4% обследованных мужчин и 47,3% женщин в течение недели каждый день трудились в подсобном хозяйстве. При этом в общем числе лиц, ежедневно затрачивающих на работы в подсобном хозяйстве от 2 до 5 часов, мужчины составляют ровно половину» .

Крестьянин жив постольку, поскольку ведет свое приусадебное хозяйство. Засуха — его *личная* беда, и тут хоть по былинке, а кормов скоту где-то набрать надо... Колорадский жук, завезенный нерадивыми чиновниками из Польши с импортным семенным картофелем, — его *личная* беда, ползай на карачках, собирай в банку с керосином. Болезнь скотины — его *личная* беда, и если гибнет годовалый бычок, готовый на продажу, по нему в голос причитают так, что встревожишься, не умер ли кто из близких?

От всех неожиданностей не застрахуешься, но хоть небольшой запас, а нужно бы иметь во всем.

Хуже всего крестьянину, когда сам заболел. В своем хозяйстве кому бюллетень предъявить? Колхозные гроши, конечно, получишь, и за них спасибо — до 1964 года вообще ничего не давали. Но если колхозного заработка и целиком

* В.Т.Колокольникова. Брачно-семейные отношения в среде колхозного крестьянства. — «Социологические исследования», 1976, № 3. — с.84.

мало, что там проценты по бюллетеню! Свое добирать и больному приходится.

Аксинья Егорьевна давно как-то жаловалась: так болела, так болела, что и *лежать больно было*, а позвали в лесхоз косить по болоту, две копейки зарабатывать, — не просто пошла, побежала. Знакомому леснику бутылку купила — спасибо, что позвал. Зимой хоть и здоровая будешь, а сена-то где возьмешь?

Пенсия по старости — двадцать рублей. На двадцать рублей и голодная не проживешь. Но зато как милость шестидесятилетней старухе оставляют приусадебный участок: пользуйся, старая, ломай спину, авось еще заработаешь. Да и стране твоя картошка необходима, без твоих трудов не обойтись. Социалистическое отечество в голодной опасности. Если сил нет самой обрабатывать землю, зови своих детей-горожан. Они возьмут отпуска или отгулы или так прогуляют, но картошка важна и им, — приедут и помогут. Да и сама, конечно, не станешь сидеть сложа руки.

Если кому-то затмило, и не видит он, что крестьянин работает *два рабочих дня* ежедневно — в колхозе и в своем приусадебном участке, пусть посмотрит он на сельских стариков: им остался один рабочий день, но лишь потому, что колхозная барщина отпустила их.

Власть равнодушна к судьбе сельских стариков, и они это знают. Но сам о себе кто не подумает? В старость и в болезнь заглядывать боязно — и очень уж страшные лики оттуда смотрят. Пока можно, все хотелось бы лишнюю десятку отложить, застраховаться. Так что крестьянский мешок с деньгами очень похож на нищенскую суму, и не сто тысяч в нем, а пропитание на черный день. Для того, чтобы в такой мешок собрать самое необходимое, крестьянин должен сократить и без того скудное ежедневное потребление, урезать потребности семьи до первобытного уровня.

«Мелкий производитель гонит на работу детей с более раннего возраста, работает большее число часов в день, живет „бережливее“, урезает свои потребности до того, что в цивилизованной стране выделяется как настоящий „варвар“...»

Ленин (Соч., изд. 3-е, т. 2, с. 468-469) здесь комментирует Каутского и Маркса. Многие из того, что Каутский сто лет назад писал о западноевропейском крестьянстве, особенно о мелких хозяйствах, применительно сегодня к крестьянству советскому, социалистическому, которое выше уровня вековой давности так и не поднялось. Точная мысль Каутского подсказала мне и название этой работы: «Крестьянское искусство голодать может вести к экономическому превосходству мелкого производства».

Я понимаю, сказать «крестьянин должен сократить потребности» неточно. На потребности волевым актом не подействуешь. И если Аксинья Егорьевна говорила, что не знает вкуса чая, то она в нем потребности не испытывала. Но здесь нам терминологические тонкости не важны... Вкус мяса, конечно, все знают, но даже по официальной статистике на душу населения приходится в день чуть более ста граммов мяса и сала. Если же учесть, что от потребления сливочного масла крестьянин дальше, чем Аксинья Егорьевна от чая, если учесть, говоря неловко, но лаконично, что сало — «основные жиры» в крестьянском рационе — на нем жарят картошку, с ним варят щи, и что во время четырех-пяти праздничных застолий мяса съедается намного более ста граммов, то от куса мяса для ежедневного потребления ничего не остается. Впрочем, был ли он, этот кусок?

Официальная статистика, кажется, существует с единственной целью: поглубже запрятать истину. Очень помогает в этом разделение крестьян на колхозников и рабочих совхозов, поскольку вторых можно учесть среди городских рабочих и служащих. Скажем, учитывается потребление мяса и сала на душу населения. Показано: в семьях рабочих и служащих — 51 кг, в семьях колхозников — 37 кг. Но в первую группу входят и рабочие совхозов, потребляющие не больше колхозников, и партийные крупные хозяйственные чиновники, чье продовольственное потребление ограничено лишь физиологическими возможностями. Показатель по группе снижается. Разрыв между различными группами населения не так зияет. А средняя цифра по стране остается без изменений: «Что поделаешь, у нас пока нет изобилия, всем одинаково трудно...»

Но и это оказалось мало. В последние годы даже и колхозников перестали выделять в статистике продовольственного потребления. Есть общая цифра — в 1977 году, например, показано 57 кг на душу населения мяса и субпродуктов, — и предполагается, что колхозник и начальник сельхозуправления едят одинаково.

Какой изощренный негодяй дал название ресторану, поставленному среди подмосковных дач крупнейших партийных чиновников — «Русская изба»? Да был ли он когда-нибудь в русской избе? Не в барской ли усадьбе так жрут?

По нормам, разработанным Институтом питания Академии медицинских наук, для поддержания нормальной жизнедеятельности взрослый человек должен потреблять в среднем 81 килограмм мяса и сала в год. В длинном списке

продуктов этого идеального рациона лишь картофель и хлеб потребляются крестьянином сверх нормы. Хотя, впрочем, и потребление советских граждан, даже учтенное по методике ЦСУ, сильно не дотягивает до нормы...

Мяса в деревне не только не едят каждый день, но и не каждую неделю появляется оно в рационе крестьянской семьи. Крестьянин и его семья *должны* обходиться без мяса, *должны* утолять голод картошкой и хлебом. *Должны*, потому что поставлены в такие условия, когда *иначе никак не могут* удовлетворить самые элементарные потребности в одежде, жилье и т.д., как только за счет точно таких же элементарных потребностей в калорийной белковой пище.

Нехватка мяса и белков особенно сказывается на развитии детей и подростков. Школьники-подростки в сельской местности на 10–20 см ниже ростом, чем городские школьники. Исследования разницы умственного развития нигде не опубликованы, да и вряд ли проводились из страха, что реальность заведомо не соответствует пропагандистской болтовне. Однако как косвенное свидетельство нарушения умственного развития можно отметить тот факт, что среди сельских юношей 15–19 лет смертность от психических расстройств в 3 раза чаще, чем среди их сверстников-горожан*. Это психические расстройства, доводящие до такой степени, чтобы обратиться к врачу и быть взятому на позорный (в крестьянском сознании чуть не равный смерти) учет в психдиспансере?

В сознании обывателя любой пациент психиатра — не человек, но нелюдь. Его судьба может вызвать любопытство, но уж никак не жалость, не сочувствие. Именно на этом и строится политика властей, когда они заключают в психушки инакомыслящих — пусть хоть и совершенно здоровых людей.

Содержание даже самых нормальных, настоятельных потребностей, воспитанных всей нищенской жизнью крестьянина, чрезвычайно бедно, уровень запросов низок, самый низкий по сравнению с любыми другими слоями общества.

Скажем, городская семья потребляет 150 ведер воды ежедневно. Попробуйте на два дня прекратить подачу воды в городской дом и предложить его жильцам ведрами таскать воду из соседнего. Это невозможно. Протест едва ли не примет политический характер. Между тем, каждая вторая крестьянская семья таскает воду более чем за сто метров,

* М.С.Бедный. Продолжительность жизни в городах и селах. — М.: «Статистика», 1976. — с.46, 73.

а некоторые — каждая десятая семья — более чем за два километра. На себе, конечно, таскают: спасибо властям, крестьянину не надо заботиться о лошади, да и угрозы зрелому социализму никакой нет*.

«Согласно данным сельских Советов, только 17% обследованных населенных пунктов располагают водой хорошего качества, в 70% вода была удовлетворительной, а в 13% — засоленной или загрязненной**».

Что такое «удовлетворительная» вода из сельского колодца, знает всякий, кто хоть раз бывал в деревне: мутная взвесь, которая оставляет на дне ведра на палец грязноватого осадка. Но этой хоть дай отстояться — и пей. А «загрязненную и засоленную» не выпаришь и не профильтруешь — так и пьют. Не то чтобы привыкли, кто к «удовлетворительной», а кто к «соленой», просто в большинстве случаев иной не знали.

И никакая санитарная инспекция не в силах решить водную проблему. Санитарный врач может закрыть колодец и оставить деревню совсем без воды. Но он не в силах заставить выкопать новые колодцы, пробурить артезианские скважины. Нет средств, некому строить колодцы, да и желания нет у местных властей заниматься таким строительством.

Большинство колодцев в среднерусских деревнях построено еще в прошлом веке. И с тех пор гигиена пользования ими ничуть не улучшилась, разве лишь срубы несколько раз обновлялись. С местных властей не требуют ни снизу — крестьяне «не знают вкуса» чистой воды, ни сверху — чиновники районного масштаба, а тем более областного или столичного. Им вовсе нет нужды беспокоиться о деревенских колодцах. Они и средства выделять не торопятся...

Везет лишь тем селам, где построены большие скотоводческие фермы. Тут обычно бурится артезианская скважина. Скотина получает воду под нос, в автопоилки — за это с руководителей спрашивают. Человек берет из уличного гидранта. И ничего, что вода не приблизилась, хорошо хоть чище стала, хоть не лазают в нее каждый со своим ведром.

Вот как удачно бывает, когда личные интересы совпадают с интересами общественными (с интересами колхозной скотины)...

* Миграция сельского населения. — М.: «Мысль», 1970. — с.313.

** Там же, с.312.

Организация медицинской помощи в сельской местности заслуживает отдельного исследования. Но, по крайней мере, очевидно, что чем дальше от больницы, то есть чем дальше от крупного села или районного центра, тем меньше возможность получить своевременно помощь квалифицированного врача. И хотя смертность в сельской местности значительно выше, чем в городе, крестьяне обращаются к врачу в два-три раза реже, чем горожане *... Однако в мелких поселках, наиболее удаленных от больницы, людей, недовольных медицинской помощью, как раз меньше, чем в крупных селах **. Парадокс потребностей?

Когда Аксинья Егорьевна болела так, что ей «лежать было больно», она ведь не к врачу отправилась за пятнадцать километров, да на попутной машине (если, конечно, посадит, а нет — пешком), но в противоположную сторону, и тоже за пятнадцать километров, в болото, косить...

Визит к врачу занимает весь день, а если не повезет, то и с ночевкой застрянешь. Когда нужны анализы или исследования, уйдет неделя. Кто из крестьян позволит себе такую «бесплатную» медицинскую помощь, особенно летом? Да она дороже обойдется, чем недельное содержание личного врача, коль такое возможно было бы.

Аксинье Егорьевне и в голову никогда не приходило, что врач может прийти на дом. Разве что ветеринарный врач — за трешницу либо за бутылку — к заболевшему парасуку. А себе-то она и девчонку-фельдшера ни разу не позвала. В последнюю зиму, уже помирала, а все на другой конец деревни брела, в медпункт. И только за неделю до конца, когда совсем слегла, с благодарностью, хотя уже и обессиленным шепотом, встречала фельдшерицу, приходившую колоть морфий... Ей ли, Аксинье Егорьевне нашей, было жаловаться на плохую медицинскую помощь?

Да если и доберется крестьянин до районного города, до больницы, как-то его еще там встретят? Реальное состояние медицинского обслуживания — запретная тема. Но все-таки вот нечаянное свидетельство в журнале «Работница» (№ 5, 1977): «ПОМОЩЬ ОКАЗАНА. Л.В.Неструева из г.Алги, Актюбинской области, написала в редакцию письмо о плохих санитарных условиях в местном родильном доме и о невнимательном отношении медицинского персонала к больным...

Как сообщила редакции заместитель министра здравоохранения СССР Е.Ч.Новикова, приведенные в письме

* М.С.Бедный. Продолжительность жизни в городах и селах. стр.31.

** Миграция сельского населения. — с.298.

факты о недостатках в организации родильного отделения больницы г.Алги в основном подтвердились. По результатам расследования жалобы приняты следующие меры: родильное отделение г.Алги, Актюбинской области, переведено в новое помещение, обеспечено горячей водой, необходимым инвентарем; установлено круглосуточное дежурство врачей — акушеров-гинекологов; усилен контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом родильного отделения. Л.Н.Неструевой оказана высококвалифицированная медицинская помощь».

Сколько же времени принимали они — в самой передовой стране мира — роды без горячей воды, без необходимого инвентаря, а по ночам и без акушеров? Много ли таких больниц и родильных домов? Едва ли не все. По крайней мере, я сам слышал, как женщина, плача от обиды, рассказывала, как в одном из московских родильных домов ночью едва не родила ребенка в унитаз, не умея докричаться до уснувших сиделок. Так что вряд ли долго продержится в больнице г.Алги «санитарно-эпидемиологический режим» после того, как столичное внимание проскользнет мимо. Одна отчаянная пожаловалась — «на сигнал отреагировали», а многие ли знают, что можно и должно иначе — рожать, жить, умирать?

Аксинья Егорьевна вообще никогда никому ни на что не жаловалась. Для того чтобы пожаловаться, нужно осознать себя отдельной, особенной личностью, субъектом права. Реальное право рождает потребность, так же как и настоятельная потребность вынуждает искать права. А какие права знала за собой Аксинья Егорьевна? Никаких. Разве что право на свой приусадебный клочок земли — да и то лишь в ответ на обязанность работать в колхозе. И в старости — право на двадцать рублей пенсии. Все. Эти права незыблемы. Остальные, напротив, очень и очень зыбки. Для крестьянина весь кодекс законов заменяется сельским обычаем: «Не хуже людей живем, и ладно».

Ровесница нашей Аксиньи Егорьевны крестьянка подмосковного села Уборы Клавдия Васильевна Юдина, в течение многих лет работая в колхозе, подрабатывала уборщицей в клубе, получая за то десять рублей в месяц. Деньги, конечно, ничтожные, но когда без мужа растишь четырех девочек, каждому рублю рада. Когда же пришел срок рассчитывать пенсию, оказалось, что ставка уборщицы по меньшей мере *на тридцать рублей больше*. Значит, ежемесячно у Клавдии Васильевны воровали тридцать рублей. Председатель сельского совета воровал... Но нет, Клавдия Васильевна не пошла жаловаться, не стала искать

своих денег, заработанных из последних сил. Спасибо хоть пенсию от полной суммы начислили. А с начальством лучше не связываться, прав не будешь.

Я не стал бы рассказывать здесь эту историю, слышанную мной от самой Клавдии Васильевны, она достаточно ординарна, и если задаться целью, то подобных историй можно было бы насобирать не один том. Мало ли самого дикого средневекового бесправия на необъятных просторах нашей родины? Но село Уборы — оно отнюдь не затеряно в просторах, но находится в лучшем месте езды от столицы и между двумя самыми привилегированными санаториями страны, между «Соснами» и «Барвихой», к которым без пропуска и подойти-то близко не пускают, чтобы не нарушил кто ненароком покой членов ЦК партии, там отдыхающих.

На том бы и закончить историю о Клавдии Васильевне, если бы не фантастический случай: в «Соснах» отдыхал как-то сам Косыгин и, гуляя, вышел за территорию, оказался в Уборах и встретился с Клавдией Васильевной, которая как раз в те дни переживала раскрывшийся обман. Разговорились. («Я-то с нашими старухами была, а с ним еще какой-то мужчина».) Думаете, жаловалась? Нет, и в голову не пришло. В сельском обычае скромность... О чем же говорили-то? *Он их спрашивал, отчего это у молодежи вошло в обычай бежать из села?* Он, видите ли, понять совершенно не может...

Обычай — банк крестьянских потребностей. Но банк с весьма ограниченным капиталом. Крестьянская семья может годами пить тухлую колодезную воду, и никто не пожалуется, никто не вспомнит о своих правах на элементарные бытовые услуги: *все* такую воду пьют. *Все* едят мясо лишь по праздникам: *Никто* не помнит, чтобы врач посетил больного. Какие могут быть претензии? Откуда же взяться потребностям?

Современный крестьянин время от времени слушает радио, смотрит телевизор, иногда бывает в кино, читает или хотя бы просматривает ту или иную газету. Но все красивые, справедливые бытовые, нравственные и административные нормы, которые приходят к нему по этим каналам, лишь к сведению. В повседневной жизни руководствоваться ими невозможно.

Как бы сытно и разнообразно ни ели герои телеэкрана, все эти посетители «Русской избы», зрителю-то больше, чем он обычно ест, больше, чем едят его соседи, а значит, больше и лучше, чем *все* едят, взять негде... Как бы ни были демократичны отношения между начальством и рабочими в кинофильмах, все же понимают, что это так,

игра, для времяпрепровождения, а на самом деле-то к председателю колхоза со своими нуждами не подступись — он тебя в упор не увидит, ему некогда, его в райкоме ждут. А возвысишь голос до протеста, он тебя размажет между ладонями: его, уверенного хозяйственника, райкомовского тиуна и ключника, дающего план, никто не тронет, разве что пожурят за неумение заткнуть рот недовольному. Сам же недовольный увидит врагом могущественного заместителя государственной власти... Да нет, до вражды редко кто доходит, разве что самые отчаянные или отчаявшиеся. Такая вражда кончается в лучшем случае тем, что прижмут крестьянина так, что не вздохнет, пока не покается, а в худшем — придется ему проститься с родными местами: примерно пятеро в каждой сотне взрослых мигрантов из села бегут от гнева начальства *... В руках у председателя и право урезать приусадебную землю, и возможность обделить кормами для скота, и много, много иных способов сделать жизнь крестьянина невозможной. Впрочем, крестьянин редко выходит за рамки обычая, а спорит с начальством, искать прав, конечно, вне обычая.

Обычай не обязательно напрямую эксплуатирует свою жертву, как он эксплуатирует нашу знакомую учительницу, заставляя ее выращивать ненужный картофель. Чаше обычай сказывается в активизации или угнетении тех или иных потребностей. А уж настоятельные потребности заставляют крестьянина искать дополнительного заработка. Но где же его найти, как не в собственном приусадебном хозяйстве?

В огуречном селе Посады, где живет механизатор Гавря Тюкин, в обычае строить большие каменные дома: видом этого села с его сверкающими оцинкованными крышами мы уже имели возможность любоваться на страницах нашего очерка. Дома и впрямь неплохи, особенно радуют глаз приезжего неожиданные для сельской постройки огромные дачные террасы. Но такая терраса не каждой семье по карману, да и совершенно бессмысленна она, по крайней мере, десять месяцев в году. Но строят и долго еще будут строить именно так. Будут надрываться, искать исчезнувшее в последние годы из продажи цветное стекло, откажут себе в последнем, но построят свой дом, как *все строят*.

Гавря Тюкин, может быть, и мечтал бы построить что-нибудь попроще, но против обычая не пойдет. И потратив десять лет жизни на строительство своими руками

* В.И. Староверов. Социально-демографические проблемы деревни. — М.: «Наука», 1975. — с.128.

каменного дома под оцинкованной крышей, он из последних сил пристроит террасу, но никак не станет благоустраивать дом внутри. И переедет, по сути дела, из старой закишей избы точно в такую же, разве что более прочную.

И не только потому Тюкин не станет перечить обычаю, что побоится почувствовать себя в одиночестве холодно и неуютно, но прежде всего потому, что террасу-то он хоть и из последних сил, да все же пристроит, а ни водопровод, ни канализацию, ни центральное отопление ему пока никак не осилить. Обычай хоть и «деспот меж людей», но все же от экономической реальности не отрывается. Не только обычай диктует, как жить, но и возможности жить так или иначе формируют обычай...

Но ведь есть же другая жизнь! Ведь есть «маяки» — читаем же мы о них в «Правде» и «Огоньке», читаем и картинки разглядываем. Ведь есть же хозяйства, где работники получают из колхозной кассы поболее иного промышленного рабочего. Они-то хоть не так материальной нуждой зажаты?

Один журналист, демонстрирующий нам социологический подход, — мы уже знаем этого автора как умиленного наблюдателя крестьянского безлошадного счастья (см. выше), — на сей раз, вдохновенно живописуя быт типичной, по его мнению, сельской семьи — семья совхозного механизатора с ежемесячным доходом при двух работниках 484 рубля, то есть в два раза выше среднего, — с восторгом замечает: «В общем, теперь семья Александровых расходует на приобретение промтоваров втрое больше денег, чем пять-шесть лет назад...

Солидную статью расходов составило приобретение современных, „модерных“ предметов, заменяющих старые, вышедшие из моды: вместо оттоманки, которую отправили в печь, привезли из Ленинграда диван-кровать и т.д.»*.

Все правильно, для семьи, еще недавно жившей в полной нищете, для семьи, которая, по свидетельству самого автора, лишь в последние годы смогла приобрести шкаф, стол, стулья, — для такой семьи и диван-кровать роскошь. Дай Бог Александровым спать мягко на этом диване...

Но к чему восторг, коллега? Вы сами-то не на оттоманке спите? Да и стол со стульями у вас, должно быть, не первый год?

Наша Аксинья Егорьевна точнее публициста заметила прогресс в жизни деревни: «После войны, бывало, да и недавно еще, идешь по деревне и видишь, как сосед вшей

* П.Шелест. Одна сельская семья. — с.97, 75.

бьет. Ни занавесок, ни подзоров на окнах. Теперь-то куда лучше! Кой у кого и занавески тюлевые...»

Огромному большинству крестьянских семей, доход которых вдвое, а то и вчетверо меньше, чем у Александровых, и вовсе не до модной мебели. Если мы станем измерять уровень жизни и уровень потребностей крестьянина той же меркой, какой измеряется жизнь всего общества в целом, то верхняя половина шкалы нам не понадобится.

И хотя в ином крестьянском доме появились телевизор, трехстворчатый шкаф и даже диван-кровать, уровень жизни и уровень потребностей крестьянина соответствует той, по сути своей мелкотоварной, нищенской, *докапиталистической* форме хозяйствования, которая единственно возможна на приусадебном участке в условиях ограниченного рынка, в условиях административных запретов на частную инициативу в широком масштабе, в условиях крепостнических земельных отношений, столь характерных для общества «развитого, зрелого социализма».

И надо ли удивляться, что «семьи, в бюджете которых доход от личного подсобного хозяйства составляет заметную долю, не соглашаются на его сокращение даже при условии предоставления им коммунальных удобств (при переселении в казенные квартиры в многоквартирных двух-трехэтажных домах. — Л.Т.)»*.

Но, приняв эту очевидную истину, исследователи потребностей тут же торопятся застраховаться: «Почти во всех селах имеются группы людей, предпочитающие жить в двухэтажных домах со всеми удобствами, не занимаясь уходом за скотом, огородом, не топя печи в течение большей части года».

Какая мысль за этой фразой? Разве, при всей неразвитости крестьянских потребностей, есть хоть кто-нибудь, кто *предпочитает* топить печи, когда — при прочих равных условиях жизни — есть возможность пользоваться центральным отоплением? Разве кто-нибудь находит удовольствие копаться руками в коровьем дерьме и не *предпочел бы* отказаться от этого занятия при достаточных средствах, при возможности приобрести механизмы, заменяющие ручной труд в крестьянском хозяйстве, при возможности купить мясо и молоко?

Крестьянин может всю жизнь пить «удовлетворительную» воду, но если хотя бы на другом конце села есть чистый колодец, он *предпочтет* его всякому другому.

* Миграция сельского населения. — с.311.

Настойчивые опросы, проводившиеся социологами, показывают, что вроде бы 95% колхозников удовлетворены своим материальным положением и работой в колхозе*, но это совсем не значит, что они *не предпочли бы* иной образ жизни (и иначе поставленные вопросы интервьюиров-социологов), будь у них выбор. Но выбора-то им как раз и не предоставляют...

Не «почти», а во всех селах, и не «группы людей», а все население полностью *предпочитает* жить по-человечески. Но возможно это лишь в двух случаях: или когда крестьянин становится наемным рабочим, сельским пролетарием в полной мере, и в виде заработной платы целиком получит причитающуюся ему часть необходимого продукта, или когда крестьянин станет фермером и сам, подчиняясь лишь законам и требованиям рынка, распорядится произведенным на ферме продуктом.

Ни первый, ни второй варианты не могут быть реализованы при нынешних социально-политических и экономических условиях.

В противоположность ученым-социологам, крестьянин соразмеряет потребности с реальной жизнью. И поэтому кормит и себя, и социологов, изучающих его предпочтения.

6

В свою последнюю осень Аксинья Егорьевна вдруг решила, что нужно пригласить печника и сложить новую русскую печь, поскольку у старой давно уже обвалился свод, да и по челу прошла такая трещина, что в ней поселились мыши.

И хотя лет уже пять или даже больше изба хорошо отапливалась небольшой конфорочной печуркой, неисправная печь нарушала покой и гармонию крестьянской души. И когда случилось, что какой-то проезжий шофер остановился посреди улицы и предложил, не возьмет ли кто у него за бутылку машину песка, Аксинья Егорьевна велела песок свалить возле дома, и тут уж точно решила, что раздобудет тысячу кирпича и позовет мастера...

* См., например, И.Т.Левыкин. Аграрные преобразования и изменение психологии советского крестьянства. — В кн.: Проблемы аграрной политики КПСС на современном этапе. — М.: Политиздат, 1975, т.2. — с.373. (Да уж самые славословные авторы очень любят вставлять в название работ и книг слово «проблемы», хотя непонятно, какие могут быть проблемы, если 95% опрошенных всегда всем довольны?)

Но осенью печь так и не сложилась, зимой такие работы не делаются, да и не до них было за болезнью, а к весне и самой хозяйки не стало. Развалившаяся печь по-прежнему занимала половину избы, но теперь уже не нарушая ничье душевное равновесие.

Однако в начале апреля неисполненное намерение соседки вспомнилось: бесхозная куча песка вдруг возникла из-под снега между домом Аксиньи Егорьевны и моим. Вспомнилось и тут же забылось: песок сделался детской площадкой для ребятишек нашего края села...

Не знаю, отчего уж так получилось, но деревенские дети — эти Аленушки, Иванушки, Машеньки из русских сказок — не только теперь иначе зовутся, но и сказок-то не вспоминают в своих играх. Слушая детские разговоры и различая сюжеты игр на песочной куче, я ни разу не слышал упоминания сказочных зверей или таинственных сил. Впрочем, может быть, дети всегда играли с наибольшей охотой во взрослых, оставляя взрослым сочинять сказки и играть в детей? Не знаю. В Москве трехлетняя дочь моих хороших знакомых, усаживаясь на качели, оставляет с собой свободное место, которое, оказывается, вовсе не свободно, но занято домовым. Он невидим взрослым, но хорошо различим ее воображению: мохнатенький, добрый и еще у него зубы болят... Ребенка с детства научили восприятию сказки.

Но на песчаной куче играли не в домового. Крошечная рыжая девочка лет четырех, едва научившись правильно говорить, изо дня в день повторяла игру, приводившую в восторг и ее саму, и ее ровесницу-соседку. С детским бидончиком рыжая как бы шла к маме на работу за молоком. Бидончик заполнялся водой или песком. «А теперь давай молоко прятать!» — говорила рыжая...

Я не сразу понял, что дети играют в то, как они воруют молоко на ферме, или, вернее, в то, как они помогают матери воровать молоко, — мать рыжей девочки работала дояркой.

Дети не знают, что значит воровать, для них спрятать «молоко» — что-то вроде игры в «тепло-холодно»... Но взрослые не знают, что значит — не воровать.

В последнее время даже в партийных кругах все чаще стали поговаривать о колоссальном размере воровства в стране. Называют даже какие-то цифры и данные, добытые органами юстиции и милицейскими ведомствами. Но все это несерьезно.

Во-первых, воровство не укладывается ни в какие цифры, а во-вторых, явление это вовсе не по части

карательных органов. Воровство, особенно в сельской местности, стало промыслом, без которого не прожить. Это торговый ряд на черном рынке.

Для крестьянина воровство — продолжение его борьбы за свою долю необходимого продукта, продолжение приусадебного хозяйства. Крестьянское хозяйство невозможно вести без инвентаря, без хозяйственных построек, без тысячи мелочей: без мотка проволоки — починить на скорую руку плетень, без машинного масла — смазать колеса у тележки, с которой за сеном ходят, без самих этих колес, без гвоздей... Сколько бы мы ни тыкали пальцем, стоя посреди крестьянского двора, в различные предметы вокруг нас, окажется, что почти ни один из них не куплен. И не потому, что крестьянин — тип изначально безнравственный и украсть гвоздей на гривенник ему приятней, чем купить. Просто купить все это негде, ничто из необходимого не продается. Но раз не продается, а хозяйство-то все равно вести нужно, — значит, воруеться...

Нет, все-таки с цифрами в руках проще представить, о чем идет речь: «В 1964 году в среднем на колхозный двор было выдано за работу в колхозе и продано сена и соломы на 37% меньше, чем в 1958 году. В связи с этим в ряде районов страны расхищались общественные фуражные запасы... В 1964 году в колхозах Львовской и Николаевской областей в среднем на хозяйство колхозника было похищено соответственно: сена 85 и 150 кг, соломы 110 и 140 кг»*.

Это единственное в своем роде печатное признание зависимости между производством необходимого продукта и воровством. И у нас есть все основания распространить найденную зависимость на приусадебные хозяйства в принципе.

Кто продаст крестьянину необходимые два-три мешка удобрений? В колхоз за ними не ходи, скажут, самим не хватает. И не без оснований скажут...

А кто украдет, тот и продаст. Впрочем, чаще сам крестьянин и украдет. Воровство пока не стало профессией для каких-то определенных лиц в деревне, как выращивание огурцов для семьи Тюкиных. Общественное разделение труда не сильно коснулось этого промысла, к которому как раз и применимо определение «подсобный и личный».

В магазинах, кроме ведер и лопат, ничего нет. Но все есть в колхозе. Нужны колеса для тележки? Пойди на машинный двор, там наверняка какие-нибудь валяются...

* Т.В.Дьячков. Общественное и личное в колхозах. — с.57.

Нужна веревка на ворота? Пойди к леснику, он получит свое и отвернется, когда ты ее из лесу потянешь... Нужна машина, дрова привезти, не ходи к председателю колхоза, не даст. Договорись с шофером — тот привезет, украдет эту услугу из колхозного бюджета.

Где бы Аксинья Егорьевна или Гавря Тюкин могли бы купить машину песка, необходимого одной для ремонта печи, другому — для строительства дома? Нигде не купишь. Но можно договориться, чтобы для тебя украли. Вору заплатишь, как заплатила Аксинья Егорьевна тому шоферу.

Впрочем, шофер тоже не подбирался к песчаному карьере тайно, аки тать в ночи, но подъехал среди бела дня, экскаватор нагрузил машину, и так же среди бела дня шофер поехал по селу, спрашивая, не нужен ли кому песок в обмен на бутылку водки.

В магазинах ничего не купишь: чего-то не привезли, а чего-то и в принципе не бывает в продаже. В колхозе не выпишешь, колхозу и самому невеликие фонды выделяются. А что можно бы и уступить частному лицу, то в первую очередь получают люди, которые около председателя кучкуются... И в то же время все кругом продается и покупается...

Легального рынка товаров и услуг, необходимых в крестьянском хозяйстве, не существует, но действует и процветает колоссальный рынок краденого. И если мы говорим, что основные фонды приусадебного хозяйства оцениваются сегодня десятком миллиардами рублей, то сумму ежегодных краж в сельской местности нужно оценивать миллиардами же рублей и не поднимать потешную возню по поводу того, что, по сведениям МВД, ежегодные хищения по всей стране отнимают-де у государства двести-триста миллионов.

Рынок краденых товаров и услуг процветает не только и не столько в сельской местности, но и в городах. Это явление весьма характерно для плановой, зарегулированной экономики. Д.Гэлбрейт, кажется, нечто подобное определил как неприличную возню по поводу дефицита. Нам такая высокомерная позиция не пристала. Нам все прилично. Тем более, что этот рынок является своего рода «приусадебным хозяйством для миллионов горожан».

И конечно, объект воровства — не только предметы производственного назначения. Если воруют материал для строительства хлева, корма для коровы, услугу ветеринара, то почему бы сразу не украсть конечный продукт — молоко?!

И воруют. Крадут все, что производится на колхозных полях и на фермах — кроме разве живого скота. Впрочем, десятками способов исхитряются воровски забивать скотину и тащат мясо.

И сами крадут, и детей посылают.

Я знаю многодетные крестьянские семьи, где дети начинают воровать с пятилетнего возраста. Да нет, не дети же воруют! Взрослые воруют детскими руками. Скажем, в полном составе семья идет в колхоз работать на току. У каждого в руках по ведру. Нароботать — немного наработают, но перед уходом домой ведро смачивается, к влажным стенкам прилипает зерно...

Самый маленький, конечно, не работал, а так, поиграть ходил со старшими, но и его кармашки плотненько набиты зерном — старшие позаботились. Вчетвером, впятером сходили — полведра принесли.

Доярки обучают детей, и те носят молоко с фермы даже в детской посуде. А уж грелка для сельского жителя — идеальный воровской инвентарь: удобнее предмета для кражи молока не сыщешь.

В послевоенные голодные годы, было время, при входе в деревню обыскивали крестьян, возвращавшихся с полей. Я узнал об этом случайно: женщина, с которой я разговаривал на сельской улице, зло плюнула вслед прошедшему мимо человеку. Оказалось, он какое-то время был тут председателем колхоза и лично ощупывал мою знакомую, нашел спрятанные ею в одежде три морковки, которые она несла детям. Нашел и отобрал... Такое не забывают и через тридцать лет.

Но если взрослые воруют, как работают, — то есть получают некий продукт, который иначе не заработаешь, то дети прежде всего получают моральный урок. И сколько бы потом в школе и в обществе ни проповедовали седьмую заповедь, проповедь лишь будет расшатывать цельное мировоззрение, усвоенное на деле во время невинных детских краж. Но, расшатывая, вряд ли даст взамен что-нибудь столь же прочное, как убеждение, что не своруешь — не проживешь.

В предыдущей главе мы, пожалуй, слишком легко проскочили мимо одного очень важного свидетельства медиков, которое здесь уместно привести целиком: «В 15–19 лет в сельской местности, сравнивая с городом, становится заметной более высокая смертность от болезней нервной системы органов чувств (в 2,5 раза), психических расстройств (в 3 раза)... Характерно то, что в этом возрастном периоде нет ни одной причины смерти, которая имела бы

более высокие показатели в городах, нежели в сельской местности»*.

Может быть, обостренная чувствительность юношеского возраста до трагических размеров усиливает в сознании разрыв между идеалом, проповедуемым ежедневно и ежечасно по всем каналам информации, и реальностью? Может быть, хрупкое юношеское сознание со смертельной остротой осознает ложь, которая еще не понятна ребенку и к которой уже привык взрослый? Увы, на этот счет нет данных, проверенных серьезными исследованиями.

Если человеку приходится ежедневно нарушать общепринятые нравственные нормы, если проповедь, которую он слышит ежедневно, никак не согласуется, да и не может согласоваться с единственно возможным способом поведения, слова или теряют свое императивное значение, или рассекают психику человека, разрушают его личность.

Это, кстати относится ко всему черному рынку в принципе. Все знают, что взятки, спекуляция, воровство безнравственны, но никто не может прожить без взяток, спекуляции, воровства.

И крестьянин прекрасно знает, что воровать — дурно, безнравственно. И ворует.

Крестьянин постоянно слышит, что в советском обществе первая и главная честь — труд. Но его, крестьянина, труд признан *общественно нерентабельным* настолько, что общество как бы из милости содержит его.

Крестьянин, наконец, слышит, видит в кино и на телеэкране, читает в газетах и журналах, что кругом-то люди живут прекрасно и счастливо (вспомним семью Александровых, которые купили диван-кровать), и в душу закрадывается холодная тоска, мрачное сознание того, что он — *неудачник*.

Нравственная ценность идеологии, противопоставляющей некое «светлое будущее» сегодняшней жизни общества, сомнительна сама по себе. «Лишение живущего поколения возможности свободно распорядиться своим имуществом и

* М.С.Бедный. Продолжительность жизни в городах и селах. — с.46. Цитируя, я позволил себе исправить явную опечатку. В книге последняя фраза выгладит буквально так: «Характерно то, что в этом возрастном периоде нет ни одной причины смерти, которая имела бы более низкие показатели в городах, нежели в сельской местности». Очевидно, что речь идет как раз о том, что в городах эти показатели *более низкие*, что ясно из цифр, приведенных в предыдущей фразе самим автором, и из таблицы на с.43 цитируемой брошюры. Или здесь специфическая терминология медицинской статистики?

подчинение его воле давно умершего поколения или правам поколения еще не родившегося, делают для него невозможным участие в работе на благо своей страны, убивают в нем интерес к земле, которая в определенном смысле становится для него чужой»*.

Мысль Сисмонди совершенно справедлива и в тех случаях, когда искусственно ограничивается приложение инициативы и капитала ради «планового научного ведения хозяйства». Утопические идеи умершего поколения, демагогия якобы в пользу поколений, еще не родившихся, а в результате — равнодушие и нищета поколения нынешнего.

Крестьянин, конечно, не так прост, чтобы целиком и полностью поддаться пропагандистскому угару, — а то бы не выжил, — но и не так крепок сознанием, чтобы не чувствовать зудящего разлада между всеобщей проповедью и собственной жизнью.

И хотя в общественных явлениях причина сплошь и рядом оборачивается следствием, мы, видимо, не ошибемся, если свяжем чувство социальной неполноценности с патологией сознания (нервные и психические болезни), с патологией поведения (пьянство, грубость, хулиганство, насилие).

У нас нет гласной статистики преступности, но как подсказывает опыт, в селе средних размеров — на 150–200 дворов — ежегодно совершается по крайней мере одно убийство или другое тяжкое преступление против жизни и здоровья человека. Население средней деревни легко расселится в небольшом городском доме на пару сотен квартир. Стали бы горожане спокойно жить в доме, где ежегодно убивают?

Теперь надо бы говорить о пьянстве... О пьянстве надо бы рассказывать много и подробно, и это был бы рассказ о животной тупости семейных отношений, о психически больных детях, рождающихся едва ли не в каждой сельской семье, это был бы рассказ о тяжелых увечьях и поломанной технике, о поджогах, убийствах и снова о детях, чьи судьбы искалечены атмосферой всеобщего пьянства. Словом, это был бы рассказ о физическом и нравственном вырождении народа, а мы пока, слава Богу, говорим о том, как народ противостоит вырождению.

Да и подступись к теме пьянства, научных сведений никаких не сыщешь. Сколько-нибудь систематического изучения пьянства не ведется. Нет такой темы в планах

* Ж.Симон де Сисмонди. Новые начала политэкономии. стр.277.

социальных исследований: страна запланированно движется к коммунизму, вырождение происходит внепланово.

Впрочем, если нет пока еще прямого плана на вырождение, то жесткий план на выручку, на доход от пьянства существует и действует. Государство из всего извлекает свою выгоду, даже из деградации личности алкоголика.

А мы-то думаем, что, хоть напившись, ускользнем от социалистической реальности! Ничего подобного! Нас и здесь догонят. Деньги, которые мы отдаем за водку, не что иное, как косвенный налог с населения. Недаром в закрытом партийном распределителе водку продают куда дешевле, чем всюду, — с партийной бюрократии налогов не взимают.

Специалисты утверждают, не печатно, конечно, но конфиденциально, что доход от продажи водки намного превышает нынешние экономические потери от пьянства. Власти от этого дохода легко не откажутся, даже если грядущее коммунистическое общество наполовину будет состоять из идиотов и потомственных алкоголиков. Если в каком-то сельском районе не выполняется план книжной торговли, туда дают вагон дешевой водки...

Водка — первейший товар на государственном черном рынке.

7

В обстановке постоянного материального дефицита и жестких запретов на частную инициативу, когда государство не может и не хочет удовлетворить элементарные потребности человека, все мы чужой волей выброшены на *черный рынок*, где все покупается: народом — втридорога мясо, одежда, строительные материалы и прочие блага; у народа — втридешева рабочая сила взрослого и ребенка, старика, женщины, а вместе с рабочей силой и вся жизнь работника целиком и полностью.

Человек и сам уже ощущает себя живым знаком черного рынка и на другого смотрит как на чернорыночного партнера... Эти связи, хоть и держат сверху донизу все советское общество, вовсе не исследуются ни социологией, ни социальной психологией. Они замечены лишь в художественной литературе, которая сама по себе — инструмент более тонкий и менее зависимый от директивного руководства, чем общественные науки.

Посмотрим глазами писателя на сельское общество, собравшееся за одним столом, за столом, который вполне мог быть накрыт в любой русской деревне: «Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта — этот на особицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая. Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть, — походишь, поклоняешься Аркашке-пилорамщику. А конюха взять? Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер — шофером, а конюх — конюхом. Придет зима да прижмет с дровами, с сеном — не Антохой, Антоном Павловичем назовешь...

Самым главным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы. Его пуще всех ласкал-потчевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось — из-за Антонида. Антонида в школе работать будет — чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партийный секретарь, еще весной сняли с прописью в районной газетке, — и когда теперь вновь подымется?»*

Да нет, не может быть, чтобы наблюдательная и мудрая Пелагея не поняла, зачем тут Афонька-ветеринар! А ну как все-таки подымется? Если не спился, еще не все потеряно: влиятельные друзья найдутся — и пьяного к должности прислонят.

Партийными секретарями, хоть и бывшими, власти легко не разбрасываются. Афонька — человек посвященный. Вчера был на партийной должности, завтра — на любой другой руководящей работе увидим. Он хоть и кажется, что только служит крупным хозяевам — райкомовским, обкомовским и тем, что повыше, но и сам хозяин под стать председателю колхоза или председателю сельсовета. Хоть и мельчайший, но хозяин. Власть. Правящая структура. Он на черном рынке не только товары покупает для себя и для семьи, но и дешевую рабочую силу — для нужд государства: с помощью таких афонец крестьянина обво-

* Ф.Абрамов. Пелагея.

ровывают в колхозе и заставляют сверхурочно вкалывать на приусадебном участке.

Что же это за общественная структура такая новая, в истории невиданная — партийная бюрократия? Что мы знаем о ней?

Афонька — государство, его мельчайшая пылинка. Государство — это люди, персонифицированная идея. Или даже один человек — вождь, фюрер, монарх. Кто же у нас в стране воплощает идею социалистического государства? Партийная бюрократия, три миллиона работников партаппарата и примыкающих к нему пропагандистских и репрессивных учреждений. Они правящая структура, охранители стабильности сложившейся социально-политической и экономической системы. Но по мере того, как идея изживает себя, перестает пользоваться каким бы то ни было доверием народа, она теряет преданность и самой правящей структуры. Уже не *идею* охраняют они, но лишь собственную власть и личные привилегии. Все с большей силой правящая структура проявляет себя на черном рынке не как государственное око, но как лично заинтересованный партнер.

Кто в условиях *черного рынка* обладает наиболее полным комплексом преимуществ? Кому все это выгодно настолько, что все перемены, всякая инициатива к переменам — видится как страшнейшее зло? Кто, не умея, не желая разумно организовать хозяйственную жизнь общества, может заставить крестьянина или рабочего идти на черную биржу сверхурочного труда? Кто реально распоряжается наибольшей суммой общественных благ и услуг, каждая из которых рано или поздно, но обязательно становится предметом купли-продажи на черном рынке? Кто распределяет сами доходные должности в системе, эти *кормления* XX века, сажая на них преданных афонец и пользуясь всеми преимуществами своего положения? Кому, наконец, мясо, обувь, книги продаются не через задние двери магазинов и с наценкой, а попросту в особом магазине и со скидкой? Кто же это? Да конечно же, не кто иной, как профессиональные политики всех мастей и рангов, партийное руководство, никем не избранное, но имеющее всю полноту власти в стране.

Все планы — экономические и политические, — все устремления нынешней государственной власти у нас в стране направлены на то, чтобы сохранить политические и материальные привилегии партийной бюрократии. Это задача номер один, все остальные задачи, включая материальное и духовное благополучие народа, общества,

имеют второстепенное значение при разработке планов на будущее.

Привилегий значительно больше, чем может показаться при сопоставлении прямых денежных доходов. Их даже трудно измерить единой мерой.

Можно сопоставить мизерную цену на продукты питания в закрытом распределителе для партийных работников с базарной ценой — для рабочих, но как сопоставить затраты на все продовольствие тех и других, если рабочему часто *негде* купить мясо, молоко и другие жизненно важные продукты?

Можно сопоставить мизерную квартплату, которую платит партийная верхушка, с огромными затратами крестьянина на строительство собственного жилья, но как сопоставить, какими деньгами измерить пропасть между роскошной квартирой и дачей для чиновника и ночлежными койками рабочих общежитий не менее как для *десяти миллионов* бездомных (впрочем, и этих-то коек не хватает всем, и ради них-то — интриги, унижения, подкуп, подлость)...

За медицинское обслуживание никто не платит наличными, но к партийному функционеру, прикрепленному к спецполиклинике, на дом приедут, чтобы кровь из пальчика взять, а крестьянин и с поломанной рукой будет топтать с десяток верст до ближайшей больницы или до ближайшей автобусной остановки и ребенка больного понесет...

Уже и место на кладбище дается не мертвому, но живому: чем выше должность в партийной иерархии, тем более благоустроено будет кладбище твое, и могила твоя не просядет, залитая водой, в первое же весеннее половодье, как то на небрежных общих городских усыпальницах, впрочем, городских лишь по названию, поскольку брезгливо отодвинуты они от города подальше, в район свалок и овощных складов.

В замкнутом мире тайной эксплуатации и нечистых экономических махинаций, в который каждый из нас впаян вне зависимости от личной воли и желания, партийная бюрократия занимает положение *королей черного рынка*, его «паханов». Сама партийная должность становится чернорыночной ценностью, и за столом у любого Петра Ивановича, где сидят уже не люди, но пилорама, машина, лошадь, — если и не парторг, мельчайшая сошка, то уж секретарь райкома сядет во главе стола.

Одно только подробное перечисление привилегий и льгот партийной бюрократии составило бы отдельную книгу. Книгу о социальной и экономической системе, где зарабо-

танные деньги перестают быть показателем общественного признания, но становятся лишь маскировкой, под прикрытием которой правящая структура *отнимает* блага без какого бы то ни было эквивалента.

Написать такую работу весьма интересно, но непросто, поскольку экономические границы правящей структуры сильно размыты. Разные ее слои по-разному участвуют и в присвоении, в распределении прибавочного продукта.

Часть прибавочного продукта идет на научно-технические разработки и исследования, которые, видимо, сами должны бы результатом своим иметь создание стоимостей, создание благ для общества. Но в социалистическом государстве правящая структура, естественно, руководит и общетехнической политикой, а значит, финансирует именно и прежде всего те научные и технологические идеи, которые обеспечивают его стабильное положение: исследования и разработки, связанные с военной промышленностью, — в области точных наук и техники; исследования, помогающие обработке и оглуплению масс, — в области общественных наук.

С партийной бюрократией тесно срослись и техноструктура, те, кто непосредственно руководит производством, и научная интеллигенция, и интеллигенция художественная. Все они получают свою долю прибавочного продукта — тем большую, чем лучше работают на стабильность системы, чем выше их деятельность оценивается партийной бюрократией, которая является единственным заказчиком и покупателем работ.

Очень интересны льготы, которыми пользуются люди, занимающие низшие ступени партийно-государственной лестницы, там, где бюрократия почти смыкается с крестьянством (или крестьянство тянется к бюрократии). Эти льготы и привилегии касаются... ведения приусадебного хозяйства.

«Председатель Лауцесского сельсовета (Латвийская ССР. — Л.Т.) имел в колхозе приусадебный участок в размере 0,97 гектара и, кроме того, использовал 1 гектар колхозного клевера под пастбище для личного скота, у председателя Продского сельсовета в личном пользовании находилось 2,11 гектара колхозной пашни*». Эти двое перебрали и были поставлены на место. Но в принципе использование специалистами и административными работниками колхозов, совхозов, сельсоветов производственных фондов тех хозяйств, где они работают, для нужд собст-

* Г.В.Дьячков. Общественное и личное в колхозах. — с.38.

венного приусадебного хозяйства — норма. «В настоящее время наибольшие хозяйства имеют руководящие работники, особенно руководители среднего и низшего звена»*.

Если не брать полюсы — скажем, крупнейших работников партаппарата, с одной стороны, и Аксинью Егорьевну с семьей Тюкиных, — с другой, то можно говорить о большей или меньшей привилегированности различных слоев общества, даже различных географических районов. Причем объем привилегий зависит от политических задач партийной бюрократии.

Москва, несомненно, самый привилегированный город страны. Московский рабочий трудится столько же, сколько, скажем, одессит или свердловчанин, но живет в условиях во всех отношениях более выгодных, чем остальное население. И не только из соображений престижа перед Западом, но как надежный оплот власти: недовольства и волнения в столице могли бы возбуждающе подействовать на всю страну.

Именно поэтому продовольствия в Москве продается на душу населения в два раза больше, чем в Одессе или в Ашхабаде (на 547 рублей в год против 286 — в Одессе и 270 — в Ашхабаде)**. И поскольку доподлинно известно, что у большинства одесситов нет приусадебных участков, можно смело утверждать, что питаются они хуже, чем москвичи, имея даже в виду, что Москва кормит сотни тысяч приезжих, которые стремятся сюда за продуктами, в том числе и одесситов, хотя от Москвы до Одессы 1526 километров по железной дороге.

Иными словами, если одесский рабочий (или херсонский, рязанский, архангельский и т.д.) производит то же количество продукта, что и его коллега в Москве, то потребляет он значительно меньше. Его политическая поддержка вызывает меньшую озабоченность у правящей структуры, и поэтому именно на его потреблении, на потреблении его семьи, его детей в первую очередь скажутся провалы хозяйственной стратегии партийной бюрократии. Именно он будет вынужден в первую очередь продавать на черном рынке свою рабочую силу: работать сверхурочно, вести подсобное хозяйство... или воровать.

Правящая структура по собственному произволу устанавливает цену на самый главный товар экономической системы: на рабочую силу. И дороже платит той части

* Г. Антонова. К вопросу о перспективах существования личного подсобного хозяйства населения... — М., 1975.

** О продаже и ценах на колхозном рынке. — М., 1975.

общества, у которой ищет политической поддержки. Вот крайне важная для нас истина: чем более существенна роль той или иной общественной группы в поддержании государства партийной бюрократии, тем менее ее благосостояние зависит от провалов и успехов в экономике.

Наличие товаров в закрытом распределителе не зависит от уровня их производства в целом по стране.

А уж судьба самой правящей структуры и вовсе никак не зависит от экономических обстоятельств. Экономические неудачи в той или иной отрасли хозяйства редко и совсем не обязательно сказываются на карьере нескольких чиновников. Да и они-то, как правило, лишь чуть понижаются в должности или и вовсе переводятся на аналогичную должность, но по другому адресу. Их отстранение — не что иное, как ритуал, видимость решительного действия в царстве полной хозяйственной безответственности.

Никто ни за что не отвечает всерьез. Никто ничего и не знает сверх цифр последнего отчета, отосланного в вышестоящую организацию. Социологи запросили у партийных и хозяйственных руководителей мнение о прошлых и будущих изменениях деревни и тут же увидели, что «из 545 высказываний только 15 содержат общую оценку происшедших и ожидаемых изменений... Малое число общих оценок изменений деревни позволяет сделать вывод, что руководители скорее склонны к анализу конкретных явлений сельской жизни, чем к обсуждению общих вопросов о масштабе социально-экономических изменений деревни, их глубине и значении»*.

Они даже сами не понимают, откуда берутся их привилегии, каким образом попадают продукты в партийный распределитель, кем оплачиваются их должностные льготы. Они не знают и не понимают общества, которым руководят: девять десятых из них считают, например, что через несколько лет приусадебное хозяйство колхозников уменьшится в объеме или вовсе отомрет**.

Но что же они тогда есть-то будут? Они и над этим не задумываются. Знают, что пока за ними власть, будут есть, и досыта...

Никто ни за что не отвечает. В тех рядах черного рынка, где как товар циркулирует личность партийного чиновника, наибольшим спросом пользуется не умение

* Р.В.Рывкина. Мнения руководителей сельского хозяйства о происшедших и будущих изменениях деревни. — В кн.: Современная сибирская деревня, ч.2. — Новосибирск, 1975. — с.92.

** Там же, с.100.

увидеть глубину хозяйственной и политической перспективы, не хозяйственный талант и инициатива, но дар раболопного исполнительства.

Тот, кто предлагает на продажу именно эти качества, может не опасаться банкротства и разорения, как бы ни обстояли дела на ином, главном рынке, где широко циркулируют хлеб, машины, жилище, рабочая сила. Даже бездарный хозяин, но преданный исполнитель обласкан будет начальством: ему при необходимости и место побогаче найдут. Талантливый хозяин, но нелояльный к системе и дня не продержится... Или нет, своим талантом он будет противопоставлен существующей хозяйственной системе. И смят будет, станет жить по законам бездарности, смирится.

Советская система — диктатура бездарности, диктатура *страха*, который бездарность испытывает перед талантом. Именно страх перед открытыми рыночными отношениями, *страх проиграть* на рынке — чувство хорошо знакомое, должно быть, каждому из нас — именно этот страх питает во всем мире социалистические идеи. У нас же этот победоносный страх обрел черты государственности...

Конечно, талант с бездарностью легко не разведешь. Тут на первый-второй не считаешься. И того и другого начала в каждом из нас предостаточно. Важно, какому из них легче выжить, с *каким из них легче выжить?* Принадлежность к правящей структуре определяется чуть ли не с детства: по данным социологов народного образования наиболее охотно исполняют поручения преподавателей и пионервожатых («занимаются общественной работой») как раз те школьники, которые не проявляют способностей к математике, филологии, биологии и другим специальным дисциплинам*.

Но ведь из комсомольских активистов вербуются послушные комсомольские функционеры, а те, в свой срок, становятся партийными чиновниками и управляют судьбой своих бывших одноклассников, которые проявили способности к математике, биологии, хозяйствованию...

Талант вынужден служить бездарности и жить по ее законам. И если таланту, чтобы реализоваться, нужны экономический простор, свобода инициативы и демократия, то бездарности реализовываться нечего, ее устраивает черный рынок, система запретов на инициативу, диктатура партийных чиновников.

* Социологические и экономические проблемы образования. — Новосибирск: «Наука», 1969.

Как крестьянин, который кормится со своего приусадебного участка, может не заботиться — он и не заботится — об успехах колхозного производства, так и партийный чиновник, кормящийся на черном рынке должностей, может не заботиться об успехах всей экономики. У него есть свой «приусадебный участок» — должностные привилегии и льготы. Ему не нужно думать, чем торговать и на что обменивать, его обязанность — отнять побольше в пользу государства, а уж государство о нем позаботится. Впрочем, он и сам себя не забудет.

Кажется, никакие экономические потрясения не могут поколебать стабильность системы, а значит, и неизбежность привилегий и льгот партийной бюрократии в целом. Ей не грозит разорением экономическая разруха. Ей ничем не грозит разорение крестьян и рабочих.

Замкнутость, ограниченность общественных интересов партийной бюрократии той сферой, где льготы, связанные с партийной должностью, выдаются лишь в обмен на послушание и безропотность (а в конечном счете в обмен на умение блюсти запреты и давить все живое и талантливое) и не зависят от хозяйственной деятельности — сила правящей структуры, но серьезная слабость всей системы в целом.

Феодалные замашки правящей структуры, ее экономическая развращенность и бездарность постоянно гасят те возможности, которыми уже сегодня обладает в стране крупное машинное производство и которое в условиях хотя бы относительной свободы рыночных отношений дали бы колоссальный толчок развитию производительных сил общества, значительно увеличили бы его благосостояние.

8

Просто удивительно, насколько легко разрешимы любые хозяйственные проблемы у нас в стране. Многим кажется — и это мнение поддерживается официально, — что нужны годы и годы, чтобы «поднять» сельское хозяйство, нужны крупные капиталовложения, техника, кадры. ДнепрогЭС нужно было возвести, теперь КамАЗ нужно построить. БАМ проложить...

Да ничуть не похоже! Все эти сложности накручены лишь для того, чтобы скрыть правду: достаточно освободить колхозы и совхозы от жестких административных ограничений и запретов, стесняющих хозяйственный маневр, и тогда крестьянин сам «поднимет» и сельское хозяйство

страны, и свою собственную жизнь, да и все днепрогэсы, камазы и бамы и построятся скорее и с большей отдачей заработают...

Несколько лет назад в стране исчез репчатый лук. Совхозы и колхозы не могли покрыть дефицит. И тогда в некоторых южных областях колхозам разрешили сдавать поля в сезонную аренду приезжим из Казахстана корейцам, мастерам возделывать лук. И что же? Урожай и сборы лука возросли в несколько раз в первый же сезон. Как просто!

Испытывая нехватку рабочих рук, руководители наших среднерусских хозяйств стали приглашать, с согласия начальства, конечно, сезонных рабочих из города, гарантируя им твердый и достаточно высокий процент от собранного количества картофеля, овощей или фруктов. Полученные таким образом продукты сезонники продают в городе по базарной цене. Дело настолько выгодное, что привлекает даже хорошо оплачиваемые категории горожан.

И что же? Там, где такая система прижилась, картофель больше не уходит под снег, помидоры не гниют в поле, не пропадают богатейшие урожаи яблок. Чего же проще?..

Но почему только приезжих нанимают для такой работы? Почему лишь приезжим сдают в аренду землю? Неужели корейцы настолько лучше лук возделывают, чем русские крестьяне? Неужели какой-нибудь кандидат наук копает картошку тщательнее, чем сельский житель? Я спросил об этом одного мудрого председателя колхоза в Тульской области:

— А если мы своим колхозникам землю в аренду сдавать станем или четверть собранного картофеля отдадим за уборку, кто же из них по нарядам работать пойдет? Для кого тогда нормы и расценки существуют? Нам что же, распускать колхозы? Нет, воспитательная атмосфера в хозяйстве будет невыгодная...

Да, мы же совсем забыли! Нас воспитывают.

Социализм воспитывает нового человека — так говорится и говорится. Подождем, когда воспитают. Но кто же из наших знакомых к идеалу нового человека ближе? Гавря Тюкин и его жена, которые, отработав день в колхозе, последние силы оставляют на приусадебном огороде? Или Афонька-ветеринар и его товарищи, которые верой и правдой готовы служить каждому новому секретарю райкома, пусть бы он заставлял их делать совершенно противоположное тому, что вчера ими делалось? Может, идеал — Аксинья Егорьевна, всю свою жизнь безропотно кормившая чиновников, которые продуманно мешали ей нормально

жить и работать, — ее фото только после смерти с Доски почета сняли? Или сам Леонид Ильич Брежнев — идеал исполнительного чиновника, чье житье подается нам в сусальной обложке?

Уж мы-то точно дальше от социалистического идеала, чем партийные функционеры. В нашей преданности социалистическим идеям начальство не уверено: нам на каждом столбе, на каждой стене висит напоминание: работай лучше... выполни план в четыре года... нынешний год работай за двоих... В цехе, в автобусе, в доме отдыха — всюду. Даже в доме призрения одиноких стариков, где каждое утро двоих-троих в морг несут, и тут прочтем при входе: «Поможем Родине ударным трудом...» Даже в психиатрической больнице.

Но нету лозунгов ни в строгих коридорах обкомов партии, ни в зданиях ЦК, ни в санаториях, где отрешаются от повседневности высшие партийные чиновники. К воротам их загородных дач не прибьют табличку «Дом образцового быта», какие лепят к стенам нищих деревенских изб. Друг другу они никакими глупостями досаждают не будут. Тут *новые* люди не воспитываются; кто сюда назначается, того и считают *новым*.

Но не надо думать, что они спокойно почивают за высокими заборами своих загородных дач, что размеренно гуляют, обстоятельно питаются удивительнейшей едой из распределителя и в ус себе не дуют, — НЕТ!

Как они вертятся! Как они работают! Сколько совещаний, предложений, постановлений! А ради чего? Да чтобы с земли, впрямую им подвластной, с этих девяноста восьми сотых пахотного клина, получить хотя бы две трети произведенного сельскохозяйственного продукта. Уж хоть бы не меньше!

Они крутятся, не спят ночей, ездят по плохим дорогам, стучат кулаками и ногами, кричат, приходят в отчаяние, заставляя людей трудиться *сознательно* (то есть бесплатно) на этих девяноста восьми сотых земли. И пока они развивают бешеную деятельность, подкрепляя ее лозунгами, знаменами и газетными статьями, прославляющими социалистический труд, на остальных двух сотых земли, на крошечных участках люди тихо и спокойно работают и кормят *половину* всего населения страны...

Но почему же так? Разве трудно представить себе, какого богатства достигнет страна, если снять сдавливающие запреты на хозяйственную инициативу?

Да нет, конечно же, не духовный облик народа тревожит распорядителей хозяйственной политики, когда речь заходит

об экономической самостоятельности крестьянина. Тут интерес более близкий: быть или не быть государству партийной бюрократии? Самостоятельность хозяйственная грозит стать самостоятельностью политической.

В конце шестидесятых годов, в либеральные времена разговоров об экономической реформе один хозяйственный безумец, чье имя стоит запомнить, Иван Никифорович Худенко, уговорил какие-то советские инстанции пойти на «эксперимент»: вместо многочисленных банковских счетов, по которым не только финансируется, но и до каждого чиха контролируется и регламентируется деятельность совхоза, открыли ему один-единственный счет и предоставили самому решать, сколько на что потратить следует.

И что же? Себестоимость зерна в этом совхозе оказалась в четыре раза ниже, чем всюду, прибыль на одного работника — в семь раз, а заработки — в четыре раза выше, чем в других совхозах. Производительность сельскохозяйственно-го труда выросла в три раза...

Казалось бы, при наших постоянных хозяйственных трудностях Худенко должен бы стать национальным героем. Но нет. «Нам нужна не всякая производительность народного труда». Худенко вскоре умер, присужденный к трем годам заключения в лагере.

Судьба его эксперимента поможет нам понять саму суть экономической политики государства. Обратимся к свидетельству участника этой истории, опубликованному десять лет тому назад:

«Я и трое моих товарищей, все инженеры-проектировщики с высшим образованием, встретились с организатором и руководителем эксперимента И.Н.Худенко и предложили ему свои услуги. Скажу, что нам сначала показалось трудно. Выяснилось, что мы совершенно не приучены и не умеем самостоятельно принимать решения, хотя трое из нас работали в должности главных конструкторов и архитекторов проекта. Какие дома строить, из каких материалов? Как строить, какие механизмы приобретать в первую очередь? Все это мы стали решать сами. А через некоторое время вошли во вкус, почувствовали себя творцами общего дела, настоящими хозяевами.

Я не знаю, сколько существует... соседний овцесовхоз, но водопровода у него нет и по сей день. А проектируют его уже лет пять-шесть, и денег на подрядчиков овцесовхоз потратил уйму. Наше звено строителей проработало в этом поселке меньше года, а вода уже весело зажурчала в кранах наших первых квартир и на все объекты подается. Мы сами построили в несколько месяцев скважину и водона-

порную башню — без проекта и без сметы. Смета нам вовсе ни к чему, ведь ни норм, ни тарифов, ни расценок на виды работ у нас нет и агитировать тут никого не надо: чем меньше будут затраты, тем выше заработок каждого...

Получили мы одновременно с хозяйством обычного типа — Бурундайским откормсовхозом — импортные агрегаты для производства травяной муки. Бурундайцы их еще не пустили, а у нас они уже с середины прошлого года нормально работают и дают отличную продукцию. Дело опять-таки в том, что мы не открывали специального финансирования, не искали подрядчика. Сразу взялись за дело и в срок, за который вряд ли можно было успеть оформить все бумаги, смонтировали агрегаты, наладили и освоили производство. Сделали все быстро, но... с нарушением установленной процедуры. Проектировали механическую часть проектанты, хотя и с разрешения своего руководства, но не по плану — внеурочно. Налаживали автоматику самые квалифицированные специалисты также сверхурочно, привозили мы их к себе в хозяйство на субботу и воскресенье. И платили наличными, по договоренности, без норм и расценок, а так, как считали выгодным для дела. Не скрою, переплачивали, видимо, наладчикам в сравнении с существующими тарифами, но зато завод работает...

Когда мы спрашивали Худенко, можно ли сделать то-то и то-то, хотя это по действующему порядку не положено, он неизменно отвечал: «Делайте так, как это наиболее целесообразно и выгодно с соблюдением государственных и своих интересов. Ошибки могут быть, но за них не убьют...»*

Убили.

И с точки зрения защитников системы было за что убивать: Худенко взорвал черный рынок, он пустил в него свет и воздух открытых рыночных отношений.

Смета, норма, расценки — весь этот финансовый механизм, без которого преступно обошелся Худенко, так устроен, что позволяет *бесплатно* отнять у работника значительную часть произведенного им продукта, выталкивая его самого на *черный рынок*. При помощи этого механизма «правящий класс» отнимает у крестьянина необходимый продукт, заставляя добирать в приусадебном хозяйстве. Механизм этот строго охраняется системой запретов и ограничений, наложенных на хозяйственный маневр.

* «Литературная газета», 18 ноября 1970 г.

Худенко же, связав работника прямым материальным интересом с конечным результатом труда, не оставил в хозяйственной практике места для партийной бюрократии — *запрещать* стало нечего и *отнимать* стало негде.

Совхоз как бы заслонился от внешних административных властей. Хлеб — пожалуйста. Травяная мука — пожалуйста. А с вашим фискальным досмотром, с вашей полицейской опекой — пойдите прочь! «Кушать — кушайте, а к хозяйке на кухню свой нос не суйте!» — говаривал Худенко.

Административные власти могли только одним способом влиять на положение дел в таком хозяйстве, буде «эксперимент» доведен до конца: снижать или повышать цену на технику, материалы, удобрения... **ТОРГОВАТЬ.**

Худенко предлагал партийной бюрократии стать торговыми партнерами. А стать торговым партнером — значит, довольствоваться лишь частью прибавочного продукта, оставляя крестьянину тот необходимый продукт, который сейчас через завышение нормы и занижение расценки попадает в руки партийной бюрократии без всяких торговых церемоний.

Стать торговым партнером — значит, выпустить из рук абсолютную привилегию власти. Стать торговым партнером и таковым же сделать крестьянина — значит, дать ему свободно дышать, дать ему почувствовать себя человеком, дать ему дорасти до гражданского самосознания — а вдруг и отличного от того образа мыслей, который насаждается партийной бюрократией?

Стать торговым партнером — значит, везде и на всех уровнях общественной жизни соревноваться в том, чтобы как можно полнее удовлетворить материальные и духовные потребности народа, *конкурировать*... Но с кем конкурировать?

Стать торговым партнером — значит, допустить риск возникновения конкурента, допустить риск проиграть в конкуренции; а учитывая многолетний отбор бездарности в правящую структуру, проигрыш почти неизбежен.

Да кто же согласится на такую судьбу? Худенко был наивным мечтателем, жертвенным героем, которому наши потомки, несомненно, воздадут должное.

Но разве нет у нас колхозов и совхозов, где все банковские счета на месте, а производительность труда лишь немногим меньше, чем у Худенко была? Разве нет у нас отлаженных, производительных хозяйств, добившихся экономического успеха в *границах* существующих админи-

стративно-хозяйственных порядков? Есть. Но правильно ли мы понимаем, где эти границы проходят?

Приглядимся — и за гласной хозяйственной жизнью, за жизнью, *подставленной* нашему взгляду, с подъемом флага в честь лучшего механизатора, с вручением отрезов дояркам на 8 Марта, с трехстворчатым шкафом знакомой нам семьи Александровых, не станет ли нам различима иная хозяйственная реальность — тайная, негласная чернорыночная.

Что поможет нам добыть строительные материалы сверх мизерного лимита? Все знают: подкуп и спекуляция... Что помогает приобрести запасные части, без которых машинный парк с места не сдвинется? Подкуп и спекуляция. Что поможет приобрести бензин и солярку? Сдать мясо на мясокомбинат? Найти железнодорожные вагоны, лес, солому, нужные породы скота, подрядчика на строительство? Подкуп, спекуляция, коррупция.

О существовании этой сферы хозяйствования все хорошо знают, всех и каждого она хоть краем, но обязательно касается. Иной раз и пошире откроется в застольных откровениях пьяного председателя или его доверенных лиц. Но охватить ее общие границы — кому сегодня удастся? Кому удастся различить, как сквозь сияющий образ передового колхоза, созданный фотоочерком в «Огоньке», проступает черный задник экономической нелегалщины, тайных хозяйственных махинаций, скрытого обмана?

Впрочем, от кого скрытого? Разве что от нас, читателей центральной и местной печати, которым эти колхозы подаются как высшие достижения *социалистического* хозяйствования. Но не от райкома партии — отсюда все границы видны.

Партийные органы хорошо осведомлены о чернорыночных операциях — если не по частностям, то в принципе. Где надо, они разрешат обойти запрет, где надо — отвернутся, но как только уровень хозяйственной самостоятельности минует «худенковскую черту» — так и лапу наложат.

Они не боятся черного рынка. Это не страшно, что кто-то с их ведома обходит запреты, лишь бы не стремился их вовсе отменить! Лишь бы не *открытый рынок*, лишь бы не административно-хозяйственная самостоятельность.

В условиях открытого рынка партийной бюрократии нечем будет оплачивать свою государственную политику, неоткуда будет изъять те огромные средства, которые практически в любых количествах можно получить через

систему тарифов, норм, расценок, культивируя *черный рынок* как сферу подконтрольной инициативы.

Чем же *черный рынок* отличается от рынка открытого? В конечном счете тем, что через механизм *черного рынка* финансируется *политика* партийной бюрократии, тогда как механизм открытого рынка в первую очередь подталкивает развитие экономики.

Черный рынок — механизм поддержания стабильности политической системы, ее независимости от экономических законов.

Открытый рынок — механизм поддержания стабильности экономической системы, ее независимости от законов политической жизни.

Или рынок, или социализм. Или стабильность экономическая, или независимая от благосостояния общества стабильная политическая система. А поэтому все разговоры о рыночном социализме — праздное занятие. Наиболее умные представители государства понимают это. Вот почему партийная бюрократия никогда не разрешит широкую аренду земли, вроде той, что открыта корейцам. Вот почему обречен был «эксперимент» Худенко. Вот почему много разговоров, но мало дела вокруг *безнарядной* оплаты труда в сельском хозяйстве и бригадного подряда в строительстве, которые имеют реальный смысл лишь в том случае, если достигнут уровня хозяйственной самостоятельности худенковского совхоза.

Наиболее умные представители государства прекрасно знают, что социалистическая система не тянет, проигрывает в мировом экономическом соревновании с открытым рынком. Это было ясно уже более пятидесяти лет назад — в расцвет НЭПа.

Именно этот четко наметившийся проигрыш заставил Сталина понять и изречь то, что еще было непонятно Ленину: «Нам нужна не всякая производительность труда...»

Но нет, обыденное наше сознание никак не может взять в толк, почему *всякую-то* использовать нельзя? Почему же увеличение производства продукции в три, пять, десять раз не радует власть имущих? Нам кажется, все можно объяснить, все понять... Ну, хорошо, сидят они над нами, и пусть сидят. Никто на их власть не посягает. Пусть только дышать дадут, узду ослабят... Ведь сами жесмогут от большего продукта большую часть иметь...

Ведь не все же там наверху афони, вроде абрамовского героя, есть же умные, знающие люди. Что же они-то не поймут никак?... Что же никак не найдут разумную грань между полным отрицанием открытого рынка, написанным

на знамени социализма, и его использованием для социализма?

Наше обыденное сознание никак не хочет признать, что в тупик залетели, и все ищет, все ищет и, не желая принять истинную причину, ссылается на ложные: мол, во всем воровство виновато — воров бы к стенке!.. Да нет, во всем виновато засилие нацменов... Ищите причину в бюрократизации, в волоките... вредительстве... твердолобая старость...

В этих суждениях — надежда найти спасительную частность. Пусть, пусть остаются они наверху, пусть только узду ослабят... Думать о переменах страшно. Перемены — с кровью!

До каких же пор в условиях социалистического государства можно освободить рыночные отношения? А насколько можно, настолько они и освобождены — в рамках черного рынка. Здесь вполне можно положиться на инстинкт самосохранения партийной бюрократии, вполне можно доверять ее абсолютному нюху на крамолу — экономическую и политическую.

Случай с Худенко и показывает, до каких пор можно снять запреты, «худенковская черта» есть крайняя граница экономической свободы в нынешних условиях. Дальше вроде бы никто не заходил, да и на этой черте мало кто побывал. По крайней мере, нам такое неизвестно.

«Эксперимент» Худенко, продолжавшийся всего только два года, принес государству более миллиона рублей прибыли, но сам организатор дела был осужден за то, что не сумел отчитаться документально за семь тысяч рублей, потраченных на нужды управления хозяйством,

Смехотворные обвинения! И это несмотря на то, что «соотношение обслуживающего управленческого аппарата к рабочим в экспериментальном хозяйстве составляет 1:40, а в соседнем хозяйстве 1:3,6»*.

В десять раз экономнее! Да разве действительная экономия интересует нашу правящую структуру? Это была та наглядная экономия, которая грозила пошатнуть существующий государственный порядок. Обещая миллионы прибыли, Худенко ставил под сомнение систему власти.

Те, кто в порыве реформенного вдохновения разрешил «эксперимент», в последний момент предали его. Все эти «умные», широкомыслящие, «знающие» партийные работники, которых мы в своем сознании должны противопоставить пьяному Афоне, отвернулись от него. Мы хороним

* «Литературная газета», 18 ноября 1970 г.

знаем, что без санкции партийных органов ни один волос не упадет с головы крупного хозяйственника. Здесь — санкционировали.

Называют и фамилию человека, который вначале поддержал, а потом предал Худенко — член Политбюро Кунаев... Нужен был юридический прецедент, чтобы другим неповадно было. И его создали!..

Слово «эксперимент» я всюду писал в кавычках, потому что какой же это эксперимент? Это как раз естественные хозяйственные отношения, проверенные веками. Все остальное и есть исторический эксперимент, продолжающийся уже более шестидесяти лет.

9

Думалось кому-то прежде: социализм — царство светлой справедливости. От каждого по способностям, каждому по труду. Вгляделись, а перед нами грандиозный черный рынок: ты — мне, я — тебе. И способности негде реализовать, и труд остается неоплаченным, и жизнь уходит на суету: где бы чего достать съестного, хоть за тысячу верст, да наготу не мешком прикрыть. Видим: социалистическую страну не накормить без сорока миллионов частных хозяйств. Знаем: заводы встанут без сырья и материалов, если не помогут ловкие толкачи-снабженцы, специалисты подкупа и спекуляции. Да что там толкачи — в партийный аппарат работать на зазовешь, не подкупая доступом в партийный распределитель, внеочередной квартирой и другими привилегиями и льготами.

О таком ли социализме мечталось? Теперь и партийные теоретики проклинают того простодушного дурачка, который ляпнул, не подумав: «Уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Ладно, коммунизм-то объявить можно. Но жрать-то что при коммунизме будем?..

Уже сегодня потребности населения в мясе удовлетворяются лишь наполовину, и распределение мяса в крупных промышленных центрах (таких, например, как Ростов-на-Дону, Одесса и многих других) происходит строго лимитированно по месту работы главы семьи, то есть является нам, по сути, замаскированную карточную систему.

Сейчас в стране производится в год на душу городского населения сельскохозяйственной продукции на 390 рублей, а покупается продуктов питания на душу населения в Москве на 547 рублей, в Киеве — на 415 рублей... А в

Одессе — на 286 рублей, в Рязани, Тамбове, Перми и того меньше. Одесса все-таки центр той южной степной России, которая должна была, по мнению Сисмонди, и вполне могла бы, по опыту Худенко, переполнить рынки Европы дешевым хлебом*.

Но если у крестьянина есть приусадебное хозяйство, где он может добрать необходимый продукт, то как быть промышленному рабочему? А все так же. Все с большей настойчивостью промышленный рабочий выталкивается на черный рынок, вынуждается продавать свою рабочую силу, чтобы нормально жить, нормально питаться...

Здесь нужно пожалеть читателя. Это должно быть очень утомительно, когда разговор все о питании, все о пище земной, а не о духовной, все о жратве да о жратве, все взвешивать да сравнивать, кто сколько съедает, кто сколько потребляет, — кто больше, кто меньше. Не голод же, не катастрофа, не война. Сыты ведь, с голоду никто не пухнет и детей рахитичных не так уж много. Сколько же можно на чужой кусок зариться, в чужой рот глядеть, чужое чревоугодие исследовать?

Тут всякий читатель скажет: да хватит уж об этом! — и тот, кто от пуза живет, и тот, кто в ниточку тянется. Оба и скажут: не хлебом единым жив человек... Один заявит, указывая барственно, другой, стесняясь, оберегая свое человеческое достоинство. *Нищета унижительна*, собственную нищету лучше не замечать. Очень уж горько. «Давайте о другом!» — скажут оба.

А это и есть — о другом. Это разговор об унижении, о развращении рабочего человека, который уже сегодня мог бы сделать свою страну изобильной. И не наша вина, что разговор об экономике страны все никак не минует тему элементарного потребления. Тем и живем сегодня, таковы и заботы наши: о куске хлеба заботимся в суете и беспокойстве.

Восемь часов в день должен трудиться рабочий в наше время, чтобы создать все необходимые обществу блага. Шесть или даже пять часов на особо трудных работах. Сорок часов в неделю. Но мы знаем: в стране нет предприятий, где бы рабочие не оставались сверхурочно после двадцатого числа каждого месяца и ежедневно в

* Приведенные материалы опубликованы в специальном издании: О продаже и ценах на колхозных рынках. — М., 1975. Я уже цитировал эту брошюру-справку, но именно здесь уместно сказать, где ее найти: в спецхране Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки — ДСП № 3762.

последние месяцы года. Мы знаем: огромное число рабочих вынуждено искать *левого* заработка, *халтуры* вне завода или стройки.

Во внеурочное время строительный рабочий предлагает населению услуги по ремонту квартир. Во внеурочное время шофер самосвала предлагает населению рейс с грузом песка или гравия. Во внеурочное время его товарищ по цеху разводит в квартире кроликов и выходит с ними на базар, занимая место рядом с крестьянином.

При этом сплошь да рядом продаются не только товар и услуги, но и ворованные по месту основной работы материалы, инструмент, на время украденные механизмы (грузовая машина, украденная на один-два рейса). Да и время-то не всегда неурочное. Сплошь и рядом рабочий научился обманывать начальство и в цехе, в официальное рабочее время исполняет *левые* заказы.

А как же иначе? Если реальный — на руки — заработок промышленного рабочего 150–180 рублей, а мясо на базаре стоит 5 рублей за килограмм, картофель — по 40–50 копеек, соленая капуста и та подорожала со времени, когда к ней приценялась Аксинья Егорьевна, и теперь стоит рубль за килограмм и в будни, — как же иначе? Купить в магазине? Но там не дешевле, поскольку с прилавка в магазине нигде, кроме Москвы, мясо не купишь — дефицит. А если продавцу *на лапу* давать, обойдется как раз по-рыночному. Картофель, может, и свободно есть в магазине, но две трети выбросишь при чистке.

Может быть, поэтому «в снабжении населения картофелем в Баку, Краснодаре, Армавире, Мичуринске, Запорожье доля колхозного рынка занимала 41–48%, в Днепрпетровске, Балашове, Одессе — 66–77%...»*.

Хорошо, если у гражданина есть родственники в деревне: «Родным (живущим в городах. — Л.Т.) помогают 21% семей без личных хозяйств и 70% семей с наиболее крупными хозяйствами... Участие личных подсобных хозяйств сельских жителей в снабжении городского населения продуктами питания (имеется в виду родственная взаимопомощь. — Л.Т.) пока вообще не учитывается, хотя грубые подсчеты показывают, что объем продукции, перемещающейся по

* О продаже и ценах...

данному каналу, сопоставим с оборотом колхозного рынка»*.

А если нет ближних в деревне? Если новоиспеченные горожане поторопились выписать в город и стариков, надеясь на лишние метры жилплощади, как теперь они обойдутся? С базара не проживешь.

Нет, промышленный рабочий или строитель за восемь часов ежедневного труда, оплаченного по существующим нормам и расценкам, не может заработать достаточно, чтобы кормить семью и существовать самому. Чтобы купить мясо через заднюю дверь магазина. Или сапоги у спекулянта. Чтобы дать взятку там, где это требуется для обретения элементарных благ. Не может. И тогда он *вынужден* оставаться в цехе сверхурочно. Или, выйдя из цеха, искать дополнительный заработок на стороне. Или воровать. Или тратить время на производство овощей у себя в огороде...

Без этой деятельности вне «планового» рабочего времени, без этой торговли собственным трудом на негласной *черной бирже* ему не прожить. Да и профессиональным политикам не сохранить стабильность системы, не покупая труд рабочего вне «плановой» системы, то есть на *черном рынке экономики*. (Понятие «плановый» не надо бы вообще противопоставлять черному рынку. Все эти чернорыночные отношения тоже *запланированы*. Только, понятно, кто же предаст гласности такие *планы*?)

Сколько же надо платить рабочему, чтобы он мог заработать за восемь часов труда нормальное существование себе и своей семье? Увы, у нас в стране нет сколько-нибудь реального понятия *о стоимости рабочей силы*. Экономисты, которые пытались ввести это понятие и проанализировать его, проанализировать движение рабочей силы как товара, неоднократно биты защитниками официальных научных канонов и стали едва ли не самыми распространенными *отрицательными* персонажами производственных романов и повестей.

Вот только что опубликованное подцензурное свидетельство: «Нет ни одной монографической работы, в которой хотя бы предпринималась попытка проанализировать рабочую силу как экономическую категорию в целом и при социализме, вскрыть как материально-вещественное, так и социальное ее содержание.

* Т.П.Антонова. К вопросу о влиянии размеров личных подсобных хозяйств на занятость сельского населения, досуг и материальное потребление. — В кн.: Современная сибирская деревня, ч.1. — с.140. ...И это все с тех же полутора-двух процентов пахотной земли!!!

Не решены еще и многие частные вопросы, в своей совокупности составляющие проблему рабочей силы. Многие из них пока что едва намечены, а некоторые даже не поставлены. Среди последних — вопрос об особенностях рабочей силы в эпоху развитого социалистического общества.

В научной и учебной экономической литературе на этот вопрос имеется один-единственный ответ — она перестала быть товаром. Положение, конечно, бесспорное...»*.

Признав это положение бесспорным, и сам обличитель советской экономической науки ни на шаг вперед не продвинулся.

Рабочая сила — товар. И это хорошо знают те, кто стремится взять ее подешевле. Здесь мы можем привести пример, который косвенно покажет нам отношение советского руководства к стоимости рабочей силы.

Речь идет о послевоенном восстановлении завода «Запорожсталь», с которым связана биография Л.И.Брежнева: «Многим тогда казалось, что проще и дешевле было бы подорвать уцелевшие конструкции, разобрать их полностью, а затем уже строить завод заново. Так и рекомендовали поступить специалисты из ЮНРРА — международной организации, занимающейся помощью странам, которые пострадали от фашистского нашествия.

Побывав в Запорожье, они в один голос заявили, что восстановить разрушенное вообще невозможно, а если кто и решится на подобный эксперимент, то потратит на это больше средств, чем на строительство нового завода. Однако страна остро нуждалась в тонком холоднокатаном листе, производство которого должна была обеспечить первая очередь «Запорожстали», и советские люди опрокинули все прогнозы и предсказания иностранных специалистов»**.

Позвольте, да какие же прогнозы опрокинулись?! Попросту вопрос «дороже или дешевле» снимается. Нужно! Потратили больше средств, чем на строительство нового завода? Да каких средств-то? Рабочая сила почти бесплатная ведь.

Иностранные специалисты вообще очень часто попадали впросак, оценивая те или иные экономические возможности нашей страны. Они исходили из факта определенной стоимости рабочей силы.

* Б.Л.Цыпин. Рабочая сила и ее особенности в период развитого социалистического общества. — М., 1978. — с.5.

** Леонид Ильич Брежнев. Краткий биографический очерк. — М., 1976. — с.47.

Между тем стоимость рабочей силы в стране на практике оценивается весьма приблизительно и субъективно в зависимости от того, как правящий класс понимает общественную необходимость. Общественно необходимая норма удовлетворения индивидуальных потребностей в некоторых случаях может понижаться до бесконечности, до лагерной пайки.

Оставим при этом в стороне тот аргумент, что, мол, «страна остро нуждалась». После войны все страны остро нуждались, и восстановление хозяйства, скажем, в Западной Германии шло не менее высокими темпами, хотя там рабочая сила — товар отнюдь не самый дешевый. А может быть, как раз поэтому?

Не только в годы послевоенной разрухи, но и до сих пор, будучи полновластными распорядителями *черного* рынка, хозяйственные руководители страны вынуждают рабочего продавать свой труд за бесценок, вынуждают его работать значительно больше восьми часов. Причем, приобретая сверхурочный труд рабочего, высокопоставленные покупатели так являют дело, что нам кажется, будто это сам рабочий плохо работал положенные восемь часов и теперь должен наверстывать упущенное, поскольку «страна нуждается».

Достигается это при помощи все тех же норм и расценок: за все труды ему платят столько, сколько должны бы заплатить за восьмичасовой рабочий день. Не останешься сверхурочно — не проживешь. А все попутные лозунги о нуждах страны — это чтобы суть прикрыть. Если бы действительно нужды страны в расчет брались, все хозяйство иначе организовано было бы.

Нет, производительность неоплаченного труда расти не хочет. Щедрость и многотерпение рабочего не бесконечны. И если рабочую силу регулярно использовать, не возмещая ее общественной стоимости, человек начинает работать значительно ниже своих возможностей...

Именно это и происходит у нас в стране. Причем так явно, что даже партийные чиновники заметили этот процесс: «Довольно много руководителей указали на то, что за последние 10-15 лет изменилось отношение работников к труду. Если критические высказывания о технико-экономических аспектах производства единичны, то об отношении работников к труду доля критических высказываний зна-

чительно выше»*. Эта обратная связь, пожалуй, самая важная черта сегодняшней экономической реальности...

Похоже, что рабочий и крестьянин живут сегодня почти одинаково. Но если жизнь крестьянина мы смогли хоть как-то проанализировать, используя данные и цифры открытой советской печати, то никакой серьезный анализ положения рабочих нам недоступен.

Один остроумный француз заметил: «Рабочий мир настолько утратил свою индивидуальность, что из всех слоев советского населения о нем мы знаем меньше всего. Нам известны подробности жизни в лагерях, но жизнь на заводах остается почти полной тайной».

И это резон сказать не только французскому советологу, но и нам, жителям городских кварталов, вплотную примыкающих к заводским корпусам.

Нигде не найдете вы статистики сверхурочных работ в промышленности и строительстве. Сами эти сверхурочные работы тщательно скрываются. Еще бы! Ведь партийная бюрократия хоть как-то, хоть косвенно может признаться, что крестьянство принесено в жертву интересам пролетарского государства, но кому в жертву отдан сам рабочий, от имени которого правящая структура руководит страной?

Де нет, не в том беда, что социализм выглядит не так, как мечталось: может ли он вообще выглядеть иначе? Беда в том, что перед нами безрадостная хозяйственная перспектива.

Посвящая многочасовые говорения на Пленумах ЦК партии тому, в конечном счете, как повысить производительность плохо оплаченного труда, Брежнев никогда не забывает сказать о необходимости для крестьян, а в последнее время и для рабочих, вести приусадебное хозяйство. Но нет, личные хозяйства рабочих и колхозников с их техникой, переделанной из миксеров и пылесосов, с их ворованными строительными материалами не поднимут сельского хозяйства страны. Делая ставку на дальнейшую интенсификацию приусадебных хозяйств, правящая структура вновь устраняется от необходимости радикальных перемен в экономике. Страна нуждается не в «Товариществе огородников и садоводов», а в развитой аграрной индустрии, где сполна оплачивался бы весь общественно необходимый труд...

Впрочем, здесь разговор о нуждах страны заставит нас повторять то, что сказано выше.

* Р.В.Рывкина. Мнения руководителей сельского хозяйства... — с.95.

Простимся с Аксиной Егорьевной.

Ее портрет сняли с Доски почета. Она свое отработала.

В апреле я сколько мог следил за ее домом, старался отвести весенние ручьи, чтобы не залило подвал, даже и сам в подвал слазил, посмотрел, не сочтется ли где, а как сошел снег и прошла большая вода, поставил рухнувший было плетень, ограждавший ее огород со стороны улицы. Думал все, что кто-то из ее дочерей придет либо дом продавать, либо еще напоследок огород засадить.

Но не знаю, как это бывает, а без хозяина дом, и вправду, сирота. То ли плетень плохо поставил, то ли еще где были дыры, но на участке стали появляться чьи-то голодные овцы, бродячие свиньи и целый выводок шумливых гусей. Никто из родственников не ехал, и я уже с печалью предвидел, как на будущий год участок зарастет сорняками, амбар покосится, и через огород мальчишки протопчут дорожки по всем направлениям...

Но все оказалось иначе.

В середине апреля ко мне пришел колхозный скотник. Он хоть и жил через улицу, но мы были мало знакомы. Я знал только, что у него восемь детей, и всех этих мальчиков и девочек я всегда отличал от других деревенских ребятшек, но не мог отличить друг от друга — такие они все были рыжие и веснушчатые, в отца.

— Вы на участок претендуете? — спросил он.

— На какой?

— На Оксин.

— Нет, не претендуем.

— Тогда я его займу, что ли, — как бы безразлично заметил он. Но уходя, не выдержал безразличного тона. — Земля тут больно хороша. Раньше конный двор был — на два метра унавожена. Оксе повезло в жизни... Тут картошка пойдет. — И он вышел радостный, что ему досталась такая земля, что ему тоже повезло в жизни.

Москва

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЛОВУШКА

(Роман в четырех письмах)

Привет из Заборска!

Здравствуй, Сергей Михайлович, после длительного молчания, пользуясь случаем, решил написать письмо. Да ведь как у нас бывает в жизни: рвешься из последнего, ни о чем не думаешь — ни о здоровье, ни о семье — одна работа, и вот сейчас пришлось забраться в больницу. Причина одна — Вам пишу как это есть, — ну, болезнь мою знаете: сах. диабет II (средней тяжести), — но не эта причина лечь в больницу. Буду краток и опишу без нытья, так как к этому не привык, но одно только не укладывается в душе: за что все так делается и где справедливость искать?

Я, как знаете, шесть лет последних работал начальником районного управления сельского хозяйства. Теперь по указанию и личному выбору Жуковца Н.С., первого секретаря обкома, подготовлено на мой счет мудрое постановление бюро, вызванное жалобой колхозников к/х «Красный каучук», что бывший их председатель завалил все дела, колхоз находится в тяжелом положении — 6 млн. долгов, на земле нет хозяина, строительство не ведется; что он нарушил колхозную демократию, без согласия Совмина землю передал совхозу им.Р.Люксембург... Жалоба адресована на имя Соломенцева М.С., Председателя Совета министров Российской Федерации, в связи с чем Жуковец на подъем этого хозяйства называет мое имя.

Постановление бюро гласит: в целях укрепления руководства, значительного улучшения производственно-финансовой и хозяйственной деятельности, ликвидации убыточности направить на должность председателя колхоза «Красный каучук» т. Хренова В.А., работающего начальником управления с/х Заборского райисполкома.

Я в начальники не лез, кажется. Десять лет я работал директором совхоза в Сосновых Горах, тянул, вытягивал,

по телевизору нас показывали, Переходящее Знамя Совмина ты же своими руками мне вручил на вечное хранение. Не буду перечислять, что все фермы были механизированы, что для народа карусели и гигантские шаги построил...

Когда начальником управления назначили, я до унижения дошел, в кабинете у Жуковца слезами плакал, чтобы только оставили меня в покое. И жители сосновогорские писали в защиту, чтобы меня директором совхоза оставили, но ничего не помогло. Ладно, поднял семью и переехал.

Шесть лет я работаю в Заборске. Теперь, в общем, и не снятие, а даже повышение, в крупнейший колхоз назначают, но дело не в этом: ежедневно надо будет человеку, больному сах. диабетом, сидящему на дотации инсулина, ездить на работу к 5–6 утра за 40 км и возвращаться в 9–10 вечера. Или туда переезжать, бросать семью, больных ребят — у старшего астма, младший, сам знаешь, без врача неделю не обходится. В общем, обстановка семейная и болезнь не позволяют давать такого согласия. Но и за невыполнение решения бюро и указания Жуковца ждет жесткая опала примерно такого характера: снятие с работы, строгий выговор или исключение из партии. И хотя ничего такого прежде по работе не заслужил, но в подобных случаях он ни на что не смотрит, и будет устроено гонение, как это уже делалось не на одного человека. Напомню: после снятия с работы известного тебе секретаря Песковского райкома тот устроился в Подмоскovie. Жуковец узнал через Конотопа* или других, выгнали с работы, заставили вернуться в нашу область, держали долго без работы, потом, после того как жена не выдержала и поехала унижаться на прием, кое-как дали работу в колхозе экономистом — пожилого человека с больной женой из райцентра выкинули в ссылку. Таких примеров, сам знаешь, много. Вот примерно такая судьба и меня ждет за все старания.

В связи с этим и решил писать письмо, посоветоваться, что делать. Жалко и ребят, и жену. Работы, конечно, не боюсь, но вот болезнь моя и ребят уже не позволяет уезжать от больницы да и на себя принимать пожизненную муку и скитания. Хорошо только говорить врачам, что нужен режим питания при моей болезни 4–5 раз малыми дозами — диетическое питание. Председатель колхоза с утра запрягся и поехал. Кто же режим питания при такой разъездной работе создаст? Я уж не говорю о проклятой

* В течение многих лет — 1-й секретарь Московского обкома партии.

водке: из района представитель приедет — напой да выпей за компанию, из области — напой да выпей; санитарный врач прибудет, или пожарный инспектор, или снабженец из «Сельхозтехники» — с каждым пей, а то дело не сделается, зажмут, оштрафуют. Зеленый змий колхозом руководит, а не председатель.

Сергей Михайлович, в общем, так стоит вопрос: работу бросать, но как избежать гонения? — на болезнь обком не посмотрит, постарается закрыть глаза. Кого и повыше меня до земли пригибали. Нашего бывшего первого секретаря райкома Пастухова А.С. только после двух инфарктов освободили от работы — ждать этого тоже не спасение. Какой выход? Эмигрировать за пределы области — по партийной линии будут розыски, о чем писали из Песков. Как определиться? Что можешь подсказать, как защититься, где искать поддержку? Какие партийные законы на этот счет?

Вот все эти вздергивания нервов заставили лечь в больницу с повышенным сахаром — 240 мг. Сейчас, может, как вариант дальнейших испытаний, будут дергать врачей — не сделка ли здесь какая? Поэтому лег в больницу в Конобеево, подальше от районного центра. Вот как у нас бывает гонение и опала по-заборски...

Ну, напиши, ведь ты можешь что-то подсказать, мудрости тебе не занимать, ты ведь у нас и в институте был самым умным.

Может, что я написал неясно, сам знаешь, при такой ситуации трудно сосредоточиться, нервы натянуты. Советуют к Жуковцу съездить, но боюсь там сорваться, нагрубить или еще чего хуже. И про что говорить ему? Он что, сам мое положение не знает? Знает и нарочно давит... Район возмущен такими действиями, все сожалеют, но никто не может отменить барского слова Жуковца. Я обращался к бюро райкома ходатайствовать о предоставлении мне какой-нибудь посильной работы в Заборске. Они могут, это есть партийная демократия да и вообще простая порядочность. Но они пока все обещают и сочувствуют, а дальше дело не идет. А от обещаний и сочувствий мне не легче; надо решать: или уезжать искать работу, или ждать расправы, сидеть и ждать, какую он мне даст работу после опалы. Теперь Жуковец все равно не даст работать и при любом моменте и под любым предлогом сгонит с работы. А это с моей натурой переносить трудно, лучше уйти как-то по состоянию здоровья. Ну, на этом заканчиваю, жду письма. Помогай, как уйти из этого круга, как найти свои права.

Говорят, когда второй секретарь обкома Зайцев был недавно в Сосновых Горах, народ в беседе отозвался о моей прежней работе тепло, что он, мол, поднял хозяйство и т.п., а тот доложил Жуковцу: вот есть такой человек, в крупнейшее хозяйство годится — и кухня заработала... Я как подумаю об этом, всего трясет, и врачи беспокоятся. Что же из Сосновых Гор-то меня забирали, я ведь так просил, умолял. Когда сюда переехал, то и в кабинет заходить противно было, хотелось облить керосином и сжечь всю эту лавочку — все эти исполкомы и управления с ненужными людьми. Ничего, удержался, а потом привык... А теперь снова — как половую тряпку используют человека. Но я-то, Сережа, уже не тот. Постарел, поумнел. Пока молодой был — тянул, впереди перспективу видел: индустриальное хозяйство, улыбающийся народ, тройки с лентами на свадьбах. А теперь знаю, ничего там впереди нету: темно и давилка. Не хочу... Я как из Сосновых Гор уехал, так сразу там все карусели и гигантские шаги сломали — никому они не нужны оказались, только мне одному. Я сначала обижался, а теперь осознал своим умом: народу жрать нечего — кто на каруселях веселиться будет?

Ну вот, наверное, все, что и хотел написать. Чтобы идти председателем колхоза, нужно знать меньше, чем я сегодня знаю. Хочу заранее послать заявление нач. обл. с/х управления об освобождении в связи с ухудшением здоровья, чтобы за время болезни истекло две недели, и кое-как уйти от ударов, но буду ждать письма от Вас. Извини еще раз, может, что не так написал. Большой привет Кате и своей семье.

С уважением

Василий Хренов.

2

Дорогой Василий Андреевич!

Прочитал твое письмо и огорчился: плохо, конечно, все. Вряд ли какие выводы с твоей стороны могут быть приняты во внимание обкомовскими людьми. Если у тебя нет инвалидности, для них ты здоров и способен занять любую должность, предколхоза в том числе. И не отказывайся, и заявление не пиши — тем более, не показывайся к Жуковцу: ты мужик вспыльчивый, временами неуправляемый, — обком, конечно, тебе поджечь не дадут, но как бы ты все же не натворил чего. Успокойся и помни: ты

не просто Вася Хренов — муж своей жены и отец детей. Ты — член партии, куда вступил добровольно, зная, на что идешь, зная, в какую игру играть будешь. С тех пор как ты в партии, ты всегда играл по правилам этой игры и, не будем лукавить, всегда что-то выигрывал. По этим правилам, ты — рядовой зоотехник — стал руководителем совхоза, потом — начальником в масштабе района. Мы все по этим правилам играем, и чем точнее их соблюдаем, тем больше размер выигрыша... И по тем же правилам ты *должен* ехать и *должен* стремиться выиграть, поднять колхоз, прогреметь, как прогремел в Сосновых Горах. И качели с каруселями должен построить, даже если они никому и ничему, кроме твоих отчетов, не нужны. Должен и фермы механизировать и громко кричать об этом — даже если знаешь, что это — капля в море хозяйственной нищеты, да и та подана с опозданием в десятки лет — *должен!* И пить — пить тебе придется, чтобы установить хорошие отношения и с начальством, и с десятками других представителей-посетителей, от которых ты зависишь — от кладовщика до корреспондента «Правды». Все это ты должен, потому что в противном случае произойдет все то, о чем ты мне писал, — ты проиграешь. Ну, если и не так жестоко, как видится, то все-таки достаточно противно. Хотя и от крайней жестокости ты не застрахован: ведь мы, номенклатура, самые каторжане, себе не принадлежим, — куда ни запихнут, бери, что дают.

Помнишь Изгоева, моего друга, директора школы в Карле? Какой педагог был? О нем десятки статей написаны, он сам книгу писал... Его взяли в райком третьим секретарем. Да что там взяли — заставили и пикнуть не дали. Другой бы счастлив был на всю жизнь: секретарь райкома, фигура, власть — многие живут ради этого. А он год проработал, а дальше напрочь отказался — противно стало, дела никакого не было. Одна пустая болтовня. Он почувствовал, что должность эта вообще не нужна, лишняя, — и он, секретарь райкома — лишний, ненужный человек, бездельник. Он мужик крепкий, не робкий — что думал, заявил прямо, назад в школу попросился... С ним жестоко расправились: не только директором школы не вернули, — хотя эту школу он сам от нуля создал, — но и учителем туда не взяли. Год он ходил без работы, пороги и в области, и в столице обивал, — а кто поможет? Кто поможет, если первый секретарь обкома велел примерно наказать его? На второй год дали ему полставки, чтобы не сдох. А куда денешься? Если партбилет на стол бросишь, вообще учителем не

возьмут... Так и таскается без дела, пьет — полчеловека осталось. Эта система всех нас в кулаке держит.

Но как же тебе-то, друг мой, практически помочь? Я тут по телефону выходил на вашего Зайцева, второго секретаря обкома. Он мне описал ситуацию примерно так, как она и тобой описана... Ты немного опоздал. До того как Жуковец в дело вмешался, можно было бы к тому же Зайцеву ходы поискать. Мы тут в прошлом году ему кое-какие услуги оказывали, он мужик негордый... Но теперь, когда это выглядит как решение Жуковца, спасти тебя мог бы только звонок ему лично от кого-то из зав. отделом ЦК, — личные отношения надежнее официальных. Но, увы, я такой звонок организовать не могу, — это слишком большая услуга, и мне за нее нечем расплачиваться, не те у меня возможности. Максимум, что позволяет мне положение, — позвонить секретарю райкома и попросить его за старого институтского приятеля. Но поможет ли это тебе? Думаю, что нет, равно как и затея с поддержкой со стороны бюро райкома. Что такое райком перед Жуковцом? Мошки, букашки...

Вместе с тем, ехать председателем тебе, конечно, нельзя. Не потянешь, силы не те, возраст не тот, не то желание. Я же чувствую: главное — не то желание! И конечно, здоровье, нервишки... Как же быть? Спасти дело может только твоя жена Наталья. У нее своя игра, свои правила.

Ты не бунтуй — молчи и соглашайся ехать председателем. Крайнего энтузиазма, конечно, не выказывай. Со вздохом, но поехать соглашайся. Партия посылает, и ты готов, несмотря на болезнь и все такое прочее. В общем, наш обычный труженик-герой... А Наталья пусть поднимет скандал — да не просто скандал — *бурю!!!* Пусть идет в кабинет к Жуковцу, пусть плачет и падает в обморок: еще бы не плакать и не падать! Муж соглашается идти на верную почти гибель — он тяжело болен, а идет председателем колхоза. Он, муж, конечно, честный партиец, но о ней-то должен подумать?! О семье, о детях должен подумать или нет? Словом, Наталья должна заставить Жуковца не только отказаться от мысли назначить тебя, но заставить его, напротив, убедить тебя не становиться председателем. И если миссия у Жуковца не выйдет, пусть едет в Москву, на прием в ЦК. Но, конечно, лишь после того, как откажет Жуковец... Но я уверен — он ей не откажет, если она хорошо постарается, побоится, что его обвинят в понижении роли советской семьи.

И пусть она не просто просит — пусть настаивает именно на таком продолжении, какое вам нужно: Заборск

— пусть просит Заборск, другой какой город — пусть требует другой город. Пусть будет смелее и понастойчивее. Сейчас благополучие вашей семьи в ее руках — насколько она усвоит правила игры.

Пиши о развитии событий. Твой

Анкудинов С.

P.S. Не повидаться ли тебе с Изгоевым, о котором я писал выше. На чужих ошибках учатся, а он мужик умнейший.

С.А.

3

Милый Сережа!

С поклоном к тебе забытый тобой Изгоев. Тороплюсь писать тебе, поскольку по твоей воле стал я свидетелем и даже участником этой истории, о страшной развязке которой ты уже наверняка знаешь, дошел слух — случай-то необыкновенный... Думаю, знаешь о том, что неделю назад похоронили мы твоего товарища Василия Хренова, — вернее, то, что от него осталось. Похороны были на скорую руку, все дело предоставлено теперь как несчастный случай, как неосторожность: жаркое лето, сушь, сгорел человек по неосторожности... Глупости! Я знаю, как все было — все на моих глазах произошло. Но расскажу все по порядку...

Он приехал ко мне примерно месяц тому назад. Мужичонка славный, думающий, открытый. Рассказал мне свою историю: «Как быть?» А я разве знаю, как быть? Это ведь дело совести, какой путь выбирать, какую жизнь предпочесть... На тебя он был немного обижен за совет послать жену: «Я лучше сам десять раз подставлюсь». Такая миссия казалась ему почему-то унижительной для нее, хотя я с тобой совершенно согласен: с этими лгунами и циниками иначе играть нельзя, не выиграешь.

Но у Хренова были другие надежды: ему пообещали поддержку в райкоме, — у него были стойкие иллюзии по части партийной демократии и простой человеческой порядочности. Он сам многим помогал в районе, думал, и ему помогут. Мне-то сразу иллюзии эти показались наивны, о чем я ему и сказал. Но уверенность его была какой-то простодушной и заразной... Не могу простить себе, почему я позволил ему уехать с этими настроениями, даже помогал проект решения бюро составить. Это простодушное

заблуждение и погубило его. Я должен был раскрыть ему глаза и не сделал этого: все мы набиты благодушным вздором, все нам кажется, что, может быть, есть где-то справедливость — на чьей-то судьбе сломается проклятая машина, даст осечку, выплюнет чью-то душу еще живой, непогубленной... Нет, не бывает так — машина крутится без перебоев.

Что же я должен был сказать ему? Я должен был сказать и объяснить, что никакая партийная демократия тут не сработает — хотя бы потому, что никакой *партии* в том понимании, в каком трактуют это все словари, — у нас нет...

Мы все заблуждаемся... Вспомни, ты сам зачем вступил в партию? А я помню, ты весь дрожал от нетерпения: была возможность занять место директора совхоза. Тебе было двадцать четыре года, ты еще не Сергей Михайлович Анкудинов, а Сережа, Сереженька. Ты талантлив, умен, решителен — и вот ты директор совхоза, самостоятельный хозяин. Земля, люди, машины, власть. Ну и, конечно, зарплата, дом, продукты, путевка в санаторий и за границу. Беспартийному столько не дадут. Нужна расписка, что ты — свой. И ты ее дал — заявление о приеме в партию. Ты принял правила игры. Ты приобрел все, о чем мечтал. Вернее, ты думал, что приобретаешь. А на самом деле это тебя приобрели в вечное пользование.

Ты не сердись, мы все одинаковые. Я бы в свое время ни в коем случае не вступил в партию, мне всегда противны были ложь, хвастливая демагогия и деловое бессилие, на которых стоит эта организация. Но меня поставили перед выбором: или я вступаю, или вышибут из школы. А я только-только год директорствовал, только-только дела задумал добрые. Уйти, оставить свое дело на произвол судьбы, чтобы все попало в бездарные, холодные руки — в руки мертвецов с тусклыми глазами, которым и дело-то любое нужно только затем, чтобы задушить его и жить спокойно и равнодушно. Да я и жизнь-то свою понимал как борьбу с ними. И теперь им же все отдать? Да никогда! В партию так в партию. Мало того, я решил, что и в самой партии буду драться с тупой бездарностью, с этим животным стремлением к духовной смерти... Это была ошибка. Они сильнее. Они и есть — партия. Они — власть, государство. Они и ловят нас, чтобы погасить, повязать, заставить служить тьме, смерти. И мы служим. И гаснем в их безнадежном деле.

Потом, пробыв почти год секретарем райкома партии по идеологии, я завел себе приходно-расходную книгу, где

на одну страницу записывал все, с чем я должен бороться, а на противоположную — все, на что я могу опереться в этой борьбе. И получилась страшная картина! С одной стороны, разлагающееся общество: ложь как идеология, пьянство поголовное, воровство массовое, разврат, коррупция, безверие... А с другой — безответственное чирканье Брежнева и иже с ним. Подумав немного, я и всю эту компанию определил туда же, к разврату и воровству...

Ну и что же? Ведь все это как в страшном сне: видишь, слышишь, а пальцем пошевелить бессилён... Стоило мне хотя бы поддержать что-нибудь живое, нужное, хоть самую-самую малость какую-нибудь, вроде дискуссионного клуба или общества любителей трезвости, как тут же меня окружали равнодушные рожи с тусклыми глазками: «А зачем вам это? А нам это зачем? Кому нужны дискуссии и о чем спорить? Кому нужны трезвенники, когда вся финансовая стратегия государства на водке держится? Все это несовместимо...» Правильно, все это опасно: сегодня добровольно собрались поговорить о трезвости, а завтра о жизни задумаются, вопросы задавать осмелятся, правды захотят... Нет, добровольно ничем заниматься нельзя. Нам сверху скажут, чем заниматься, — из обкома, из ЦК — скажут, о чем спорить можно, что коллективно обсуждать. Лучше всего, если это будет трилогия Леонида Ильича, — и в конце обсуждения мы напишем восторженное письмо автору...

Меньше года мне понадобилось, чтобы понять: я — слуга воинствующей лжи и бездарности. Меня употребляют против света и жизни. Я должен бежать. Или умереть — умереть духовно, и вступить в партию уже не формально, а по сути. И начать самому давить все живое...

Не потому ли и Хренов не хотел идти председателем? Он мужик талантливый, опытный, с идеями. Почему отказывался? А потому, что дело безнадежное. За шесть лет работы в управлении он хорошо почувствовал, что в наших нынешних условиях хозяйственная работа — дело беспросветное. Хозяйственная инициатива зажата запретами, каждое малое движение требует огромных усилий, взяток, специальных разрешений: средств нету, труд малопроизводителен, распределение неразумное или вовсе неподконтрольное. Пьянство, воровство, подкуп — сверху донизу. Черный рынок становится основой экономики, да и стал уже настолько, что и государство с ним не борется, но лишь стремится использовать его в своих интересах. У нас — социализм. Вот он каков!..

Все это Хренов почувствовал, но понять разумом не смог или, вернее, не захотел понять, отказался понимать и принимать, потому что понять — страшно: куда деваться потом? Ведь разотрут, размажут...

Помнишь, застрелился Ларионов, секретарь Рязанского обкома, после того, как вскрылись под ним приписки и очковтирательство? Одни говорили — совесть замучила, другие — испугался, третьи — что его вообще прикончили. Не знаю, как последняя версия, а первые две неверны: я знал этого деятеля, я ведь в Рязани учился, — это был человек без страха и совести. Игрок. Я думаю, он застрелился оттого, что понял: некуда деваться. Его бы не посадили, но долго бы топтали, размазывали, — он и затосковал. Это не страх — тоска безысходности... А хочется думать, что он и того умнее: и за нас за всех понял, что и нам деваться некуда. А разве не так? Вокруг давно уже одни только приписки и очковтирательство, — но мы не стреляемся, а просто не допускаем этого очевидного факта до сознания, катимся вместе со всеми и все вместе. Куда? Зачем? По чьей воле? Хоть бы кто-нибудь задался этими вопросами...

Но вот Хренов решил выйти из игры сам по себе, в одиночку, с тем небольшим выигрышем, какой достался ему за годы, что он пробыл в руководящих должностях: сбежать хотел, словчить. Но кто же отпустит? Уйти можно только если и карманы, и душу вывернешь. Да и то еще над тобой, над нищим и растоптанным, поиздеваются вдогонку, поулюлюкают. Кто этот умница, что сказал: «Социализм легко попробовать да трудно выплюнуть». Вот и в партию мы все вступили без труда, — а попробуй выйди...

В Заборске состоялось бюро райкома. Я знал, что Хренов готовится выступать на бюро со своими претензиями, и приехал в город, чтобы поймать его еще до заседания и отговорить от протестов и заявлений, — был он мне чем-то симпатичен, и хотел я искренне помочь ему, но опоздал и остался сидеть в райкомовском скверике, надеясь, что, может быть, на этот раз он не вылезет с речами, а там я его сумею убедить.

Заседание затянулось: приехал Жуковец — случайно приехал, ездил мимо на лесные пожары и решил поприсутствовать на бюро. Такой внезапный налет — в его характере, он даже гордится своей способностью возникать там, где его не ждут...

Как я потом узнал, обсуждали ход заготовки кормов. Хренов, еще как начальник управления, делал сообщение

о сенокосе. Говорят, был взвинчен, все время упрекал областные организации, даже обком, в плохой постановке дела. Его слушали снисходительно, Жуковец два-три раза ему поддакнул — он всегда делал вид, что обожает острую критику, — но все знали, что он — уже последние часы в должности начальника управления. Вопрос о его перемещении был решен, и никто бы не вспомнил о том, что вообще такой вопрос существует, если бы в конце заседания Хренов еще раз не вылез бы выступать.

Уже производственную повестку исчерпали, когда он попросил слова и провякал что-то про свои обстоятельства. Это было грубое нарушение процедуры: кадровые вопросы не обсуждаются — они, по сути, решаются обкомом и доводятся до сведения района. А тут он вылез... Жуковец, говорят, от удивления рот открыл сначала, озираться начал, но тут же понял, что здесь не бунт, а смертник-одиночка, камикадзе. Предложил миролюбиво перенести вопрос туда, где он и решаться должен, — в обком. Но Хренов попер на рожон: «Я как член бюро райкома настоятельно прошу... мои коллеги и товарищи...» И так далее и тому подобное... Все-таки, знаешь, он был еще и действительно больной человек.

Жуковец даже развеселился. Он уже поднялся уезжать, а тут на место сел. Как я понимаю, решил дать всем присутствующим предметный урок демократии. «Ну что же, товарищи, кто даст правильную политическую оценку позиции коммуниста Хренова?» Все молчат. «Тогда, — говорит Жуковец спокойно, — позвольте мне... Коммунисту Хренову было поручено занять место председателя колхоза (тут он, говорят, запнулся, поскольку не помнил, какого именно колхоза, — ему подсказали)... Да... Хренов позволяет себе игнорировать интересы партии и народного хозяйства. А поэтому, если и далее Хренов будет настаивать на своей ошибочной позиции, то будет исключен из партии, снят с работы и выселен за пределы нашей области без права занять руководящую должность — такова единственная возможная политическая оценка позиции Хренова...»

Тут как бы проснулся первый секретарь райкома — ему ведь нужно было срочно отмежеваться от несчастного Хренова, которому он всегда клялся в верной дружбе, — и все знали об их товарищеских отношениях, они и семьями дружили. «Кто за оценку позиции коммуниста Хренова, предложенную товарищем Жуковцом? Прошу голосовать только членов бюро райкома... Принято единогласно», — «Вот видите, — сказал умиротворенный Жуковец, доволь-

ный быстрой реакцией первого секретаря райкома, — ваши же товарищи и коллеги дали вам урок партийной этики».

И тут Хренов сорвался. Это слышал даже я — он так кричал, что через открытые окна было слышно на улице: «Сволочь! Фашист! Вы все здесь фашисты!» Я понял, что с ним все кончено. Навсегда. Видимо, и он это понял. Я слышал, как в здании хлопнула одна дверь, другая. Хренов выскочил совершенно обезумевший, схватил меня, когда я поднялся ему навстречу: «Это — мафия», — неожиданно тихо сказал он, показывая назад, на райком. Тут он отбросил меня в сторону и быстро пошел... в уборную, в ту дощатую уборную, что на пустыре, — знаешь, между райкомом и райисполкомом. По дороге, проходя мимо шофера, лежавшего под райкомовским газиком, он схватил бутылку с бензином, которым тот мыл какие-то детали. Шофер не заметил, это видел только я, — видел, но не понял, что происходит. И только когда прорвался огонь, когда уборная вспыхнула и в пять минут — в пять минут, не больше! — сгорела, я понял, что произошло...

Пока в райкоме заметили огонь, пока высыпали во двор и осознали, что горит, а осознав и убедившись, что огонь ничему не угрожает, еще и посмеялись, поскольку никто не мог предположить, что там человек, — пока все это произошло, дощаник сгорел дотла. А у меня, знаешь, как судорогой свело и горло, и все тело — ни кричать, ни двигаться — такая сушь стояла... А тут и вовсе я почувствовал, что теряю сознание, присел на скамейку и, действительно, отключился на несколько минут...

Когда пришел в себя, уже кричали, что там человек, кто-то тащил ведра с водой. Приехала пожарная машина. Но к этому времени дощаник прогорел и рухнул в выгребную яму. Начали шуровать в поисках тела... Я ушел и тут же уехал домой. Только на похоронах рассказали мне подробности заседания бюро...

Жуковец уехал из Заборска одновременно со мной. Быстро сообразив, что именно произошло, он тут же распорядился назначить семье Хренова максимальную пенсию, — чтобы разговоров было поменьше...

Ну что же еще прибавить тебе, милый Сережа? Ты умница, ты все сам знаешь... Все это похоже на бред душевнобольного. Мы живем в бреде, в кошмаре. И как освободиться, не знаем. Уж я-то точно не знаю. Разве что скорее подохнуть.

Впрочем, ты, как всегда, — спокоен, жизнерадостен и готов принимать реальность такой, какова она есть. Ну что же, желаю успеха!

Привет жене и детям — всей дружной улыбающейся семье.

Мне сказали, что ты получил новую, роскошную квартиру. Рад за тебя. Но адреса-то я не знаю, поэтому и пишу на работу. Сообщи уж адресок, а то ведь один живу, кругом один — и словом перекинуться не с кем.

Остаюсь твоим другом...

4

Председателю
Комитета партийного контроля при ЦК
КПСС тов. Пельше А.Я.

от члена КПСС
(партбилет №)
инструктора
отдела ЦК КПСС
Анкудинова С.М.

Докладная записка

По существу письма Изгоева В.И., адресованного мне лично и препровожденного работниками канцелярии в Комиссию партийного контроля, имею сообщить следующее. С Изгоевым Вениамином Ивановичем я никогда не состоял ни в какой переписке, что хорошо видно из самого текста его письма ко мне. Данное письмо его ко мне было первым и единственным. С моей стороны писем не было. Совет мой Хренову В.А. познакомиться с Изгоевым В.И. был продиктован надеждой, что печальный опыт последнего поможет Хренову В.А. занять принципиальную партийную позицию.

Кроме вышеизложенного, считаю своим долгом заявить нижеследующее.

В течение многих лет я хорошо знал Изгоева В.И. как убежденного коммуниста и преданного, исполнительного члена партии. Теперь, как явствует из письма, Изгоев В.И. находится в состоянии крайнего нравственного напряжения, граничащего с болезнью. Подобное состояние представляет серьезную опасность для Изгоева В.И., поскольку в любую минуту он может сорваться, позволить себе публичные заявления, несовместимые со званием члена партии. Серьез-

ную тревогу вызывает также и тенденция Изгоева В.И. трактовать в самых отрицательных тонах поведение и поступки партийных работников — Жуковца Н.С., покойного Хренова В.А. и мои лично. Между тем, исключение Изгоева В.И. из партии было бы не только серьезной трагедией для него самого и для его семьи, но и вызвало бы нежелательные толки в этой связи. Думаю, что наиболее правильной мерой было бы не накладывать на Изгоева В.И. партийных взысканий или каких-либо иных санкций, а помочь ему преодолеть его недуг, для чего содействовать определению его в одну из психиатрических клиник, где можно было бы обеспечить больному индивидуально созданные условия.

Со своей стороны я чувствую тяжелую вину перед партией, заключающуюся в притуплении чувства партийной бдительности, в недооценке антипартийных настроений Изгоева В.И.

18 августа 197... года

С. Анкудинов

СОДЕРЖАНИЕ

Я — особо опасный преступник	
Часть первая	5
Часть вторая	69
Приложение 1.	
Москва. Моление о чаше. <i>Комедия</i> . . .	117
Приложение 2.	
Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать	157
Приложение 3.	
Ловушка. <i>Роман в четырех письмах</i> . .	239

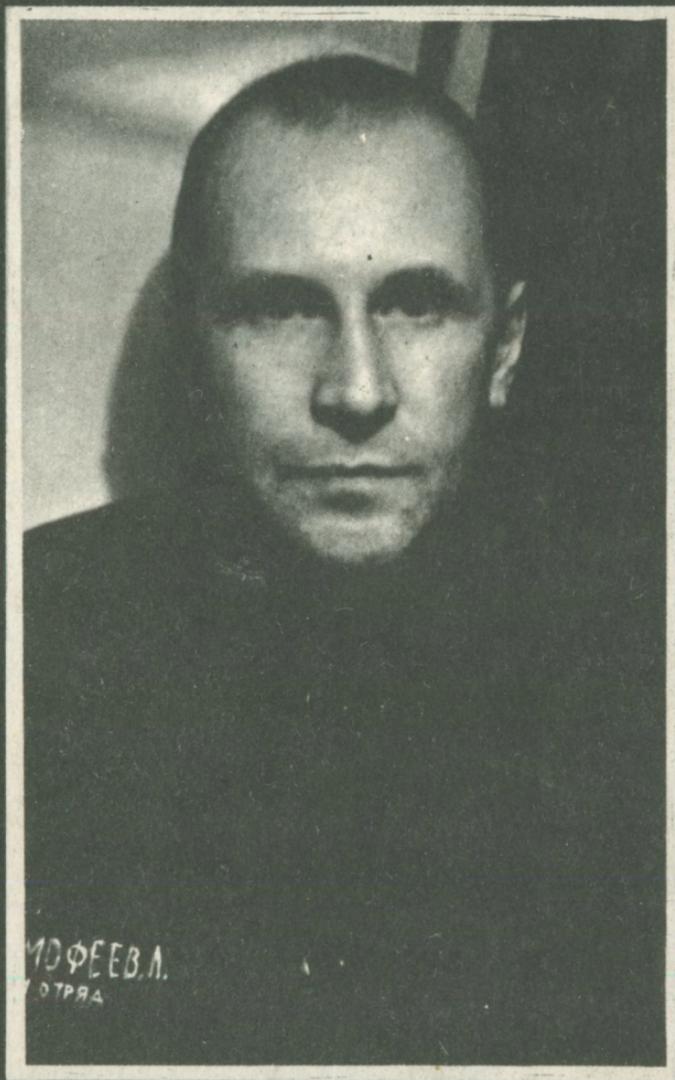
Тимофеев Лев Михайлович
Я – ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК
Одно уголовное дело

Редактор Г. Бройдо
Художник А. Данилин
Фото А. Бородаевского

Подписано в печать 01.12.1990 г. Формат 84х108/32. Бумага писчая № 1.
Гарнитура Тиде. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 16,42.
Тираж 100 000 экз. Зак. 1071. Цена 4 р. 90 к.

СП "Вся Москва". Творческо-производственный центр "Полифакт".
220088, Минск, Пулихова, 15

Типография Ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК КП
Белоруссии. 220041, Минск, Ленинский пр., 79



7 февраля 1987 г.

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ – известный правозащитник, журналист, писатель, литературовед. В марте 1985 года за все это был арестован органами КГБ, приговорен к 11 годам лишения свободы. "Помилован" в феврале 1987 года. Лауреат литературной премии имени Вл. Даля (Париж).

Цена 4 р. 90 к.